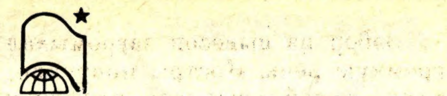


БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОГО РОМАНА

К. ФЕДИН

Города и годы




БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОГО РОМАНА


ВСЯ ВЛАС
СОВЕТ

К. ФЕДИН

Города и годы

РОМАН

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1987

Р2
Ф32

Вступительная статья и примечания
А. Старкова
Оформление художника
В. Аладьева
Фронтиспис художника
А. Гетманского

Ф $\frac{4702010200-169}{М\text{-}105(03)87}$ 128—87

ГОДЫ И ГОРОДА АНДРЕЯ СТАРЦОВА

Замысел первого федииского романа «Города и годы» оформился, в общих чертах, к началу 1922 года.

К этому времени писателем был накоплен немалый жизненный опыт.

В мае 1914 года студент четвертого курса экономического отделения Московского коммерческого института (ныне Институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова) Константин Федин отправляется в Германию, в Нюрнберг. Одна из целей поездки: научиться за период летних каникул свободно говорить по-немецки (знание иностранного языка по окончании института требовалось основательное, а в следующем году предстоял экзамен). Но сараевский выстрел гимназиста Гаврилы Принципа в наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда на четыре с лишним года и совсем иначе предопределил дальнейшую судьбу юноши.

С началом военных действий Федин был задержан в Дрездене, куда он выехал из Нюрнберга в надежде «проскочить» через границу а три месяца спустя из столицы Саксонии был выслан в небольшой городок Циттау, расположенный к юго-востоку от Дрездена.

Здесь «гражданский пленный» номер пятьдесят два, вынужденный, подобно герою будущего своего романа Андрею Старцову, регулярно отмечаться в полицейском управлении, всерьез задумывается о поисках средств существования. Он зарабатывает на жизнь частными уроками русского языка, ремеслом хориста, актера местного театра. И одновременно накапливает наблюдения над жизнью немецкого тыла в тяжелую пору войны. Наблюдения, оказавшиеся позже, как выяснится, бесценным источником, из тех, что годами способны питать творческую фантазию художника.

«В течение всей войны, — напишет впоследствии об этом периоде своей жизни Федин, — я имел... возможность приглядываться к жизни германского тыла. Я не принимал в ней никакого участия, и те ее стороны которые для деятельных участников проходили незамеченными, бросались мне в глаза. Года три-четыре подряд я накапливал наблюдения,

не обобщая их, не думая о том, что из них больше или меньше ценно. У меня набралось множество газетных вырезок, каких-то афишек, телеграмм, открытых писем, патриотических воззваний, реклам и антивоенных статеек. Это был недурной паноптикум человеческой глупости и человеческих страданий. Я дополнял его заметками в дневниках, очерками и статьями, которые складывались в ящик стола. Я собирал факты».

Поезд из Берлина с подпавшими под «обмен» русскими военнопленными, с которым после окончания войны вернулся на родину Федин, прибыл в Москву 4 сентября 1918 года. И вскоре какие-то из собранных в Германии фактов нашли свое отражение в рассказах и очерках «Счастье», «Дядя Кисель», «Товарищ», «Легкая поступь», «Спартаковцы» и др., с которыми с весны 1919 года начал выступать на страницах периодической печати бывший студент-экономист.

Связь между этими произведениями и «Городами и годами» очевидна. И тем не менее роман следует считать качественно новой ступенью в творчестве молодого прозаика — как в силу широты изображенной в нем жизни Германии в годы войны, естественно, не доступной ни рассказу, ни очерку, так и потому, что в «Городах и годах» впервые в творчестве художника картина российской действительности первых послереволюционных лет, увиденная им по возвращении в Москву, и в период последующей жизни и работы в провинциальной Сызрани на Волге и в Петрограде, стала предметом столь пристального и заинтересованного внимания.

В главном герое романа, в том Андрее Старцове, с каким читатель встречается в 1914 году в Нюрнберге, почти сразу же бросается в глаза настороженное отношение его к окружающей обстановке откровенного самодовольства и национальной нетерпимости. Именно эта черта Андрея позволяет Федину довольно быстро сделать видимыми различия между ним и Куртом Ваном. Поначалу, правда, эти различия воспринимаются как различия во вкусах. Но едва в мирное течение жизни врывается война, как молодые люди, только что клявшиеся в дружбе на всю жизнь, оказываются по разные стороны той незримой черты, что пролегла с началом военных действий между прошлым и настоящим не только людей, но и целых государств и народов.

Чувство животного ужаса и растерянности, сходное с тем, которое овладело некогда при известии о начале войны двадцатидвухлетним Фединым, довелось пережить в полной мере и Андрею Старцову. А пришедшая вскоре любовь к Мари Урбах и необходимость постоянно прятать эту любовь от чужого глаза не могли не усилить этого чувства героя. Тогда-то и рождается у него мысль о необходимости переустройства мира таким образом, чтобы счастье одних не строилось бы на несчастье других, в том числе и на его, Старцова, несчастье.

Он попытается бежать, но побег не удастся. И лишь когда перед героем откроется долгожданная возможность возвращения в Россию, та

самая возможность, о которой он столько мечтал и постоянно говорил, и когда он невольно от слов должен перейти к делу — Старцов действительно совершит свой первый поступок на пути к «переустройству» мира: оставит Мари и отправится на родину.

Но слишком многое изменилось за минувшие годы в России. К ней надо привыкать заново. А это оказывается гораздо более трудным, чем представлялось на чужбине, и на вопрос Курта Вана, с которым судьба вторично сталкивает Старцова, на этот раз в Москве: «Чем ты уничтожишь войну, если не войной же? Не сопротивлением войне?» — у главного героя «Городов и годов» нет ответа. Ибо его абстрактный, внеклассовый гуманизм оказывается неуместным в обстановке, требующей прежде всего активных действий.

Подведенный жизнью к признанию необходимости борьбы со злом свергнутого, но еще сопротивляющегося мира, Старцов для себя лично заранее избирает роль стороннего наблюдателя событий. А если и готов принять в них участие и согласен поехать с Куртом в Семидол, то не потому, что принял его правду сердцем: просто он боится снова остаться один на один со своими спутанными мыслями. И даже после боя под Саньшином, когда «все будущее было в том втором шаге, который делался за первым», Андрей, для которого по-прежнему главным в жизни остается любовь, связывает этот второй шаг исключительно с Мари. Вот почему, когда бежавший от возмездия Шенау умоляет Андрея дать ему возможность вернуться в Бишофсберг, в город, где осталась Мари, он, не колеблясь, помогает ему.

Этот момент — решающий в судьбе Андрея: отныне нить, ухватившись за которую можно было бы распутать клубок («Если бы можно было начать жить сначала... Раскатать клубок, дойти по нитке до проклятого часа и поступить по-другому. Совсем по-другому...»),— отныне эта нить оборвалась, и конец ее навсегда утерян. Ненавидящий в жизни больше всего зло и ложь, Старцов, похитив у Курта документ на имя Конрада Штейна и снабдив им Шенау, по существу, предает не только Курта, но поступает противно собственным взглядам.

«Недавно я получил новый перевод [романа] «Города и годы» на испанский,— рассказывал в мае 1946 года Федин,— и там чудесная обложка: там изображен человек, лежащий ниц, повергнутый наземь, и его придавливают огромного масштаба песочные часы. Вот [и] все. И я подумал, что это очень верно выражена основная тема — это жертва эпохи, жертва времени».

В этих словах — объяснение трагедии Старцова, которую породило его стремление остаться в стороне от схватки. А в следующих ниже словах — объяснение необычности композиции, непривычного порядка глав, когда за главой о годе, завершающем роман, то есть о двадцать втором, следует глава о годе девятьсот девятнадцатом, далее — о годе девятьсот четырнадцатом, «глава отступлений», глава о девятьсот шестнадцатом и т. д. и т. д.

«Мы часто ищем графическое выражение для своего замысла. Как бы мог я выразить этот замысел внешне, композиционно? Как бы мне могла композиция помочь проявлению этого замысла наилучшим образом? Я решил, что тема такой обреченности выражается кру́гом, выражается кольцом. Человек, который не может найти выхода потому, что он окружен замкнутой цепью, кольцом. Из этого кольца я сделал вывод: надо строить кольцевую композицию, надо показать, что из этого круга Андрей никогда не вырвется. Я построил этот круг.

Вслед за этим пришло другое, совершенно умозрительно: сами главы так же строятся, как кольца. Внутри этого круга образуется ряд кругов. Каждый год — это круг. Это такое схематическое изображение хождения по аду, по всем его кругам».

Если метания Андрея Старцова во многом предопределяют структуру произведения, то место и роль Курта Вана — иные.

Задумав Курта как антипода центральному герою, писатель отнюдь не ставил целью шаг за шагом проследить эволюцию характера, как он это делает применительно к Старцову. Едва «Города и годы» увидели свет, как раздались голоса критиков, упрекающих писателя в том, что превращение в профессионального революционера восторженного молодого художника, сравнительно недавно разделявшего взгляды и вкусы окружавших его достопочтенных бюргеров, выглядит слишком нарочитым. Более того, Федина прямо обвиняли, что его Курт Ван далек от образа подлинного, могущего служить примером большевика.

Но ведь Федин и не стремился воплотить в Курте непременно лучшие, в их сконденсированном виде, качества тех, кто возглавил народные массы и повел за собой в борьбе за новую, советскую Россию.

Во-первых, не надо забывать, что Курт не единственный представитель большевиков в романе. Помимо него на страницах «Городов и годов» живут и действуют и тот «скуластый малый», «засевавший в толпе какие-то небывалые мысли», с которым Андрей столкнулся в лагере для лиц, предназначенных к отправке на родину, и Голосов с Покисеном.

Во-вторых, нельзя не помнить, что Курт — один из первых образов немецкого коммуниста в мировой литературе, и в его прямолинейности и фантастической вере в собственную непогрешимость нашли отражение черты, свойственные многим немецким интеллигентам, не имевшим в начале революции политического опыта.

Наконец, существовало и третье обстоятельство, также по большей части не учитывавшееся. Разве не имел художник права на изображение типа большевика, пусть не самого распространенного, но, несомненно, существовавшего в начале двадцатых годов и известного читателям еще до того, как появились «румкорфовы катушки» Федина, под именем «кожаных курток» Б. Пильняка? Молодая советская литература дала своему читателю не только Клычкова («Чапаев» Д. Фурманова) и Кожуха («Железный поток» А. Серафимовича), но и «выпрямленного

как скелет, стриженного ежиком, каменно торжественного командарма N» с его «каменной» же улыбкой из «Падения Даира» Малышкина. К этому типу людей можно отнести и Курта Вана.

Противостояние двух центральных героев романа со всей очевидностью обнаруживает, что так же, как отвлеченный гуманизм Старцова мертв без правды Курта, правда Курта слишком ригористична и жестка без гуманизма Андрея.

«Меня радует, что Вы сумели полюбить Андрея,— напишет писатель вскоре после завершения «Городов и годов» А. Р. Крандиевской.— Этому несчастливцу — предвижу — придется испытать жестокое оплевание. Он, конечно, человек с негодной для наших дней «идеологией».)... И Курт по-своему, конечно, прав: частная правда, правда *его идеологии,* не могла понять преступления Андрея, не могла — стало быть — примириться с ним. Может ли так поступить художник? Друг? Товарищ? Может. Есть художники, которым чувство жалости отвратительно так же, как мне — чувство жестокости. Курт мне чужд. Вы правы: я наделил Андрея лучшим, что мне известно. Но я наделил его так же самым горшим: отчаянием. Мир жесток, к несчастью. Курт — только исполнитель».

В недалеком прошлом художник, на полотнах которого жил многоцветный мир красок, в революционной борьбе Курт видит всего два контрастных цвета: красное и белое. В будущем он неминуемо окажется перед выбором: либо признать свои взгляды чрезмерно узкими, ошибочными, либо оказаться на пути дальнейшего движения масс, разбуженных войной и революцией к новой жизни. Но это в будущем. А пока Курт в полной уверенности в собственной непогрешимости вершит суд над бывшим другом. «Стекло не сваривается с железом, и мы не в силах изменить что-нибудь в судьбе Андрея»,— за этими словами стоит столкновение двух разных типов гуманизма, в этом нелегко давшемся самому писателю признании голос суровой, не допускавшей компромиссов эпохи.

Гуманизм Курта Вана, несомненно, революционный в своей основе, но разве не очевидно вместе с тем, что, применяя его на практике, герой забывает, что суть революции отнюдь не состоит в насилии?.. И разве не очевидно также, что сплошь да рядом Курт исходит не из принципа революционной целесообразности, но руководствуется той «революционной фразой о революционной войне», которая, по словам В. И. Ленина, «чаще всего бывает болезнью революционных партий при таких обстоятельствах, когда эти партии прямо или косвенно осуществляют связь, соединение, сплетение пролетарских и мелкобуржуазных элементов...»[1]?

А это значит, что в романе сталкиваются два различных типа гуманизма: односторонний уже в силу политической наивности исповедующего его героя, и принципиально отличающийся, но в то же время и

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 343.

заметно ограниченный рамками мелкобуржуазной нетерпимости к «инакомыслящим».

Конечно же, сегодня очевидно, что, противопоставив Андрею в первую очередь Курта, Федин не сумел увидеть и показать в «Городах и годах» коммуниста, полностью свободного от мелкобуржуазных воззрений на происходящее. И что Голосов и Покисен, в отличие от Курта вроде бы отдающие себе отчет в необходимости дифференцированного подхода к «интеллигенции» и «спецам», на практике также далеко не всегда различают революционный гуманизм и «революционную фразу»...

Но рассуждать подобным образом легко с позиций нынешнего представления о дальнейшем ходе исторических событий, тем более памятуя, что двумя десятилетиями спустя в творчестве того же Федина появится герой, чье понимание революционного гуманизма будет иным. В «Городах и годах» же художник не ставил перед собой столь ответственной задачи; его занимала прежде всего судьба главного героя романа, а на Курта возлагались функции преимущественно антипода Старцова.

Нет слов, гуманизм Андрея не отвечает требованиям момента, но ведь и гуманизм Курта далек от совершенства! Вот почему при всей справедливости вынесенного Старцову приговора («...Он сам обрек себя справедливому возмездию»,— скажет тридцатью годами позже Федин в очерке «К роману «Города и годы») центрального героя романа жалко, ибо вместе с ним погибает и то, что так выгодно отличало Андрея от Курта.

В начальной главе романа Андрей пишет свое последнее письмо Мари:

«Мне вспомнилось, как я зимой натолкнулся на собачонку, которая царапала передними лапами запертую дверь. Хозяин собачонки спал, что ли, а может, не хотел отворять двери: была вьюга. Я подошел к двери и увидел на притоптанном снегу красные следы собачьих лапок. Собачонка, царапая дверь, раскровенила себе лапы.

Она не могла понять, что вовсе не нужна на этом свете.

Я это понимаю. То есть про себя...»

По существу, Андрей сам выносит себе приговор. Курт, подчеркивает писатель, лишь исполнитель этого приговора: он сделал для Андрея «все, что должен был сделать товарищ, друг, художник». И все-таки трудно сегодня избавиться от ощущения, что приговор Старцову слишком жесток и что эта жестокость — не столько непременное условие революции, сколько прикрываемая именем революции. Невольно на ум приходит мысль: а что было бы, если б суд над Андреем вершил не Курт с его в какой-то мере все-таки частной правдой, а кто-либо другой, вершил по законам также достаточно суровой, но более отвечающей высоким целям будущего правды. Надо полагать, что в этом случае трудно было бы не принять во внимание слов, написанных за два года до бесславной гибели Андрея: «...нельзя, не из чего строить коммунизм иначе, как из челове-

ческого материала, созданного капитализмом, ибо нельзя изгнать и уничтожить буржуазную интеллигенцию, надо победить, переделать, переварить, перевоспитать ее — как перевоспитать надо в длительной борьбе, на почве диктатуры пролетариата и самих пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных предрассудков избавляются не сразу, не чудом, не по велению божией матери, не по велению лозунга, резолюции, декрета, а лишь в долгой и трудной массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями»[1].

Конечно, приговор такого суда был бы также достаточно суров, но был бы он так же безжалостен?

«Города и годы» — произведение, несущее на себе отчетливую печать времени. И вместе с тем — смелое, дерзкое обращение к новому жизненному материалу, попытка выйти за рамки привычной жанровой формы.

«В сущности, этот роман — все, что я мог сказать об изумительной полосе своей жизни и жизни двух народов, с которыми связана моя судьба,— писал Федин Горькому в Сорренто 7 декабря 1924 года, отправляя экземпляр только что вышедшего романа.— Я припоминаю, как Вы однажды сказали о пороке русских литературных произведений: во всех них отсутствует герой. Традиция оказалась сильнее меня... Но я не ставил себе задачей героизировать лица своей повести, а только хотел показать характер эпохи и стремился сделать это правдиво».

С момента выхода в свет роман только на русском языке выдержал более двадцати изданий. Он переведен на немецкий, английский, французский, испанский, болгарский, венгерский, польский, чешский и ряд других языков.

Первый фединский роман получил, как известно, высокую оценку Горького. Выдержал он и испытание временем.

И сегодня, когда хорошо известен весь путь талантливого мастера, стоявшего когда-то у самых истоков советской литературы, а затем на протяжении пяти десятилетий работавшего в ней, можно сказать, что уже в первом своем большом произведении Федин предстал как зрелый и строгий художник. Как человек с собственным неповторимым взглядом на мир, с собственным кругом героев и с собственной манерой письма, во многом предопределившими направление и пафос его дальнейших поисков.

А. Старков

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 101.

У нас было все впереди, у нас не было ничего впереди.

Чарльз Диккенс

Что касается вина, то он пил воду.

Виктор Гюго

ГЛАВА О ГОДЕ, КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕН РОМАН

РЕЧЬ

— Дорогие соседи, добрейшие обыватели, почтенные граждане! Я высунулся из окна с заранее обдуманным намерением: мне скучно, дорогие соседи, меня грызет тоска, почтенные граждане, сердце мое ссохлось и свернулось штопором, как лимонная корка на раскаленной солнцем мостовой.

Почтенные обыватели! Это верно, что на дворе тысяча девятьсот двадцать второй год. Передо мной восемьдесят пять окон, не считая двух чердачных, одного подвального, одного искусно нарисованного на стене маляром довоенного времени, и того, в котором все вы можете различить верхнюю часть моей фигуры.

Я мог бы рассказать вам о каждом из этих окон, но я знаю — вы не будете меня слушать. Поэтому прошу вас обратить свои взоры только на окно вон там, внизу, где развалилась полосатая перина, которую поутру отчаянно колотила ружейным шомполом красворукая хозяйка. И еще на окно вон там, правее, откуда с утра до ночи сыплется бренчанье домры, и еще на то, в самом верху, под чердаком, где непрестанно отхаркивает романсы граммофон; и еще на одно, последнее, что прямо против меня и так свеже прошпаклевано: завтра его будут красить.

Почтенные граждане! Республика в конце концов не плохая штука. В республике можно выбивать перины и проветривать их на солнышке, без опасения, что к вечеру придется постлать семейное ложе одним перинным чехлом. В республике можно иметь музыкальный слух и обучаться игре на домре. Совершенно очевидно, что образ правления

государства никак не отражается на добротности граммофонных пластинок. И, наконец, республика сравнительно легко усвоила, что крашеные оконные рамы отменно противостоят ветрам и непогоде.

Дорогие соседи! Стоит ли говорить, что из восьмидесяти пяти окон нашего колодца только одно мое не украшено сверточками с сыром и колбасой, горшочками со сметаной и простоквашей, кастрюльками, молочниками, масленками, густо-зеленым луком и ядрено-малиновой редиской. Даже крайнее чердачное окно, величиной всего с какую-нибудь фортку, перещеголяло мой запаутиненный, пустой подоконник, неприкосновенно сохранив малоделикатный след кота Матроса моей почтенной хозяйки.

Теперь белые ночи, и в нашем колодце отдыхает пропотевшее за день лето. Восемьдесят пять окон открыты настежь. Я воспользовался этим, чтобы произнести вам свою речь,— вам, гражданин граммофонщик, и вам, соседка, показавшая свою перину, и вам, владельцы кастрюлек, масленок, горшков и редиски,— всем, кто высунул наружу головы и слушает мой упругий голос.

О, не пугайтесь: речь моя не затянется. Мне хотелось предложить вам один вопрос, всего один,— и я кончу.

Добрейшие обыватели, почтенные граждане! Это верно, что на дворе двадцать второй год. Это верно, потому что мы кушаем сметану и простоквашу, учимся играть на домре и проветриваем перины. Это верно, потому что против перечисленных занятий, как ни мало они революционны, республика не возражает. И, почтенные граждане, не кажется ли вам...

На этом месте речи в гул голоса, качавшийся в каменной коробке смежных домов, врезался окрик:

— Андрей!

Человек в расстегнутой на груди рубахе перестал говорить и посмотрел туда, откуда раздался окрик. Потом вдруг отшатнулся в глубину комнаты, вновь подбежал к окну, высунулся до пояса, притупившимся голосом спросил:

— Какой номер квартиры?

— Встретимся на улице! — упало в колодец.

Андрей, как был — незастегнутый, трепаный,— выбежал из комнаты.

Хозяйка заперла за ним дверь, выглянула в колодец и, окинув одним взглядом восемьдесят пять окон, пролепетала запрыгавшими губами:

— Я давно думала, что он помешался! О, это ужасно!

ПИСЬМО

Дорогая моя.

Вот я опять пишу тебе и опять не знаю, что нужно сказать.

Я боюсь больше всего, что ты разорвешь письмо, как только узнаешь мой почерк.

Или нет. Я боюсь больше всего, что пишу мертвой. Что ты — мертвая. Я не так выражаюсь: что ты умерла уже, а я пишу тебе.

Мари, моя маленькая, мне стало ясно одно. Помнишь, раньше мне многое представлялось ясным. Сейчас одно: мне нужно сесть с тобой рядом и рассказать все по порядку. Я как-то не могу припомнить все по порядку. Ясно одно, что если ты меня выслушаешь, то я все пойму, и ты не будешь больше кричать, как тогда, два года назад. Как ты кричала тогда, Мари...

Я что-то путаю.

Погоди, я похожу по комнате и подумаю, как проще сказать самое нужное, Мари...

Да. Мне кажется, ты поймешь меня, если я расскажу... или нет, сначала вот о чем.

Весь сумбур (я, думаю, нашел бы силы написать как следует письмо, если бы не это), весь сумбур оттого, что я решил... Мари, я не знаю, что со мной! Я еду к тебе. Я решил. Я не могу больше. Все равно. Я заткну уши и убегу. Пусть вопят, умирают, пусть! Я должен к тебе.

Курт — настоящий человек. Я встретил его сегодня здесь, в Петербурге, совсем неожиданно. Он берется довезти меня, то есть помочь мне. Он узнал меня по голосу, хотя это было при странной обстановке. Вообще, со мной неладно. Курт сразу сказал, что мне надо переменить климат. Я, конечно, ни слова о том, что хочу видеть тебя. Согласился насчет климата. Мне, Мари, немножко смешно, когда говорят о климате, о нервах. Хотя я очень устал. А Курт не устает.

Дело в том, что...

Я перечитал начало. Вот мой рассказ. Мне вспомнилось, как я зимой натолкнулся на собачонку, которая царапала передними лапами запертую дверь. Хозяин собачонки спал, что ли, а может, не хотел отворять двери: была вьюга. Я подошел к двери и увидел на притоптанном снегу красные следы собачьих лапок. Собачонка, царапая дверь, раскровенила себе лапы.

Она не могла понять, что вовсе не нужна на этом свете. Я это понимаю. То есть про себя...

13 июня, утро

Сегодня у меня был Курт. Мы условились окончательно. Я еду к тебе, Мари!

После его ухода мне стало спокойно. У него хорошие руки, плечи, рот. Комната в его присутствии приобретает смысл. Мне сразу стали приятны и нужны стол, кровать, окна. Курт — хорошо организованный человек. Я перечитал написанное вчера. Посылаю тебе: смотри, какой я теперь. Там — верно насчет собачонки.

Я, конечно, виноват перед тобой. Но я не виню себя в том, что тебе кажется, наверно, самым тяжелым проступком против тебя, против нас.

Мне действительно нужно установить какой-то порядок. Во мне все спуталось. Я не знаю, где же именно и когда я непоправимо сбился, или налгал, или ошибся. В последних событиях (то есть до того, как ты приехала сюда и потом исчезла,— дальше ведь не было никаких событий) я не нахожу связи. Может быть, она и есть. Это какой-то клубок, все эти годы.

Насчет собачонки.

Я всю свою жизнь старался стать в круг. Понимаешь, чтобы все в мире происходило вокруг меня. Но меня всегда отмывало, относило в сторону.

Попусту раскровенился.

Я это понял вот на чем.

Сначала, однако, еще два слова. Недавно я хлопотал о каких-то бумагах. Мне задали вопрос: «Ваша профессия?» Я не мог ответить. Мне вдруг пришло в голову: к какой профессии готовился я прежде? Я сбился, вышло глупо.

Ты понимаешь, я все время боюсь забыть свою мысль, боюсь сбиться.

Я проходил торговыми рядами. Заглянул в какие-то ворота. Толстые крепостные стены ушли в землю. На дверях складов — ржавые замки. И по всему двору лебеда, крапива, лопухи, железные обручи, щебень. Как на пустыре.

Меня сжала тоска. Против воли. Это так безотрадно и нудно. Я думал о каком-то всеобщем конце. У меня похолодели руки.

Но я все еще... словом, я не переставал царапать...

И вот всего на этих днях, под Москвой, с Поклонной горы один приятель показал мне на новую радиостанцию. Башню выстроили во время революции. Она сначала обрушилась. Ее вывели снова. Негодными инструментами, закусив губы. Вывели. Волны ее достигают Америки.

— Знаешь,— сказал мне мой приятель,— мы теперь выстроим станцию, волны которой опояшут весь земной шар. Москва подает — Москва принимает. Вокруг света.

Я тогда подумал, что это глупо. Но тут же посмотрел ему в лицо...

Словом, я бросил царапать...

Это бесплодно, бесплодно, черт побери! Добрая воля, любовь, желание — всего этого слишком мало. А потом — этого вовсе и не нужно. Чтобы есть и пить, не нужно ни доброй воли, ни любви. Эти люди, в сущности, делают не больше того, что они должны делать по природе. Они ничего не замечают под ногами, они вечно — вперед и вверх. И с таким напряжением, точно они не люди, а какие-то катушки, румкорфовы катушки. Если им сказать про ржавые замки, лебеду и щебень, они ничего не поймут. Они в круге; наверно, в центре круга.

Меня пронизывает мысль, что я пишу мертвой. Если это так, я воскрешу тебя, чтобы ты поняла, что я не лгал.

Моя вина в том, что я не проволочный.

Ты должна понять меня, Мари.

Андрей.

ФОРМУЛА ПЕРЕХОДА

Комитет состоял из семерых. Все пристально следили за Куртом, который говорил; даже секретарь каждую минуту отрывался от стенограммы и собирал на лбу треугольник мелких морщин, точно прислушиваясь к тому, что должно было происходить где-то за пределами комнаты. На председательском месте сидел человек в толстых очках, фокус которых ни разу не переместился, пока Курт говорил.

Курт стоял прямо против председателя, уткнув кулаки в стол и коротко потряхивая головой в конце каждой фразы. Говорил он без запинки, будто читал по книге; и речь его была книжной. Крупинки пота обметали его верхнюю губу.

— Я резюмирую,— сказал он.— Этот человек находился в состоянии нравственного упадка в тот момент, когда признался мне в своем преступлении. Насколько я мог наблюсти, его умственные силы были также расшатаны. Я знал, что все это было результатом тяжелого потрясения в его личной жизни. Поэтому я отнесся к его признанию с большой осторожностью. Но я приучил себя мыслить объктивно и действовать сообразно выводам разума. Моя память последовательно восстановила все мои встречи с этим человеком в Семидоле, факты его личной жизни, связанные с маркграфом, наконец обстоятельства исчезновения маркграфа из Германского совета солдатских депутатов в Москве. Фактический ход событий совпал до мельчайших подробностей с тем, что я услышал от этого человека во время его последней прогулки. Он признался мне, между прочим, что собирается разыскать маркграфа, потому что это единственный человек, который может что-нибудь знать о его возлюбленной. Сомнений не оставалось: по личным мотивам он спас жизнь нашему врагу и предал дело, которому мы все служим. Как человек он мне стал ненавистен, как друг,— я был его другом,— отвратителен. Я убил его. На другой день я справился о маркграфе. Он действительно пребывает благополучно в своем замке под Бишофсбергом и, как подобает неудавшемуся авантюристу, служит посильно родному искусству, спекулируя на картинах немецких мастеров. Ошибки не произошло. Полиция считает, что убийство совершено с уголовной целью. До сообщения этого дела комитету я не нашел нужным опровергать такой версии. Я подчинюсь вашему решению.

Курт кончил, точно захлопнул прочитанную книгу.

Председатель обернулся поочередно ко всем заседавшим.

— Вопросов нет?.. Товарищ Ван, потрудитесь удалиться.

Курт вышел. В смежной комнате он обтер платком лицо, раскурил сигару и уселся поудобнее в кресло, приготовившись к ожиданию. Синие полосы дыма, увязая друг в друге, закачались посреди комнаты. В них раскрылся чей-то рот, скрюченная пятерня медленно обернулась пальцами снизу в бок, к ней приросла рука, согнутая в локте, потянулась к Курту.

— Глупости! — проворчал он и с силой подул на дым. Синие полосы нанизались воронками на струю воздуха и пропали.

— Товарищ Ван!

Семь человек в прежнем порядке сидели за столом. Председатель навел очки на секретаря. Тот приподнял бумаги и огласил:

— «...заслушав сообщение товарища Курта Вана, единогласно постановил: считать образ действий названного товарища правильным, де́ла в протокол не заносить, стенограмму уничтожить и перейти к очередным делам».

Секретарь согнул бумагу надвое и разорвал ее.

— Садитесь, товарищ,— сказал председатель.

Курт придвинул стул. Он был спокоен и прост, как будто не сомневался, что услышит такое приглашение.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
О ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОМ

ПЕТЕРБУРГ

Человеку надо прожить долгую жизнь без неба, без прямых, широкогрудых ветров, вырасти в сомкнутом строю железных столбов, провести детство на чугуне лестниц и асфальте мостовых, чтобы стать в городе как лесовик в лесу.

Нога знает, когда под ней железный рельс, когда гнилые торцы, когда скользкий и звонкий цемент. И ухо узнаёт, куда падает с крыш дождевая вода и на что наскочил, разорвавшись, внезапный порыв ветра.

Человеку, которому город — как лесовику лес, не надо света. Он помнит каждый угол, знает всякую улицу и все дома, старые и новые, разобранные на топку, забитые, заброшенные и недостроенные.

Особенно — недостроенные. Заборы у таких домов давно исчезли. Но кое-где внутри застывшего кирпичного остова торчат остатки свай, валяется наполовину засыпанное щебнем бревно или не сорван шест с набитым на него деревянным крестом.

Об этих сваях, бревнах и крестах не мешает запомнить на третий год нового летосчисления.

На третий год нового летосчисления, в конце октября, над Петербургом висела тьма. С северо-запада гнал тьму со свистом и гулом мокрый, косоплечий ветер.

Петербург шелушился железной шелухой, и шелуха со звоном билась по крышам и падала, скрежеща, на каменные днища улиц.

Внизу было темно, как в туннелях.

Дома вымерли, дома провалились, домов не было. Пересекались, тянулись во тьме безглазые, мокрые бока туннелей.

И по мокрым, безглазым бокам туннелей и по каменным днищам их с визгом и звоном неслась железная

шелуха. Косыми плечами мял ветер каменный город, сдирал ошметками сношенную кожу, швырял ею в промозглую тьму.

Белые обезьяньи лапы автомобиля цапали омертвевшие, сочившиеся холодом бока туннелей, пропадали так же стремительно, как появлялись. И только околевающим шакалом выла автомобильная сирена.

Человек, едва отличный от камня, из которого были выложены туннели, нащупывая углы и выступы, подгоняемый ветром, легко и быстро скользил по лужам. Вот он слился с черной стеной, точно войдя в ворота. Вот ощупью взобрался на склизкий холмик. Спустился в яму. Пролез в коридор, узкий, как могила. Над головой его мерно бился о камень треснутый лист кровельного железа.

Человек вынул из кармана газету, прикрыл ею плечо и грудь, нащупал в углу коридора ношу, взвалил на себя, осторожно пополз назад.

Коридором, ямой, холмиком, сквозь черную стену — в промозглую тьму туннелей, и дальше — промозглой тьмою, подгоняемый ветром, скользя по лужам.

Человеку, которому город — как лесовику лес, не надо света.

Человек нашел ворота, дверь, лестницу, еще дверь. Там скинул ношу с плеча, достал один ключ, другой — французский, третий — очень длинный, с шарниром посредине, патент инженера Тубкиса,— по очереди открыл замки.

В кухне зажег лампочку «экономия» (четверть фунта керосина в неделю), разделся. Примерил пальцами: бревно можно распилить на четыре части по восемь вершков, каждый кусок расколоть на раз, два, три...— восемь полен. Два восьмивершковых полена — кипяток для кофея. Шестнадцать раз. Это хорошо.

— Черт его знает сколько еще протянется эта канитель. Шестнадцать раз...

Когда повернул бревно — записка. Наклеена гладко рыжим тестом. Писана чернильным карандашом. Карандаш расплылся, потек:

Готовлю по-французски и немец.
во все классы трудовой школы. Цены умеренн.
Петрозаводская, 17, кв. 3.
Там же штопка и надвязка чулок.
А также имеются кролики.

Покачал головой, сказал громко:

— До чего довели интеллигенцию, а?

Отнес и поставил бревно в чуланчик.

Открыл шкаф, вделанный в стену. Из банки с пшеном вынул тряпочку. Из бумажного картуза пересыпал в банку пшено, прикрыл тряпочкой. На банку положил булыжник, круглый, как колобок.

— Мыши. Сволочи.

Растопил железную печку. Вскипятил воду, поставил на сковороде пшеницу — жарить. Кипятком мыл кастрюлю из-под супа и тарелку. Потом мыл раковину водопровода мочалкой и тертым кирпичом. Френч снял. Рукава рубахи засучил по локоть. Когда завоняло гарью, бросил мыть раковину, схватился за нож, отскабливая от сковородки пригорелые зерна, раз пять сказал:

— Кофей. Сволочи.

Потом смотрел в шкаф. В банках была пшеница, рожь, крупа ячневая, пшенная и гречневая, селедки. В бутылках — масло льняное и подсолнечное. В мешке холщовом — вобла. В мешках бумажных — соль, лавровый лист, желатин. Желатину было фунта три. Сказал:

— Желатин, а?

Взял книжку Мопассана — «Избранник госпожи Гюссон», пододвинул лампочку. Надел френч, вычистил ногти перочинным ножом, сел в широкое кресло читать, насадив на круглый нос пенсне.

Дошел до строк:

— *Надеюсь, ты еще не позавтракал?*

— *Нет.*

— *Вот хорошо. Я как раз сажусь за стол, и у меня чудесная форель.*

Уронил пенсне на книжку, произнес:

— Желатин, по фунту на купон, три недели подряд, а?

Вдруг насторожился.

Стучат, но негромко, неуверенно. Лучше подождать. Подождал. Стук громче. Вскочил, затворил шкаф, запер его, посмотрел на стол. Хлеб — под салфетку, коробочку с сахарином — в карман.

— Кто там?

— Сергей Львович Щепов здесь живет?

— А кто спрашивает?

— Старцов.

— Что вам угодно?

— Старцов, из Семидола, Андрей Старцов.

— Из Семидола?

— У меня для вас письмо от сына, от Алексея Сергеевича.

— А-а-а! Как же, как же! Сейчас.

Засуетился. Задвижка вверху двери, задвижка внизу, крюк, замок инженера Тубкиса, замок простой, замок французский, цепочка.

— Теперь, знаете, ни на кого положиться нельзя, на сына родного — нельзя. Воры кругом, одни воры, мошенники, бандиты. Очень рад познакомиться. Да. Вот видите, так и живу. Горшки мою, дрова пилю, варю сам, стираю сам, шью, лампы заправляю, сапоги чиню, сортиры, pardon, чищу. Милости прошу. Вот видите — мозоли на руках, мозолистые руки. Воняют гарью — это от кофею, керосином — это от лампы, касторкой — это от котлет. Картофельные котлеты на касторке готовлю. Вот так-то. Садитесь, пожалуйста. Есть кофей. Я только подмету, забыл подмести. Надолго? По делу?

Старцов снял мешок со спины. Стоял большой, мутно-серый, в промокшей солдатской шинели, с рукавами, прятавшими пальцы, с покатыми плечами и куцым воротником.

— Не знаю,— сказал он,— сегодня ничего не узнал. Завтра поутру будет известно.

— Действительный статский советник! Вот этими руками, все сам. С восьми утра до двенадцати ночи. А что мне за это? Вон вчера опять выдали полфунта воблы да фунт желатина. Зачем мне желатин? Пришлось по плану. Хорошо. А если по плану удочки придутся? Скажем, каждому гражданину по две удочки. Что прикажете делать? Чепуха... Письмо от Алексея, говорите? Ну, как он?.. Вот кофей. Хлеба у меня...

— Хлеб у меня есть,— сказал Старцов,— белый хлеб, семидольский.

— Почем там мука?

— Вот письмо,— сказал Старцов.

Читая, Сергей Львович подергивал носом, и пенсне медленно наклонялось верхней своей частью к бумаге. Сергей Львович все выше и выше задирал голову, и лицо его становилось у́же и надменней.

— Женился! — воскликнул он, ударив пальцами по письму.— Женился, на актрисе женился! Воображаю!

Он поправил пенсне и разыскал глазами строчку,

на которой остановился. Потом вложил письмо в книгу, облокотился на стол и заглянул в глаза гостя.

— Ну, конечно. Вот как теперь, детки-то. Прежде так купцы писали: честь имеем сообщить, что в наш торговый дом на равных правах вошел Иван Иваныч Сидоров. Просим заметить себе его подпись. А тут и того нет: сообщаю, что вашу фамилию будет носить певичка. Даже имени нет — Дарья, Марья, Аграфена? Черт ее знает!

— Ее зовут Клавдией... по отчеству... забыл,— сказал Старцов.

— А по фамилии? Какая-нибудь Культяпкина, по сцене — Раздор-Запольская, инженю-драматик на ролях без слов и движений... Впрочем, не все ли равно? Не все ли равно, спрашиваю я, а?

— Почему же?

— А потому, что теперь все полетело к черту в пузо. Все! Мы теперь с вами — кашица в утробе какого-то дьявола. Обрабатывает нас желудочный сок, потом поползем мы по кишкам, по двенадцатиперстной, по тонким, толстым, по прямой. Вот что мы такое.

Сергей Львович вынул из кармана коробочку с сахарином, подцепил на ложку беленькую таблетку, бросил ее в свой стакан. На мгновенье остался неподвижным. Потом протянул коробочку Старцову.

— Благодарю вас, привык без сладкого.

Сергей Львович аккуратно закрыл коробочку и неожиданно, по-детски скоро, прослезился:

— Вы говорите, почему все равно? Ну что Алексею до меня за дело? Хорошо еще, что уведомил. А то прислал бы в одно прекрасное утро четверых сопляков с записочкой: посылаю вам, дорогой папочка, ваших внучат на попечение, сам еду в путешествие. Вы думаете, в летчики он пошел по-другому? Явился как-то, говорит: «Прощайте, еду на фронт, может голову сверну, не увидимся».— «Как голову свернешь, когда ты мичман российской службы?» — «Эк, отвечает, спохватились! Я уж полгода, как на гидроплане летаю, а теперь на фронт инструктором назначен». Что остается отцу делать? Благословил. А как прикажете сейчас поступить? Благословить его с Культяпкиной, Раздор-Запольской! Все равно наплюет — что благословляй, что нет. Это еще счастье, поверьте мне, счастье. Другой у меня сын есть, младший...

Сергей Львович вдруг встал, поднял руку и прокричал куда-то в угол:

— Отрекаюсь! Перед богом и перед людьми отрекаюсь! Нет второго сына! Был, но умер, превратился в тлен, в прах, исчез, погиб, погиб...

Он рухнул в кресло, ударился головой о край стола, всхлипнул опять, ударился головой, задергался:

— Погиб Левочка, погиб... Подлец несчастный, подлец!.. Пропал совсем!..

Старцов привстал, шевельнул губами, сел, снова поднялся. Но Сергей Львович встряхнул головой и вдруг спокойно:

— Недостоин, негодяй, упоминания, не то что слез. Вот почему говорю я, что все теперь полетело к черту. Дети стали предателями, и отцы почерствели. Без сожаления, без слез, без сердца, черствы и холодны, вот как эта плита. Да, вам, постороннему человеку, я со спокойной душой, как рапорт пишут по начальству, как доктор больную руку отнимает, говорю: мой сын Лев — вор! Не как-нибудь иносказательно, а просто по-настоящему — вор. Отца обворовал, тетку обворовал, знакомых обворовал. Вчера из уголовного розыска приходили искать бывшего дворянского сына Льва Щепова, попавшегося в краже. Часы украл, три костюма, белье, шубу енотовую, ложки серебряные. Я три замка к двери приделал: каждый день покража. Засаду устроил, в шкафу у меня сыщик сидел, когда я на службу уходил. Три дня сидел. А потом мне ухмыляется: товарищ Щепов, простите, говорит, но тут — свой. Я тогда Льву пощечину дал и выгнал. Он пошел к тетке ночевать и обокрал ее. Это я вам говорю, постороннему человеку. У меня сына Льва нет. Отболел, как парш. Вместе с людьми отболел, люди для меня теперь — воры, предатели, сволочь!

За черным окном глухо лязгало разорванное железо водосточной трубы. Тоненькая вьюшка железной печки звякала озабоченно где-то под потолком — ветер то всасывал ее, то толкал. Сергей Львович размешивал в стакане чайной ложечкой сахарин.

— Он, что же, по-советски женился?

— Не знаю. Думаю — да,— ответил Старцов.

— Тогда бог с ним.

Старцов засмеялся. Сергей Львович взглянул на него быстрыми глазами, сузившимися и скользкими, словно только теперь вспомнил, что надо разглядеть гостя.

— Андрей... Как вас по батюшке?

— Геннадьевич.

— Вы по делам сюда, Андрей Геннадьевич?

— Я мобилизован. Прибыл в здешнюю армию.

Сергей Львович перепрыгнул взглядом на прикрытый шкафик с продуктами.

— Я бы пригласил вас остаться переночевать... вот и Алексей просит в письме... Только в комнате градуса два... Топлю я в одной конурке...

— Ничего, укроюсь...

— Ну, если не боитесь...

Старцов лег на кожаную кушетку, как был, как ложился все эти ночи — в теплушках, на вокзалах, в московской казарме,— в шинели, сапогах, с мешком под головой.

Сергей Львович осмотрел шкафик с продуктами, запер его на ключ, навесил никелированный замочек, взял под мышку «Избранника госпожи Гюссон», в руку — лампочку «экономия» и пошел в спальню. Там, в изголовье, на столике,— часы, вделанная в перламутр зажигалка, чехол для пенсне, «Избранник госпожи Гюссон», серебряная папиросница в монограммах и маленький кусочек — всего один квадратик — старого, довоенного шоколада. Сделав из одеяла конверт и забравшись в него, Сергей Львович вздохнул, вытянул руки и на минуту закрыл глаза. Потом, перерожденный, медленно вложил в рот квадратик шоколада. Опять закрыл глаза. Потом закурил, затянулся глубоко дымом и, повернувшись на бок, взял со столика книгу.

Размеренный лязг железной ошметки за окном был здесь чуть слышен.

ОКОПНЫЙ ПРОФЕССОР

— Послушайте, послушайте, стучат!

Старцов попробовал поднять веки. Они были тяжелы, как крышка оцинкованного сундука.

— Андрей Геннадьевич, стучат!

Не шевелясь, Старцов сказал:

— Ну что же.

— Я думаю, если обыск...

И опять так же произнес Старцов:

— Пускайте, пусть...

Он слышал, как торопливо зашмыгали по полу туфли.

Дальше, дальше. Остановились. Вновь зашмыгали. Ближе, ближе.

— Андрей Геннадьевич, ведь вы не прописаны!

— У меня бумаги. Объясню...

По стенам покатился гулкий стон. Туфли заторопились. Но тотчас, словно отшмыгнув небольшой круг, шлепнулись опять под самым ухом.

— А если налет... налетчики... знаете...

— У меня маузер,— сказал Старцов и открыл глаза.

Сергей Львович стоял перед ним, накинув на плечи шубу, в длинной, до колен, ночной рубахе и трикотажных полинялых кальсонах, обтягивавших худосочные икры. В руке у него дрожала лампочка, обдавая тепленькими всплесками света то подбородок, то нос, и лицо Сергея Львовича казалось то жирным, то странно худым.

— А разрешение есть? — тихо спросил он.

Стены застонали гулче. Сергей Львович кинулся отпирать. Неясные звуки коротко переплелись и затарахтели по комнатам. Потом вдруг зажалобился тонкий голос:

— Я шестнадцать часов в сутки работаю! Шесть на службе, шесть дома, четыре в очередях стою, да дежурства, да трудовая повинность! Мне пятьдесят два...

Кто-то издалека и глухо, как топором по пустой бочке:

— Не задерживайте, гражданин!..

У Сергея Львовича скатилась с плеч шуба, и он старался поймать ее одной рукой, крутясь, точно молодой неуклюжий дог, ловящий свой хвост.

— Среди ночи гонят к чертовой матери рыть окопы! С ножом к горлу! Мало, что мы выгребные ямы чистим, дрова рубим, черт-е-знает, в очередях стоим... За желатин землю копать? Да на кой мне...

— Сколько сейчас времени? — спросил Старцов.

— Три часа. Три часа ночи. Разве...

— Знаете что? Я пойду вместо вас. Я выспался.

Сергей Львович поднес лампочку к лицу Старцова.

— Ступайте скажите, что вместо вас идет другой человек, помоложе и...

— Посильней, конечно посильней! Вон у вас плечи-то,— перехватил Сергей Львович.

Он выпалил эти слова на ходу, запахивая шубу и устремившись к двери.

Провожая гостя, благодарно и умильно напутствовал:

— Желаю вам, желаю... Заходите. Если задержи-

тесь — переночевать, пожить даже: я ведь совсем один. Очень рад...

У самой двери он придержал Старцова за рукав, встал на цыпочки и шепнул:

— Видно, там плохо!

— Где?

— А там...

— Вот посмотрю,— ответил Андрей и сбежал по лестнице в темноту.

На дворе, под мутным пятном закопченного фонаря, шла перекличка.

— Квартира двадцать седьмая?

— Есть! — крикнул Андрей.

И глухо, как топором по пустой бочке, ударил голос:

— Откупился!

Потом темная глыба заслонила от Андрея фонарь, и тот же голос ухнул над головой:

— Документ!..

В мокрый, глухой туннель, в черную прорву холода ввалились немым скученным табуном. По шелухе железа, где-то над головами татакали, как цепы по току, быстрые шаги. Подняв воротники, руки — в рукава, спины — горбами, лицами в землю, под ноги — вперед, неизменно вперед, только вперед, в черную прорву холода.

И вдруг — в спины, в затылки, в шеи, под ноги — носами, животами, коленями, друг в друга — все до одного, до последнего. И спереди:

— Стой, сто-ой, сто-о-о-ооо!

Потихоньку, на ощупь, щурясь, пяля вперед, в бока, назад локти, руки, пальцы — толпа начала растекаться вправо и влево. А спереди:

— Че-ррр-т! Напоролись!

— Куда ты перла-то, прости господи?

— Да ведь товарищ ведет; я думала, он знает дорогу...

— Думают петухи... Вон у меня полы-то как не было!

— Вы бы сами...

— Ха-ха!

— С левой руки, граждане, вот на спичку, отсюда!

— Не воевали, а ранились!

Обходили, как слепцы — не табуном — человеческой толпой, с человеческим смехом,— невидный деревянный козел, запутанный проволокой. Чиркали спичками, выбивали беленькие искорки из зажигалок на потеху ветру.

За поворотом, в пространстве, нежданно высветился

восходящей луною часовой циферблат. Был он гладок, чист, четок, окружен беспредельной чернотой ночи, светился, не давая свету, и показывал три четверти восьмого.

От этого циферблата люди пошли бойко и гомонили, не унимаясь.

— Престранные бывают ассоциации,— услышал Старцов негромкий голосок. Он вгляделся в темень. Рядом с ним поспешал силуэтик ростом ему по плечо.

— Престранные. У меня знакомый один, хранитель музея. Владелец единственной коллекции миниатюр восемнадцатого века и библиотеки по истории миниатюры. Теперь впал, конечно, в нужду, распродал мебель, утварь, пустяки всякие. Дошел до последнего: с чего начать — с миниатюр или с библиотеки? Помучился, помучился — начал с библиотеки. И знаете, с этого дня все позабыл, все, что в книгах было, и вообще хронологию, эпохи, стили — всё. Только смотрит на свои медальоны, фарфор да эмаль, улыбается, светится — и все. А о чем ни начнет вспоминать — путает.

— О какой ассоциации вы? — спросил Андрей.

Тихонький голосок из непроглядной тьмы, из-за гомона людей, из-за свиста железной шелухи, точно извиняясь, посмеялся над самим собой.

— Это я про электрические часы. Вот светятся еще, и всё еще будто часы, а стрелки уже остановились, стоят, не шелохнутся. Светятся, а потухнут, непременно потухнут...

— Ерунда! — вдруг вырвалось у Андрея, и он тут же вспомнил, что это слово — не его и что Голосов произносил его по-другому.

— Они на прямом кабелю, оттого горят! — донеслось сзади.

Остановились все в той же холодной прорве, казалось без причины; казалось, можно было остановиться много раньше, а можно было идти еще. Красненькая воронка света из пригоршни ткнулась в широкое лицо, исполосованное морщинами, рябое. Потом на месте лица заалел огонек папиросы. К огоньку подобрался рукав, огонек раздулся, осветил ремешок часов.

— Без десяти,— ухнула глыба.

Где-то заклохтала темнота, дорога вздрогнула, заколебалась; шагах в двухстах из земли выросла белая колокольня, рядом с ней — развалины, мертвенно-холодные в

дрожи прожектора; потом клохтанье перешло в гул, в гвалт, в гром, в грохот, и, метнув саваном по домам — от церкви, через развалины, с дома на дом, чем дальше, тем скорее,— прямой разящий рупор света ударил в лица и ослепил.

С громыхающего гороподобного грузовика, преодолевая треск и трепыханье, пронзительно проорали:

— Сколь-ко лю-де-ей?

— Тридцать.

С визгом и звоном посыпались лопаты, подскакивая, привставая на мостовой.

— Четыр-надца-ать! Валяй еще-о-о!

— Хватит!

И опять заходила земля под ногами, опять зацапал мертвенно-холодный прожектор дома, руины, заборы; потом сразу опрокинулась и наглухо прихлопнула людей черная прорва, и все ослепли.

— Разбейсь напополам.

Ходили на развалины кучками, взявшись за руки. Там изводили спички, искали балок. Невидимо откуда наволокли со всех сторон щеп, досок, дранок, рам, фанеры, подкатили мокрое бревно. У концов его, упрятанных в щепы, распалили костры.

Гулкая глотка ухнула нетерпеливо:

— Ну что же, граждане, встали?

Тогда чья-то большая рука, дрогнув в робком свете костров, тяжело поднялась ко лбу, опустилась на живот, махнула от плеча к плечу, и спокойный голос позвал:

— С богом, товарищи!

И тогда десяток-другой спин медленно пригнулись к земле.

У забора, сколоченного из вывесок, куда отошла смена, разворотив мостовую, гукало и шуршало железо. Андрей распахнулся, вытер рукой потную шею, присел на асфальт. Женщина, перетянутая ремешком, неловкая, тучная, отдуваясь, счищая обрывком ржавой жести липкую грязь с ладоней, спросила:

— Ну как, профессор, камни-то ворочать?

Человек ростом Старцову по плечо потянулся, точно просыпаясь, и рассмеялся:

— А знаете — хорошо! Я не могу вам точно передать, что я чувствую. Иногда идешь по улице, поднимешь невзначай голову, вдруг — небо! Так станет на душе удивительно. Годами не видишь, не замечаешь, как будто нет

ничего. И вдруг прикоснешься. Оказывается — небо!.. Вот что-то такое...

— Оказывается — назём.

— Совершенно верно — назём, грязь. А прикоснуться — радость.

— Я понял бы, если бы — пафос,— раздалось прерывисто, с одышкой.

Тучная, неловкая спохватилась:

— Вот именно! В феврале баррикады строились сами. А сейчас — казарма.

Одышка добавила:

— Главное, защищаем что? Право на разрушение.

— Разрушение,— отдалось сзади.

— Разрушение,— колыхнулось спереди.

— Пафос,— сказал профессор, вглядываясь в Андрея,— пафос — это час, день, неделя. Пафос — это припадок. Нельзя, чтобы народ бился в припадке целые годы.

— А зачем нужно, чтобы бился?

— Профессор, ведь культура...

— Культура,— отдалось сзади.

— Культура,— колыхнулось спереди.

И опять, точно посмеиваясь над самим собой, извинился профессор:

— Я, знаете ли, изучая историю, не мог обнаружить, чтобы какая-нибудь идея бесследно исчезала под развалинами академии, города или государства. Не мог. И я совершенно спокоен: биологии, истории, искусству, физике, вообще знанию, накопленному человечеством, сейчас ничто не угрожает.

— Идеи можно мыслить только в человечестве. А человечество обречено на взаимное истребление.

— Истребление,— отдалось сзади.

— Истребление,— колыхнулось спереди.

— Я не вижу этого,— возразил профессор.

— А как же,— спросил Старцов,— насчет часов?

— Каких часов?

— Там, на перекрестке. Горят — но потухнут, непременно потухнут...

— Про хранителя музея? Но ведь это — чувство, человеческое чувство! Господа! (Профессор воскликнул: «Господа!» — но обратился к одному Андрею и говорил с дружеской укоризной.) Кто же будет отрицать, что нам больно смотреть на собственную смерть?

— Смерть,— подхватила одышка.

Забор из вывесок загромыхал и взвыл, заглушив негромкую речь. Костры притухли, потом на мгновенье залили людей красным пламенем и ровно приземлили огонь.

Насыпь подымалась в длину всего окопа, от тротуара к тротуару, поперечной прямой линией. Когда в окоп входила смена, лопаты двигались вяло, земля скатывалась по насыпи назад в яму. Потом крутые комья торопливым градом катились через гребень насыпи к кострам, засыпая развороченный булыжник. Обшарканное железо лопат дзинькало по грунту, как косы по росному лугу, люди распалялись и работали зло.

В шесть утра человек, голос которого ухал точно топором по пустой бочке, спрыгнул в окоп, примерился глазом на насыпь, прошел из конца в конец, вылез на мостовую, ухнул:

— Ладно, граждане! Спасибо!

— Республика, стало, благодарит? — произнесла одышка.

Кто-то верещаво вздохнул:

— Вску́ю, господи!

Отряхивались, отчищались, отскабливались, делили остатки щеп, тушили дымившие головни в лужицах, посмеивались, в последний час ночной тьмы вступили шумной ватагой.

Старцов ушел далеко вперед. Голоса позади него растаяли, город суровым безмолвием отзывался на его шаги.

Вдруг он расслышал впереди себя обрывочки бравурного напева. Он насторожился, пошел быстрее, ступая одними подошвами.

Силуэтик ростом ему по плечо, засунув руки в глубокие карманы, весь сжавшись и уйдя в пальто, ввинчивал в каменные плиты скорые, короткие шажки и решительно мурлыкал:

Aux armes, citoyens!

Старцов подхватил:

Formes vos bataillons![1]

Профессор живо повернулся на каблуках, как-то по-птичьи вперил глаза-угольки в Старцова, коротко вос-

[1] К оружию, сограждане!
Стройтесь в ряды!

кликнул: «А, это вы?» — и, стремительно схватив его под руку, дергая за рукав в такт песне, точно понукая подтягивать, точно стараясь растеребить, раскачать Старцова, почти громко продолжал:

Marchons, marchons...[1]

И ввинчивал чеканно, маршево, восторженно короткие звонкие шажки в мокрые плиты.

Так в вымершем, промозглом, шелушившемся железной шелухой городе, в последний час ночной тьмы, шли двое, взявшись под руку, с песней, которой нет равной. И когда кончилась песня, один сказал:

— Еще один раз родиться, еще один раз, боже мой! Через сто лет. Чтобы увидеть, как люди плачут при одном упоминании об этих годах, чтобы где-нибудь поклониться истлевшему куску знамени, почитать оперативную сводку штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии! Ведь вот — смотрите! смотрите! — ветер рвет, полощет дождем отлипшую от забора, обмазанную тестом газету. А ведь через сто лет кусочек, частичку этого листа человечество в антиминс зашьет, как мощи, как святая святых!.. Через сто лет родиться и вдруг сказать: а я жил тогда, жил в те годы! И однажды, сырой, холодной ночью, в Петербурге, в Петрограде, в Питере, рыл окопы вот этими руками, шел по пустынной улице, по городу, который умирал и дрался, дрался и умирал, шел под руку с солдатом Красной Армии, вот этой, вот, вот — смотрите! — вот этой рукой держал вот так красноармейца! Ведь вы красноармеец?

— Я еду... То есть... я должен сегодня получить назначение...

— Вы, может быть, увидите еще... Я, конечно, не выживу, не гожусь. Животу, мамону, зверю сейчас тяжко. Если бы вы могли себе представить, как иной раз досадно,— до слез, знаете ли! Может — старческое. Да, старческое. Вот и... Позвольте с вами...

Внезапно профессор очутился перед Старцовым, обхватил одной рукой его затылок и трижды прижался к щеке дрожащими губами.

— Мне налево. Не обижайтесь. Счастливо!

И юркнул за угол.

Андрей остановился.

Лицо его опалил горячий воздух — так ясно, отчетли-

[1] Вперед, вперед... *(фр.)*

во, ощутимо, что он вздрогнул. Воспоминанье было неожиданное и ошеломило его. Из всего, что произошло на вокзале в Семидоле, что случилось в этот последний прощальный день, только одна черта, одно неуловимо короткое чувство отложилось в памяти. Остальное скаталось в сплошной клубок:

> Сумерки, нестройные голоса, свернутые — для удобства — плакаты и знамена, толчея на узкой платформе вокзала. Под ногами качающийся от выкриков скрипучий ящик, потом деловые, торопливые поцелуи с товарищами, их лица — как будто застенчивые, виноватые; потом беготня по черным запутанным путям и дорога в город — дорога одинокая и длинная. Все это — сплошным клубком, заслоненным ясной, неотступной волей,— да, волей, желанием, хотеньем пережить еще раз чувство совершенной свободы, то самое чувство, которое пришло в полях под Саньшином,— чувство бесплотности.

Но вот что разорвало непрерывность воли, что литым мячом откинуло в сторону весь этот день, последний в Семидоле день,— и вот что сделало этот день прощальным:

> Ночь была холодная. Небо стояло необычно высоко, и звезды на нем были мертвы. Площадь перед вокзалом не лежала, как всегда, пустырем, а простиралась пустыней. Лошадь переставляла ноги, извозчичья таратайка кренилась вправо и влево, но ощущения езды, движения не было. Внезапно неразличимая в ночи фигура вспрыгнула на подножку пролетки. Лошадь стала.
>
> — Рита! — вскрикнул Андрей.
>
> — Я хотела, чтобы никто не видал,— задыхаясь, проговорила она. Потом упала ему на плечи, ледяными губами зажала его рот, холодными рассыпавшимися волосами коснулась лица, шеи, рук и нежданно горячо, в этом осеннем холоде ночи, губ и волос, опалила:
>
> — Прощай!
>
> Он должен был что-то крикнуть, потому что крик подкатился к горлу, потому что Рита рванулась с пролетки и убежала в ночь, потому что вдруг стало так, точно он уходил от матери, уходил навсегда,—

должен, должен был крикнуть, но вместо крика ткнул в спину извозчика и выдавил из горла через силу:

— Гони!

И вновь заслонилось все ясной волей — еще раз, скорее испытать, пережить, почувствовать то, что пришло в полях под Саньшином.

— Гони, гони, гони!

И теперь, в холоде ночи, от холодного прикосновения чужих губ, отчетливо, ощутимо опалил лицо горячий вздох, и воспоминанье последнего дня, ставшего прощальным, было горько. Но так же скоро горечь смылась неотступной волей — испытать! И Андрей ринулся в темноту, крикнув самому себе:

— Гони!

О, если бы сейчас он был на месте шофера, который выгнал из-за угла громыхающую машину, промчал ее на два пальца от чугунного столба, окунул в лужу, подбросил в воздух, выпрямил, выправил, вбил в бесконечную прямизну проспекта и погнал в вихре брызг, в свисте колес, в треске мотора, в шуме, грохоте, громе! Каждая секунда — смерть, на каждой выбоине —смерть, в каждой яме — смерть, у каждого столба — смерть, на повороте — смерть, на прямой —смерть! И прекрасно, прекрасно, потому что ничего, кроме — так нужно; ничего, кроме — необходимо! Прекрасно, легко, бесконечно легко! О, если бы сейчас испытать, пережить, почувствовать, что пришло в полях под Саньшином!

— Гони, гони, гони!

КОНРАД ШТЕЙН

В тот день, в Москве, к дому, где помещался Германский совет солдатских депутатов, подошел человек в пушистой заячьей шапке, в порванной грязной шинели германского образца и голубых австрийских обмотках на ногах. Он потолкался в вестибюле, перечитал объявления и записочки, наколотые по стенам, и пошел на второй этаж.

В комнате, где толпились оборванные люди, он стал в очередь. С полчаса он продвигался вперед с видом человека, привыкшего ждать, усталого и безразличного. Подойдя к столу, он снял шапку. Волосы его были очень корот-

ко обстрижены, и по голове, от правого уха к затылку, протянулся широкий шрам, усеянный сморщенными розовыми рубцами. Он держался прямо, как хороший солдат, и звонко стукнул каблуками, когда человек, сидевший за столом, поднял на него глаза.

— Я отстал от эшелона, возвращающегося на родину. Вот мои документы. Прошу присоединить меня к ближайшей партии. Я должен был...

— Откуда шел эшелон?

— Из Семидола.

— Как же вы отстали?

— Я покупал для товарищей картофель. Начальник эшелона сказал, что мы простоим часов восемь. Я ходил в деревушку в двух-трех километрах. Поезд отвели тем временем на какую-то ветку. За всей этой русской суматохой, пока я узнавал...

— Где это было?

— В Рязани. Я прошел добрых полпути пешком, до Москвы.

— Вас зовут?..

— Конрад Штейн.

Поводив пальцем по спискам, человек, сидевший за столом, закурил папироску и сказал:

— Да, есть. Это было в конце октября?

— Эшелон погрузился в Семидоле двадцать четвертого октября и отправился двадцать пятого.

— Одна минутка,— произнес проверявший списки, поднялся и вышел в соседнюю комнату.

Пожилой бородатый солдат в русском башлыке вокруг шеи ласково вгляделся в Конрада Штейна и, показав глазами на его шрам, сказал:

— Хорошо сделано. Осколок?

— Французская работа,— отозвался Штейн,— в Шампани, в пятнадцатом году.

— Хорошо сделано,— повторил солдат.— Вы саксонец?

— Да.

Дверь соседней комнаты открылась, и человек со списками в руках выкрикнул:

— Конрад Штейн, зайдите сюда.

Когда Штейн поравнялся с ним, он добавил:

— Доложите секретарю, что вы мне говорили.

И стал в дверях.

Секретарь мельком взглянул на него и сказал:

— Вы можете идти, товарищ.

Потом сухо обратился к Штейну:

— В каком лагере вы содержались?

— В Томском.

— До какого времени?

— Вот мои документы, в них все подробности. Потрудитесь...

— Прошу вас отвечать на вопросы. Мы в чужой стране, которая еще недавно находилась в войне с нами, и наш долг помогать друг другу. Каждый рвется домой, но не у всех одни права на первую очередь.

— Но ведь я уже был включен в эшелон!

— Я знаю. Когда вы были взяты в плен?

— Я тяжело болен, вы видите.— Штейн показал на свой шрам.

— Когда вы были взяты в плен?

— В феврале семнадцатого года.

— Где?

— Под Ригой.

— До какого времени вы содержались в Томске?

— Точно не припомню. Весной этого года. У меня, видите? — Штейн снова показал на голову.

— Однако вы точно сказали, когда отправились из Семидола.

— Это записано в документах.

— Каким образом вы очутились в Семидоле?

— Шесть человек бежали из Томска, в числе их —я.

— Как вы проникли через фронт?

— Красные приняли нас хорошо и помогли добраться до Семидола.

— А белые?

— Белых мы обошли.

— В гражданской войне вы не участвовали?

— Нет.

— Вы рядовой?

— Я ефрейтор.

Секретарь встал и направился к дальней двери. Дойдя до нее, он быстро обернулся и спросил:

— А вы не знавали некоего цур Мюлен-Шенау?

Ефрейтор сморщил брови, поднял глаза к потолку, помычал.

— Нет, не припомню,— спокойно ответил он

— Как вас зовут?

— Конрад Штейн,— сказал ефрейтор.

Секретарь вышел.

Тогда Конрад Штейн бросился к двери, через которую перед тем вошел, остановился на одно мгновенье, затаил дыханье, прислушиваясь, потом неторопливо нажал дверную ручку.

В комнате, где толпились оборванные люди, у стола никого не было. Из телефонной будки доносился чей-то раздраженный тонкий крик.

Конрад Штейн положил на дно шапки свои документы, нахлобучил заячий мех на глаза и стал пробираться к выходу. Бородатому солдату в башлыке вокруг шеи, ласково взглянувшему на него, он скучно сказал:

— Пойду покурю, пока там возятся с бумагами.

И тихо спустился по лестнице. На улице он скользнул за угол, бросился к трамвайной остановке и затерялся в невзрачной толпе.

А ночью к товарному поезду, тащившемуся из Москвы в Клин, подбежал из темноты быстрый человек с большой белой головой и, пропустив мимо себя звякавший сцепами, поскрипывающий состав, прилип к затылку последнего вагона у буфера, под слепым глазком красного фонаря.

ВРАГ У ВОРОТ!

Штаб был освещен, и по замызганным, обшарканным лестницам бродили, бегали, метались люди. Через распахнутую дверь рвались телефонные звонки, и охриплый, замученный голос клекотал поминутно:

— Слушаю... для поручений...

— Говорит, для поручений... у телефона для по-ру-чений!

В круглой высокой комнате плавал в табачном дыму и в бумажных ворохах сонный человек. Мусоля пальцы, он перебирал и перекладывал картонные карточки, бумажки, бумаги, подносил к губам эмалированный чайник, сосал оббитый носик, потом долго таращил глаза —с растолстевшими веками и обескрашенными зрачками — и опять перекладывал бумажки.

— Вам когда сказано явиться? — спросил он Старцова, не отрываясь от бумажек.

— В девять.

— А сейчас сколько?

Он весь обвис —усы полезли в рот, щеки сползли на нижнюю челюсть, длинные волосы занавесили лоб, глаза, уши,—но неустанны были руки, перебиравшие карточки, бумажки, бумаги.

— Постойте,— крикнул он уходившему Старцову,— есть! Это на Французской набережной.

Старцов взял бумагу, сунул ее за обшлаг и — мимо бродивших, бегавших, метавшихся людей, сквозь разнотонный треск звонков и клекотавший хрип: «для по-ру-че-ний!» — вышел на площадь.

Над дворцом струилась неровная белизна рассвета, но сам он, Александровский сад, разогнутая подкова штаба все еще стояли сплошной серой стеной, обрубая скрещенные лапы автомобильных прожекторов.

Андрей окунулся в туман. Он шагал широко и уверенно, подбодряемый холодным ветром, заползавшим под воротник и в рукава.

Он торопился навстречу делу и верил, что все в мире станет простым и ясным, если он прикоснется к нему. Ему казалось, что чувство, поднявшее его над землей, как ветер клок бумаги, хоронится где-то совсем близко и вот-вот ворвется в него, чтобы опять закружить в своей воронке. Откуда мог он знать, что его попутный ветер дует с берега, к которому он старался причалить? Откуда мог знать, что с того часа, как он переступит порог ослепшего от дождей дома, каждый его день ляжет горою между ним и его простой, ощутимой целью?

Он открыл отсыревшую дверь и поднялся по лестнице с пропитанной грязью ковровой дорожкой.

В большом зале горела бессильная электрическая лампочка. Рыжий свет ее падал на длинный ряд ломберных столиков, выстроившихся вдоль окон.

— Са-ла-ват! — донеслось до Андрея жесткое гортанное слово.

Он обернулся. В углу, на крышке концертного рояля, лежал человек лицом вверх, с телефонной трубкой у рта.

— Салават! Салават! — кричал он так, что у него вздрагивал живот и дергались ноги.

Андрей посмотрел в дальний угол зала. Ему показалось, что там никого не было. Но в бледном, пробивавшемся через окно свете он вдруг различил силуэт солдата. Штык торчал над его головой прямой, четкой линейкой. Солдат стоял подле бесформенной черной кучи, выраставшей из пола. Андрей подошел ближе. На высоком

приступке с ниспадавшими складками материй, обложенный венками, стоял гроб. Солдат, державший караул, крепко спал.

— Выпускающий «Салавата»? — вскричал человек на рояле и тут же жарко заторкал в трубку жесткими, невнятными словами. Потом соскочил с рояля и произнес, уже обращаясь к Андрею:

— Вот, сволочи, до сих пор не спустили в машину!

— Что?

— Да «Салават»! Газету, черти! А вам что надо?

— Не знаю, туда ли я попал. Мне нужен начальник...

— Начальник? Вон туда.

И короткий палец показал Андрею в дальний угол, на гроб.

— Он умер? — спросил Андрей.

— Да нет же, это совсем другой! Там вон, дверь.

Красный, бегавший по стенам свет прыгнул Андрею на грудь, колыхнулся по лицу и соскользнул на пол. У камина, на просторном ковре, поджав под себя ноги, сидели трое. Скуластый черный человек с маслеными прямыми прилизанными волосами круто дернулся головой к Андрею и спросил с качким восточным акцентом:

— Что надо, товарищ?

Андрей подошел ближе и протянул свои бумаги.

— Хорошо, нам надо такой работник,— сказал черный и кольнул Андрея меткими глазами.

Двое других мельком покосились на Андрея и замурлыкали монотонную песенку, громко вздохнув.

— Хочешь подождать — можешь подождать в другой комнате.

— Вы назначите меня в часть? — спросил Андрей.

— Зачем в часть, почему в часть, если я говорю, что нам надо такой работник?

— Но я выражаю желание идти на фронт, а не оставаться здесь.

— Товарищ дорогой, я тоже выражаю желание, чтобы ты остался здесь. Здесь тоже фронт, а не что другое.

— Я хочу в передовые части, товарищ, меня за этим и послали.

— Какой разговорчивый, какой разговорчивый, дорогой! — воскликнул черный и показал Андрею довольный, блестящий оскал.— Так вот я сообщаю, что здесь передовая часть, сейчас может стать передовая часть в самом Петрограде. Оружие есть?

— Маузер.

— Поди чисти свой маузер.

— Он смазан, чистить его нечего.

— Какой разговорчивый!

Черный вскочил на ноги, хлопнул себя по ляжкам и подошел к Андрею. Был он строен, гибок и узкогруд, и в том, что он сказал, неожиданно зазвенела серьезность, углубленная не вязавшимся со словами акцентом. Он сказал:

— Молодой товарищ, революция знает, что надо делать с тобой, со мной, вон с тем, с другим. Я тоже не хочу сидеть в этой комнате, холодной, высокой, тут от пола до потолка пять верст! Революция знает, что я, начальник, здесь должен, у паршивого камина. Подожди в другой комнате. Ты будешь помогать хоронить убитого командира.

Он хлопнул Андрея по плечу.

— Надо хорошие похороны,— это хороший красный командир!

Вошел и остановился в дверях вестовой. Начальник шагнул ему навстречу, и вдруг каскад неудержимых гортанных вскриков обвалился на вестового и, казалось, сшиб его с ног; он попятился и сел в кресло. Тогда черный кинулся к нему, затормошил его за плечи, захлопал по груди, принялся дергать пояс. Вестовой протянул начальнику короткопалую руку ладонью вверх, начальник хлопнул по ней и устремился к камину. Там все еще раскачивались и мурлыкали песню его двое товарищей. Он уркнул что-то им, они обернулись на вестового и крикнули короткое слово. Вестовой поднялся, произнес то же слово и вышел. Тогда начальник подошел к Андрею.

— Я говорю ему, почему даешь моей кобыле белую попону? Я не белый армеец, я красный армеец,— давай красную попону, красную звезду, красное седло! Зачем белое?

Он радостно захохотал и протянул Андрею руку.

Андрей схватил эту руку — цепкую, сильную и сухую,— пожал ее и повернулся к двери. Когда он, сделав несколько шагов, остановился посреди комнаты, на лице его тенью отразилась призрачная, радостная, лукавая улыбка черного человека.

Он начал работать.

Телефоны, пакеты, бумаги, телеграфные сводки, какие-то книги и ведомости, какие-то актеры и каптенарму-

сы, что-то вдруг холодное, как студь, ползущая из двери по паркету, или маркое, как шелковый колпак на лампе, чьи-то горести, чье-то счастье, конюхи, лекторы по истории первобытной культуры и дивизионные врачи, барышни в заячьих шубейках и художники в валяных сапогах, что-то необъятное и вдруг что-то мизерное — все это закружило и укачало его, как баркас, и он плыл, утопал и выкарабкивался, чтобы опять плыть и утопать.

Он опомнился в сумерки, в толпе обступивших красный гроб скуластых людей, у самого гроба, подле черного, как траур, начальника. Освещенный угольными лампочками зал — в панно, гобеленах и тяжелых картинах — гудел привычным напевом. Но песня пелась на короткозвучном, хоркающем, как вальдшнеп, языке, и напев получался тоскливый, как степь. Андрею показалось, что на скуластых, недвижных, кованных из меди лицах чересчур часто закрывались и мигали раскосые сухие глаза.

Он вышел на набережную, когда клейкая темень прилипла к мрачным слепым домам. Он постоял на дороге в нерешительности, поворачивая голову по сторонам, потом нахлобучил шапку и зашагал к Литейному мосту.

Ночью новый штабарм приступил к работе.

По стенам, заборам и столбам бились подвешенные на тесемках и шпагате телефонные провода. На них позвякивали деревянные ярлыки Зимнего, Смольного, дивизионных штабов, Петропавловской крепости.

Черновик донесения был написан без помарок, чернильным карандашом, на дзух листах. Когда первый покрылся крутым строем букв, в дверь ударил голос, который был сразу словлен и придушен телефонным звонком:

— Переписать!

Второй листок кончался абзацем:

При настоящей обстановке, когда части 2-й и 6-й дивизий совершенно почти не оказывают сопротивления противнику, оставляют позиции, что разлагающе действует на выдвигаемые на поддержку им подкрепления, возможно ожидать в самом ближайшем времени перерыва противником Николаевской ж. д. Средства Петроградского укрепленного района мало боеспособны, и оборона его не налажена. Ввиду создавшейся крайне серьезной угрозы Петрограду, прошу о направлении в район Тосно боеспособных подкреплений, в количестве не менее двух бригад, дабы парализовать возможность продвижения противника со стороны Гатчины на Тосно и воспрепятствовать намерению его овладеть Петроградом. Штаб армии переходит сего числа в Петроград.

— Переписать!

Это было первое донесение нового штаба армии штабу Северо-Западного фронта.

Оперативная сводка фронта в этот день гласила — предпоследний абзац:

В Ямбургском направлении наши войска после упорных боев оставили Гатчину.

Последний абзац:

В Лужском районе под давлением противника наши части отходят на линию Виндавской жел. дороги.

В домах есть лестницы, перепутанные и безлюдные; чуланы, куда, кроме кухарок, заходят одни мыши; сараи, каретники и чердаки с дверями, закрытыми даже для псов; сени, кладовые, тупики коридоров.

Вот по этим лестницам, в этих сараях, на этих чердаках губы шепчут отчетливей и кулаки чуть-чуть показываются из-за пазух. Заброшенность каретника, безмолвие сарая, пустота коридора, где самый опасный свидетель — паук, окруженный пыльными пустобрюхими трупами мух,— преисполняют отвагой души, удел которых — трепет.

Губы шептали отчетливо:

— Из каждого окна — флаги! Национальные флаги!

— С каждого чердака — фейерверк! Торжественный, помпезный фейерверк!

— Из каждого подвала клики освобожденных! Радостные, исступленные клики!

— Из-за каждого угла — цветы! Ароматные, пышные цветы!

— Отовсюду! Отовсюду!

О флагах и фейерверках, кликах и цветах шептали губы по чердакам, чуланам, словно в ответ на приказ, который поднял на дыбы окаменелую столицу. В каретниках, сараях показывались втихомолку кулаки —наперекор призыву, расклеенному по улицам и убеждавшему граждан, что у гигантского города хватит пулеметов, гранат, винтовок, наганов и для разгрома белогвардейцев нужно только, чтобы несколько тысяч человек решили не сдавать Петрограда.

Несколько тысяч человек решили.

Но Литейный, каким застал его Андрей, словно не знал этого.

В вязкой темноте проспекта приплюснутые туманом люди волочили за собой мешки, узлы, корзины.

Бросались в стороны, прилипали к помятым, продырявленным трамваям, вырывавшим своими отвислыми буферами торцы и камни из мостовой.

Обезумевшими глазами хватали с обрывков нового приказа на стенах бесстрашные слова:

ЗА ДЕЛО!
ВСЕ В РЯДЫ!
БЕЙТЕ ТРЕВОГУ, ВРАГ У ВОРОТ!

Перехватывали половчей мешки, подбирали хлопавшие по грязи полы, рассыпались цепью вдоль трамвайного полотна.

Спасались.

И вдруг среди этих бредивших погибелью беглецов Андрей увидел женщину, переходившую дорогу с размеренностью заведенной куклы. Женщина шла под зонтом. Она была повязана косынкой, и платье ее было опрятно. Свернув неторопливо зонтик, она наклонила голову и зашла в подъезд. Андрей двинулся за ней.

Над дверью под хмурой лампочкой он прочел:

ЗАЙДИ И ПОСЛУШАЙ
СЛОВО ЕВАНГЕЛЬСКОЕ,
ЗОВЕМ ТЕБЯ,
ВХОД
ДЛЯ ВСЕХ СВОБОДНЫЙ.

За скамьями, расставленными, как в театре, в полутьме сумрака кучились коленопреклоненные женщины. Со школьной кафедры говорил широкогрудый человек. Слова его были раздельны, но не вязались ничем, кроме голоса — приглаженного и крадущегося, подобно тихим движениям проповедника.

> Деятельность совести нужна нам, чтобы человек не успокаивался на ложных перинах нашей жизни. А я знаю, искупитель мой жив, как сказано у пророка Иова. Братия и сестры, вечность гарантирована нам, станем за Христа. Потому что сказано в Послании к коринфянам: пасха наша — Христос заклан за нас. Помолимся же, братия и сестры, совместно о наших скорбях и текущих потребностях...

Оратор скрестил руки на кафедре и положил на них голову. Черные кучки за скамьями колыхнулись и притихли. Чей-то придушенный голос забормотал невнятное. Потом из бормотания выкарабкались и заплескались по комнате прерывистые слова:

— Дорогой господи, я женщина бедная...

— Господи, дочь у меня слабая...

Вдруг в плеске выкриков и всхлипываний Андрей расслышал странно знакомый голос. Он вслушался в него, шагнул вперед, отыскивая говорившего. У самой кафедры он различил высоко закинутую голову. Пенсне на носу дрожало и ползло вниз, вспыхивая радужными искорками, а голова поднималась с каждым словом выше и выше:

— Господи! Прости моего сына Льва и наставь его на путь правый... Сына Льва... Моего сына Льва, обокравшего отца и родственников, господи... И моего другого сына, Алексея... господи...

Кто-то захлебнулся в приступе рыданий, и сразу визгливые вопли завертелись над дергавшимися наклоненными головами в черных косынках.

И только одна голова была неподвижна, как камень: голова проповедника, лежавшая высоко на кафедре, широким затылком к братьям и сестрам.

Как попал сюда Андрей? Что толкнуло его следом за женщиной, похожей на заводную куклу? Где она теперь? Неужели — безликая, неслышная — она появилась, чтобы столкнуть Андрея с дороги, по которой так легко и бодро ступать?

Он бросился к выходу. Упрямые буквы плаката ткнулись ему в глаза:

ИДИ И ВПРЕДЬ НЕ ГРЕШИ

Вон отсюда, вон! На проспект! На проспект! В котловину серых шинелей, в поход, в вечный поход,— да будет этот поход вечным!

Какое-то лицо с растянутыми в проволоку губами, точно ножом, полоснуло Андрея отточенным взглядом и обернулось к красноармейцу, бежавшему вслед за ним.

— Мы еще посмотрим! — расслышал Андрей.

— Еще посмотрим! — крикнул красноармеец и обрадованно захохотал, рысцой догоняя своего товарища.

— Еще посмотрим,—пригрозил кому-то Андрей, и вдруг на него подуло кисловатым запахом хлеба. Запах

был едва уловим, но от него забилось сердце, как от наркоза.

Андрей осмотрелся, чтобы решить, куда идти. Люди двигались поредевшими встречными вереницами. Лица были землисты и плоски. Андрей перехватил взор чьих-то бесцветных глаз. За отупелым, недвижным блеском их он увидал звериную боль голода. И тотчас что-то грузное потянуло его за плечи к земле, и он качнулся.

Голод, голод двигал всем проспектом! — показалось Андрею. Все это смятение, весь этот бег человеческих тел, весь этот нескончаемый поход народа в серых шинелях — бег на месте, поход вокруг черного остова голодной смерти!

Скорее в тайный угол конуры, домой, домой! Туда, где краюха хлеба.

В сумке, которую привез Андрей из Семидола, было еще много хлеба. Так много, что хватило бы на целый вечер и на целую ночь. Но сумка осталась у Щепова на кожаной кушетке. Андрей вспомнил об этом за весь день всего два раза и знал, что пойдет к Щепову, что больше некуда идти. Но было страшно думать, что уже настало время просить о ночлеге.

Он сорвался с места, и проспект привычно понес его по своим промозглым торцам.

В доме, который должен был стать его приютом, на лестнице, у двери квартиры Щепова, Андрей дожидался Сергея Львовича.

Но Сергей Львович пришел не скоро.

Из общины евангельских христиан он возвращался медленно, заложив за спину руки и останавливаясь перед разрушенными домами, чтобы покачать головою. В походке его, одернутой и сломанной временем, еще таилась черта пенсионера; он не спешил, он нес несуетливо свою заслуженную особу четвертого класса.

Прежде чем войти в квартиру, Сергей Львович зашел к председателю домового комитета.

— Здравствуйте,— сказал он, снимая фуражку и присаживаясь.— За копанье окопов полагается фунт хлеба. Я пришел спросить, выписан ли мне хлеб или еще нет?

— Так ведь вы не копали,— ответил председатель.

— Копала моя квартира, согласно списку. В чьем лице квартира копала — это безразлично. Квартиронанимателем являюсь я, стало быть, юридически, мне при-

читается фунт хлеба. Кроме того, теперь не такое время...

И Сергей Львович постучал папироской по ногтю большого пальца.

Петербург готовился к встрече высокого гостя.

Высокий гость, собираясь вступить в столицу, задержался в летних императорских резиденциях. Но гонцы и скороходы уже подходили к столичным заставам, чтобы проверить, готова ли столица принять и чествовать гостя. Гонцы и скороходы редко возвращались от застав в летние резиденции, потому что Петербург — город императорских традиций — нельзя застать врасплох и потому что столица всегда знала толк в обращении с послами высоких гостей.

Петербург готовился к встрече высокого гостя.

Благородные институты — Смольный и Ксеньинский — искушенные в приемах высоких и высочайших особ, некогда гордые своим прошлым, а теперь уверенные в будущем, с честью возглавляли трепетные заботы и неусыпные труды столицы. Надо было расцветить весь город. Надо было украсить въезд. Соорудить триумфальные арки. Возвести помосты, расставить почетные караулы, выкинуть штандарты и заслуженные знамена.

Чтобы из каждого окна — флаги! С каждой крыши — фейерверк! Из-за каждого угла — цветы!

Ах, из колючей проволоки режется прекрасный серпантин! А из его упругих лент вывязываются легчайшие банты в петличках режиссеров. И разве точеные снаряды, заряженные картечью, не разлетятся пестрым и веселым конфетти? А толстые, набитые мокрым песком мешки ужели неудобны для сооружения киосков? Когда-то хлопали в таких киосках пробки выдержанного сек’а, но чем же хуже пробок воющий треск хорошо смазанного пулемета?

Благородный Смольный плел и резал колючий серпантин, и благородный Ксеньинский выводил причудливые киоски из мешков, набитых песком.

И вот все было готово, и конфетти, завязанный в стальные сумочки, покойно ожидал своего часа, и из киосков выглядывали головы в красных платочках, и оставалось только дернуть шнур восьмидюймового орудия на Лиговке, чтобы салютовать вступлению высокого гостя в Петербург.

Но высокий гость не вошел в столицу. Он уклонился от чести. Он был неверно понят. Он не искал такой пышной встречи. Он никогда не думал, что его появление вызовет такой подъем. Он ожидал, что все будет проще. Он увидел, что ошибся, и повернул спиной к столице, чтобы уйти навсегда,— бедный, непонятый высокий гость.

А как досадно! Какую жаркую встречу приготовил ему Петербург!

Вот что сказал Андрею человек с качким восточным акцентом, когда нашлось время, чтобы произнести что-нибудь, кроме команды:

— Революции нужен писарь. Ты умеешь писать — пиши.

Тогда Андрей закричал не своим голосом:

— Я не хочу писать! Мне отвратительно возиться с бумажонками, когда кругом бьются насмерть!

И человек с акцентом ответил покойным голосом, с призрачной улыбкой на скуластом лице:

— Товарищ дорогой, почему ты думаешь, что каждый человек в революции должен стрелять из ружья? Может, вся твоя революция бумажная?

И потом, отходя в сторону, обернулся и добавил почти нежно:

— Революция не любит, чтобы ей возражали. Надо быть всегда веселый...

Правда, и в это время находились люди, не терявшие радостного духа веселости.

Комиссар дивизии, в которой служил Андрей, собрался жениться на беленькой женщине в заячьей шубке. Комиссар был гостеприимен, любил людей, товарищей и братьев по войне. И он захотел справить свадьбу на славу, как справляют этот праздник в степи, на просторе, под небом. У него не хватило лошадей, и он попросил дивизионного врача одолжить ему круглую кобылку, на которой врач разъезжал по городу. Врач одолжил: в городе стало спокойней, войска оправлялись, можно было день-другой походить пешком.

Но день-другой прошли, а кобылку врачу не возвращали. Он все не мог повстречать комиссара и наконец догадался спросить о своей лошади его жену — беленькую женщину в заячьей шубке.

— Кобылку? — удивилась женщина в шубке.— Милый доктор, но мы ее тогда же, на свадьбе, освежевали

и роздали гостям! Если бы вы знали, какие у нас были гости!

И она залилась смехом...

Вот если бы Андрей умел смеяться. Может быть, глаза его не ввалились бы тогда так глубоко и походка его была бы тверже и прочней? Но каждый день подбивал его, как ветер — птицу, и все кругом него становилось странным и едва уловимым.

И однажды, в снежный вечер, возвращаясь домой, он остановился на углу и взглянул вокруг себя удивленно, точно его перенесло на эти улицы из другого мира. Мокрый снег бил по бурым облупленным стенам с остервененьем. Люди бежали, казалось, без всякой цели, и во всем, что обступало Андрея, нельзя было поймать смысла, обычного и простого в живом городе.

Какая-то девочка, в отрепьях на голове, в коротком платье, сжав что-то за пазухой, переминалась на длинных, очень тонких ногах подле заколоченной двери. Лица ее не было видно.

— Что вы сказали, гражданин?

Высокий, костлявый человек уставился пустыми глазами на Андрея. Рот его был приоткрыт, и с отвислых полей шляпы на промокшие плечи капала вода.

— Вы, кажется, что-то сказали сейчас? — повторил он.

— Я сказал? — спросил Андрей.

— Вы ничего не сказали?

Высокий человек приблизился вплотную к лицу Андрея и осмотрел его внимательно.

— Гражданин, подайте на кусок хлеба,— вдруг пробрюзжал он, и рот его открылся еще больше.

— Хлеба? — спросил Андрей.

Человек постоял некоторое время молча, с застывшим лицом, с вытаращенными глазами, потом повернулся и быстро побежал за угол.

Прошел старик, с туловищем, наклоненным вперед, и ногами, отстававшими от туловища на полшага. Ступни его были обернуты промокшим, тяжелым тряпьем, и на тротуаре позади него оставались следы, как от швабры. Он остановился против девочки и о чем-то спросил. Потом нагнулся к ней и опять что-то сказал. Тогда она пронзительно вскрикнула и бросилась в сторону через дорогу. Тонкие, длинные ноги ее замелькали перед Андреем голыми, блестевшими от воды коленками. Андрей

сделал несколько шагов следом за девочкой. Она куда-то пропала.

Хриплый, сначала придушенный, потом резкий, все учащавшийся звон заливал улицу. Не понять было, откуда он шел. Потом внезапно грузный шум накатился на Андрея сверху, с боков, из-под земли и сразу стих, слизнув собою заливший улицу звон.

В тот же момент кто-то подбежал к Андрею и взял его за руку. Он обернулся. Желтый, бессильный, мутный фонарь слепой мишенью смотрел ему в спину. Гвалт охрипших глоток прорезала горластая бабья брань:

— Ч-черт! Я ему звоню, а он — ч-черт, право!..

— Что же это вы? — произнес чей-то тихий голос.

Рука, за которую Андрея, как слепца, отвели на тротуар, осталась протянутой... Потом Андрей что-то понял и захотел кого-то поблагодарить и, как слепец, стал искать протянутой рукой опоры.

И его рука натолкнулась на чьи-то тонкие холодные пальцы. Он схватил их и притянул к себе.

— Благодарю вас,— сказал он.

Испуганный, дрожащий крик хлестнул его по лицу:

— Андрей!

Он сожмурился, как от удара, вглядываясь в черные круглые глаза, стоявшие перед ним.

— Андрей, это ты, Андрей?

Он бросился к женщине, охватил ее голову — холодную, залепленную мокрыми волосами, отыскал губы, прижал их к своим, затих.

— Рита,— проговорил он невнятно,— как ты очутилась здесь?

— Приехала, ищу тебя...

— Пойдем, тут народ,— сказал он, уводя ее в боковую улицу.

И сразу улицы стали отчетливы и все приобрело жесткую ясность.

— Какая бессмыслица,— сказал Андрей.

Рита перебила его торопливо:

— Что с тобой, ты как безумный стоял на дороге, я насилу узнала тебя. Ты нездоров, Андрей?

— Погоди, ты говоришь, что приехала ко мне?

— Да, Андрей. Я не могла больше.

— Ну конечно, не могла, истосковалась!

— Андрей!

— Что Андрей? Какая чушь, какая бессмыслица!

А если я сегодня уеду на фронт? И потом, ты ведь знала, что я уехал на фронт? Что я на фронте? Как ты могла... Нет, это черт...

— Андрей...

— Ах, брось! На что ты рассчитывала? Откуда ты взяла, что я живу здесь? Что ты будешь делать?

— Я знала, что ты служишь здесь. Ведь прошло два месяца. Я думала...

— А ты думала, что я получаю семьдесят два золотника хлеба в сутки? Думала, что свалишься где-нибудь под забором? Наконец — может быть, я убит? То есть ты думала, что я мог быть убит? Ну, не убит, так мог сто раз умереть с голоду?

— Послушай...

— Ну куда ты сейчас пойдешь?

— К тебе.

Он остановился, взмахнул руками и хотел крикнуть, но Рита опередила его крик тихим, каким-то падающим стоном:

— Мне больше некуда, Андрей!..

Он выдохнул из себя набранный для крика воздух и посмотрел на нее. Глаза ее были влажны, и веки охватывали их омертвелыми синими кольцами. Обветренные губы подергивались, как будто силясь выговорить какое-то слово.

— Конечно, некуда больше,— пробормотал Андрей, отвертываясь от Риты и продолжая стоять.

— Я хотела тебе сказать...— услышал он тот же стонущий, куда-то падающий голос.

Он вздрогнул, тут же поежился, запрятал пальцы в рукава шинели и произнес слово, которое всегда приободряло:

— Ерунда!

— Я хотела сказать, почему я приехала.

Он не шелохнулся.

Тогда Рита прислонилась к его руке и шепотом, быстро проговорила:

— Я должна была приехать. Я беременна.

Андрей отскочил в сторону, прижался к мокрой стене. Ладонями он поглаживал скользкий камень, ноги его согнулись в коленях, и полы сырой, тяжелой шинели дрожали. Он долго молчал, уставившись ввалившимися глазами в какую-то точку над головой Риты. Потом чуть слышно прошептал:

— Как же ты...
— Я не виновата, Андрей...
— Нет, нет! — воскликнул он, отрываясь от стены.— Как глупо! И вообще...
— Андрей!
— Нет, нет! Я говорю, почему же ты ничего не сказала? То есть почему ты не сказала сразу, как только я спросил?
— Ведь ты не спрашивал,— проговорила она дрогнувшим голосом.
Он засмеялся обрывисто, необычно, подхватил ее за руку и повел быстро, почти бегом.
— Что же мы стоим? Что же мы стояли? Какая ты чудачка! Надо было...
— Ну, Андрей, откуда я могла знать, что ты...
— Что я — что? Что я?
Она заглянула ему в глаза снизу вверх, выгнув голову как-то по-птичьи, и молча улыбнулась.
Они шли безлюдными улицами, крепко прижавшись друг к другу, и он пристально рассматривал дорогу, обходя вывороченные камни и поблескивающие меркло лужи.
Потом он тихо спросил:
— Тебе не холодно, Рита?

КЛУБОК

На лестнице ранним утром Андрей столкнулся с профессором. Он узнал его по росту и по движеньям головы — коротким, вздрагивающим и частым. И лицо его — это можно было разглядеть на площадке, где утренний свет успел уплотниться,— лицо его тоже подергивалось, изрезанное на кубики перекрестными глубокими чертами. Он потряс Андрею руку и изумился:
— Какие чудеса! Знаете, прямо не верится. Будто не живешь, а обретаешься в книге, в замечательной какой-то книге. День за днем, страница за страницей — от чуда к чуду.
Андрей слушал, глядя в окно. Обернуться и смотреть в моргающие, блесткие, как фольга, глаза этого маленького человека, который непрерывно сжимался и разжимался, точно пружинка,— не хватало силы.

— Исключительное время! — воскликнул профессор и пододвинулся к Андрею. — Скажите,— заговорил он вкрадчиво,— вы, вот вы, молодой человек, уверены? А, уверены! Так, про себя, когда разговариваете сами с собой, наедине, уверены?

Он не дождался ответа и опять горячо и торопливо воскликнул:

— Никакого сомненья, у меня — никакого сомненья! Я ничего подобного не переживал до сих пор. Что-то чудесное! И не знаю почему. Меня прямо что-то носит по земле.

— Я знаю это чувство,— глухо сказал Андрей.

— Вы непременно должны знать! Еще лучше меня! Если бы я был на вашем месте! Понимаете, я целую неделю ходил вокруг Смольного. Ходил и смотрел, только смотрел, больше ничего...

Профессор помолчал, потом засмеялся:

— Как гимназист на свиданье — каждый день в определенный час. И — поверите ли? — хожу, смотрю на дом и чуть не задыхаюсь.

— А на вас не нападает усталость? — вяло спросил Андрей.

Профессор притих.

— Как вам сказать... конечно. Я не очень здоровый человек. Хотя теперь и здоровому человеку...

Он украдкой, точно виновато, покосился на Андрея.

— Я слышал, что к вам приехала...

И вдруг он весь зашевелился — от маленьких коротких ног до мельчайших желвачков и кубиков лица.

— Я давно хотел повидать вас, чтобы... Видите ли, мне привезли из деревни муки... знакомые, я там раньше...

— Нет, зачем же,— проговорил Андрей, насупившись.

— Я предполагал, что вам теперь очень тяжело, с приездом жены...

— Жены? — переспросил Андрей и потом ответил сам себе: — Ну да, Риты... Нет, зачем же, вам самому...

Профессор прикоснулся к его руке шероховатыми кончиками пальцев.

— Даю вам слово, что вы не обидите меня. У меня много. Я занесу вам. Занесу, хорошо?

Он бросился по лестнице наверх и, перегибаясь через перила, выкрикивал беспокойно:

— Занесу, занесу!.. Нечего деликатничать... Занесу!

Рита куталась в платок, забравшись с ногами на кушетку и напролет просиживая хмурые вечера. Надо было беречь тепло, скопленное под платком, и она не двигалась часами.

Ее не было слышно, но лицо ее — белое, с потрескавшимися, сухими губами, с тлеющим неподвижным взглядом — виднелось отовсюду, из каждого угла, как будто комнату заставили мутными зеркалами, не отражающими ничего, кроме этого лица.

Она не поворачивалась, но видела Андрея так подробно, точно держала в руках его голову. И Андрей, сидя к ней спиной, видел тончайшие черточки ее лица, и складки платка, и колени, упиравшиеся в подбородок, и рассыпанные по платку волосы.

Они ждали ребенка.

Он должен появиться не скоро, в каком-то неясном далеком будущем. Должен был появиться, всосав в себя последнюю кровинку матери и поглотив последнюю капельку ее жира.

Жир когда-то развозили в бочках, затянутых толстыми обручами; жир когда-то валялся невзвешенными, немереными комьями на прилавках, покоробленных его тяжестью; жиром когда-то были завалены, забиты, закупорены погреба и подвалы; жир когда-то не жрали базарные псы, потерявшие на него чутье,— да, да, этот самый жир.

Чтобы получить невесомый кусочек его, надо было ждать семь бесконечных дней. Чтобы скопить одну каплю его, надо было беречь тепло, беречь ничтожные силы одряблевших мышц, запрятавшись в платок, как в гаюшку. Одну каплю, нужную для ребенка, который неотвратимо должен был появиться в неясном будущем,— появиться уродом, с мягкими, гнущимися костями, без ногтей на руках и ногах.

Ради этого урода, ради неощутимой, невидимой ткани, выраставшей в урода, Рита сидела неподвижно, сжавшись в комочек, и Андрей боялся нарушить тишину, чтобы не рассеять скопленного Ритой тепла.

Но тишину нарушил Сергей Львович.

Он влетел в комнату, скрестил руки и угрожающе процедил:

— Тэ-эк-с, тэ-эк-с!

Пенсне его задрожало и поползло книзу. Он запрокинул голову.

— Тэ-экс! — повторил он, пристукивая подошвой по полу.— Вот как вы, Андрей Геннадьевич, отблагодарили меня за гостеприимство? Недурно. В порядке современных вещей. Вы думаете, по всему вероятию, что имеете дело с дураком? Ошибаетесь, ош-шибае-тесь!

— Что такое? — проговорил Андрей.

— Ах, вы не по-ни-ма-е-те! Вам невдомек? Скажите, какая невинность!

— Да говорите же, в чем дело! — крикнул Андрей, отпихивая от себя стул и выпрямляясь.

Тогда Сергей Львович шагнул к Андрею, решительно сунул руки в карманы и посыпал давно отмеренными словами:

— Вы очень хитры, молодой человек. Вы пользуетесь каждой минуткой, чтобы пополнять свой бюджет за мой счет. Стоит мне отвернуться, как у меня что-нибудь пропало. Вы не изволите гнушаться ничем, как старая кухарка. Вы...

— Что же ты молчишь? — вскрикнула Рита.

— А что же ему говорить? Что ему говорить, когда вот только что, вот четверть часа назад, пока я сбегал в лавку, у меня восьми золотников масла как не бывало! Я не успел запереть, торопился в лавку, оставил на столе, в полоскательнице, в соленой воде, так — кусок с полфунта. Сверху я его крестиками пометил, это я всегда. Пришел, смотрю — крестики целы, а масла как будто убыло. Я на весы. Восьми золотников не хватает. Хитро-с, хитро, молодой человек! Да только я хитрей вас. Вы изволили ножичком снизу срезать этакий ломтик. Плавает, мол, кусок и плавает, кто разберет, что у него внизу, если наверху все в порядке.

— Андрей! — простонала Рита.

— Это в благодарность за то, что я вас, можно сказать, на улице подобрал? Это в благодарность за то, что, так сказать, ваша супруга...

Андрей качнулся, точно его столкнули с места, подошел к Сергею Львовичу, взял его за плечи, повернул и вывел из комнаты. Сергей Львович не только не оказал сопротивления, но даже как-то очень поторопился, забыв закрыть рот, и в дверях повернулся бочком, чтобы легче пройти. Но за дверьми вдруг затопал и завизжал пронзительно:

— Во-он из моего дома, во-он!

Андрей закрыл дверь и посмотрел на Риту. И тут же

снова рванул дверь и сквозь визг, носившийся по коридору, сжав ладонями голову, побежал вон.

На лестнице ему в лицо плеснуло холодным сквозняком. Он остановился. Вернуться в комнату за шинелью и шапкой он не мог. Он поднялся этажом выше и постучал в квартиру профессора. Никто не отозвался. Он стал стучать сильнее, прислушиваясь, как стуки глохли в квартире и пропадали в тишине. Потом он начал неистово бить в дверь сапогами, и по пролету лестницы от чердака к подвалу зарокотал тяжелый гул.

Чей-то голос раздался позади него.

— Вы к профессору? — расслышал он и обернулся.

— Да, к нему.

— Не отвечает?

— Нет.

— Он в это время всегда дома.

— Да, я знаю.

— Ну-ка, постучите еще.

Андрей постучал. Прислушался. Было тихо.

Позади Андрея звякнула цепь, и в темноте появился высокий, слегка сгорбленный человек.

— Страннно, что-то давно не встречал его,— проговорил он и потрогал дверь.

— Может быть...— начал Андрей.

— Может быть, конечно, все может быть,— перебил высокий.— Пойдемте в комитет.

— Неужели вы думаете...— опять начал Андрей; и опять его перебил высокий:

— Думаю? Конечно, думаю... почему же не думать?

По темным лестницам, по узкому, отдававшему голоса двору, по подъездам, в которых свистел ветер, ходили двое, потом — трое, четверо, пятеро, медля и задерживаясь повсюду, словно боясь приступить к делу.

Потом долго стучали в квартиру профессора, прислушивались, снова стучали. Потом переспрашивали друг друга, когда видали профессора в последний раз, не мог ли он куда-нибудь уйти, или уехать, или где-нибудь заночевать.

Наконец туповатый, с обитым лезвием топор въелся между створок двери, и она сухо, точно подпаленная, затрещала. И тогда все, как по сигналу, начали советовать вперебивку, как ловчее взломать дверь. Но как только замок подался и стало видно, что со следующим усилием дверь распахнется, опять все притихли.

Андрей вошел в квартиру вторым, следом за председателем комитета. Из комнаты в комнату переходили боязливо и молча. Чиркали спичками, отыскивали за косяками включатели, пробовали, есть ли свет. Снова зажигали спички, обходили пустые углы и шли дальше.

Из дальней в коридоре комнаты, когда приоткрыли дверь, выполз мягкий розовый свет.

— Так и есть,— сказал председатель и обернулся к Андрею,— мы не догадались посмотреть со двора на окна.

— Да они занавешены,— отозвался кто-то.

— Ну, скорей!

Председатель открыл дверь вытянутой рукой. Все осторожно скучились у входа.

Матовый свет настольной лампы ложился ровным кругом на книги, на пол, на кровать.

Профессор лежал на постели, закинув голову, острым крутым подбородком вверх. Весь он вытянулся в струнку, стал длинным, точно вырос с тех пор, как в последний раз был на людях. Морщины на лице его изгладились, желвачки и кубики, такие подвижные и очерченные при жизни, пропали: он помолодел. На ровном лбу его лежало спокойное пятно света.

Все тихо подошли к нему, внимательно осмотрели, потом разбрелись по комнате, не глядя друг на друга. И так как никто не говорил и нечего было сказать, Андрей произнес чуть слышно:

— Мыши-то что наделали...

Тогда все повернули головы и стали живо рассматривать мучной мешок, прислоненный к книжному шкафу. Он был прогрызен со всех сторон, раздерганные лоскуты холста свисали на пол, и по паркету к плинтусам тянулись узенькие белые следы.

— Это надо прибрать,— сказал председатель, и сразу трое бросились к мешку и потащили его вон.

В течение года, может быть двух, происходили столкновения, ссоры, драки, случилось даже убийство, хотя никто из виновников не хотел принять греха на себя. Наконец до сознания этих людей дошло, что они живут в новую эпоху и мир с сего числа отвергает все прошлое и пережитое. Решено было учредить артель на началах профессиональной солидарности. Правда, эта артель была обречена на негласное существование: о ее истинных целях нельзя было обмолвиться даже при кладбищенском

настоятеле. Но тем прочнее и строже оказался ее неписаный устав.

Кладбище было разбито на семь участков, и каждый участок отдан в ведение двум могильщикам. Тут нужно сказать несколько слов о самом кладбище, как ни мало благодарно его описание. Кладбище простиралось по широкой равнине, за разбросанным унылым пригородом и в старой своей части заросло тополями. Церковь чуть проглядывала сквозь густую наветь деревьев. Новые участки были пустынны, если можно назвать пустынной необозримую слободу могильных холмов. Вокруг церкви кучились старинные мавзолеи, часовни, тяжелые надгробные плиты.

Но дело не в мавзолеях и не в пышных памятниках. Этот участок, когда-то самый доходный, в последнее время захирел, как деревенский погост, и за два года принял всего одно свежее тело, да и то бездоходное,— тело кладбищенского отца дьякона, умершего от тоски.

Памятников давно уже не ставили и склепов с часовнями не сооружали. Но кресты еще не вывелись из обихода, и кресты, именно кресты, помогли могильщикам осознать свою природу и учредить артель для планомерной охраны своих интересов в переходную эпоху.

Кресты, что, впрочем, общеизвестно, бывают чугунные, железные и большей частью деревянные. Чугунные непригодны для чего-нибудь практического. Это, в сущности, хлам, вроде каменных надгробий, памятников и часовен. К счастью, чугун отошел в предание вместе с классными, или классовыми, похоронами, и резервы крестов пополнялись в эти годы только железом и деревом. Кованые железные кресты из крутых завитушек, вроде церковных решеток, ничем не практичнее чугунных. Зато полые кресты из листового железа, раскрашенные обычно под березу, легко применимы в хозяйстве. Из них, без особой подготовки, каждый может сделать дымоходное коленце для железной печки, или самоварную трубу, или удобный водосток. Таких крестов было довольно много на просторе отдаленных от тополей участков, и при разумной эксплуатации запаса их могло бы хватить на долгое время.

Трудность распределения участков между членами артели состояла в том, что не во всякой части кладбища находилось одинаковое число деревянных крестов. Артели пришлось поэтому проделать большую предваритель-

ную работу на инвентаризации имущества, оставшегося после старого режима. Но в процессе этой работы обнаружились новые трудности, потому что, в отличие от прочих областей общественности, в области кладбищенского дела старый режим прогнил, так сказать, не насквозь, а только частью, хотя гнилых крестов и обнаружилось при подсчете больше, чем сохранившихся. Однако раз пробудившаяся сознательность помогла артельщикам прийти к мудрому решению: два гнилых креста были приравнены одному негнилому твердой породы — из расчета, что одно крепкое полено дает столько тепла, сколько два трухлявых.

Когда таким образом основы объединения были найдены, могильщики предложили кладбищенскому ктитору возложить на них охрану стихийно расхищаемых крестов.

Ктитор согласился. После того опустошение кладбища совершалось уже планомерно, и среди могильщиков воцарилась философическая созерцательность, издавна подмеченная в этой профессии и вполне свойственная ей одной.

Два дня спустя после того, как была обнаружена смерть профессора, на кладбище пришел молодой обтрепанный студент и справился в конторе, как ускорить погребение давно умершего человека. В конторе стали говорить о порядке получения ордеров на гробы, на могилы, о регистрациях, записях, очередях. Кончилось тем, что студента послали на кладбище искать могильщиков. Он встретил одного из них и рассказал ему о своем деле. Могильщик назначил цену, которая привела студента в ужас.

— А кто покойник? — спросил могильщик.

— Ученый,— ответил студент.

— Стало быть, с голоду?

— Нет, не с голоду.

— Если не с голоду, тогда должно быть чем заплатить.

— В том-то и дело, что нечем. Было бы — я бы не торговался.

— Дешевле нельзя. Не можете — тогда в очередь, через недельку-полторы...

— Таких денег нет,— сказал студент.

— Мы не добровольцы, у нас по таксе... Воля ваша.

— Нет, таких денег мы заплатить не можем,— решительно повторил студент.

Могильщик подумал и спросил:

— А хоронить будете по-православному иль по-гражданскому?

— По-граждански.

— Тогда дороже.

— Это почему же?

— Как сказать... От православного какой-никакой доход: глядишь, за крестиком накажут посмотреть, чтобы не слямзили... Да разве усмотришь? В дровишках-то нужда... А по-гражданскому — что от него проку? Закопают, да и ладно. Намедни схоронили летчика, на могилу дубовый винт поставили, от машины. Что с него возьмешь, с винта? Его не уколупнешь, он как железный. За такие деньги, что вы даете, по-гражданскому нет расчета.

— Как же нам быть?

— За такие деньги могилу вырыть — еще куда ни шло. А хоронить — как вам угодно.

На том и было решено: яму выроют могильщики, а опустят и закопают покойника провожатые.

Отдать последний долг профессору явилось четверо студентов, худощавый рыжебородый человек, похожий на учителя, и университетский швейцар.

Мороз в этот день надломился, и серый мелкий дождик порошил, как сквозь сито. Кучка людей, жавшихся от холода, с мокрым, обвисшим красным знаменем, дожидалась гроба под воротами. Гроб вынесли жильцы дома, поставили на телегу и, перекрестившись, велели трогать. За телегой пошли студенты со знаменем, худощавый человек, похожий на учителя, швейцар, Андрей и председатель домового комитета. И так как было тяжело нести мокрое знамя, его положили на гроб, и от тряски оно плотно облегло крышку, прилипнув, как обивка.

Когда засыпа́ли могилу, Андрей стоял в стороне, глядя поверх бесчисленных насыпей с редкими крестами. Он слушал, как падали в яму размытые дождем комья грязи, как звуки падения становились короче и резче, приближаясь к поверхности земли. И ему казалось, что профессор, так нечаянно появившийся в его жизни, унес из нее какую-то последнюю возможность сказать о самом важном. Что это было — самое важное, Андрей едва ли знал. Но у него было такое чувство, будто чья-то жестокая рука держала его за горло, и он понимал, что она не отпустит его, пока он не выскажет самого важного.

Он покинул кладбище после всех, сутулый, тупой, пронизанный сумеречным туманом. Он не шел, а тащился, почти полз по безлюдным, нескончаемым улицам пригородов. Он был похож на больного, которого выкинули из лазарета, едва он успел переломить болезнь.

Дома ему отворила дверь Рита.

— Тебя ждет какой-то солдат.

— Солдат?

— Да. Он не назвал себя, говорит, что ты знаешь его...

— Странно,— безразлично протянул Андрей и пошел в комнату, все так же, как на улице, изнуренно и тупо волоча повисшее свое тело.

У железной печки, лицом к огню, грелся солдат. Шинель его висела на стуле, около печки. Он сидел на корточках и потирал руки. Когда скрипнула дверь, он поднял голову, огонь перебежал с его лба на полуоткрытый рот, обведенный тонким кругом чуть заметных морщин, и губы его покривились в какое-то подобие улыбки.

— Вот и вы,— сказал он и поднялся с полу.

Андрей разглядел гостя только тогда, когда огонь заиграл на его губах. Он ухватился за косяк. В нем почти мгновенно исчезла вся мягкость. Из расслабленного и сгорбленного человека он превратился в одеревенелого, прямого, как столб, истукана. Рита, входя следом за ним и закрывая дверь, отстранила его, он сделал всего один шаг и опять застыл.

— Здравствуйте,— проговорил солдат, подходя к Андрею.

Руки Андрея дернулись назад, как будто он хотел заложить их за спину, потом он бросил взгляд на Риту и быстро пожал гостю протянутую спокойную руку. Солдат тоже взглянул на Риту и поклонился в ее сторону:

— Не имею чести знать имени... вашей... а-а... Она была любезна. Вот видите, я сушусь... Я думаю, не лучше ли нам...

И он ровно произнес по-немецки:

— Нам будет удобнее не говорить по-русски.

Точно от этих непривычных, нарубленных слов чужого языка Андрей всколыхнулся и быстро спросил:

— Как вы нашли меня?

— Увидел на улице. Я отличу вас среди батальона солдат. Потом проследил.

— Почему вы не уехали до сих пор?

— Это длинная история.

— Что вам нужно от меня? Зачем вы пришли?

Андрей выталкивал из себя вопросы с таким напряжением, как будто силился придушить ими отчаянный крик.

— Я мог рассчитывать на более радушный прием,— ответил гость и скользнул сощуренными глазами по лицу Андрея.— Разденьтесь, вы мокрый,— прибавил он снисхо-

дительно и пожал плечами.— Как вы взволнованны! Я смотрю на вещи спокойней. Раз навсегда я сказал себе, что каждую минуту я могу умереть. Я готов к самому страшному — к смерти. Поэтому я всегда спокоен. Что может быть опаснее смерти?

— Вероятно — так, если ничего не любишь в жизни,— пробормотал Андрей, стягивая шинель.

Он повесил ее на спинку стула, пододвинул к печке, неторопливо, медлительно, следя за каждым своим движением, и сел.

— Как случилось, что вы не уехали?

Гость опустился рядом с ним.

— Я с большим трудом попал в Москву. На это ушло около месяца. Я пробирался одиночкой. В Москве я в первый раз решил воспользоваться своим новым именем. Оно оказалось не совсем удобным. Я не хочу сказать ничего дурного о его прежнем владельце, но имя кто-то скомпрометировал раньше меня. Признаться,— ухмыльнулся гость, поглаживая Андрея смеющимся взглядом,— признаться, я подумал одно время о вас...

— Узнали? — шепотом спросил Андрей.

— Узнали,— сказал гость.

Андрей вскочил, кинулся к Рите и в страшном испуге забормотал:

— Узнали, боже мой! Рита, узнали! Рита, пойми, узнали...

Рита сидела на кровати, как всегда — в платке, уткнувшись подбородком в колени.

— Андрей,— проговорила она, дернувшись к нему и высвобождая руки из-под платка,— я не понимаю, о чем вы? Прошу тебя...

— Ах, ты не должна понимать,— простонал он, снова бросаясь к своему стулу,— ничего не должна понимать! Неужели узнали?

Гость помолчал немного, потом, как будто нарочно медля, с расстановкой и паузами произнес:

— Однако ненадолго хватило вашей выдержки. Вы на моем месте давно попались бы. Я, как видите, уцелел.

Андрей схватил его за рукав:

— Да говорите же, черт вас возьми, говорите! Узнали?

— Вот так-то лучше,— сказал гость, и его рот опять передернуло подобие улыбки.

— Узнали,— сказал он брезгливо.— Но я не могу с уверенностью сказать, что́ именно они узнали. Наверное, им

стало известно, что я выдаю себя за другого. Но кто я в действительности — они могут только предполагать. Относительно вас...

— Боже мой! — опять простонал Андрей.

— Относительно вас я ничего не могу сказать. Одно время я думал, что именно вы скомпрометировали мое новое имя. Но потом решил, что это было бы рискованно для вас.

— Рискованно?

Гость пристально посмотрел на Андрея.

— Да. Даже если бы вы пожелали выдать меня, чтобы тем самым несколько упростить свое положение. Потом я вспомнил, что вы русский. Выдавать и предавать — не в духе русских, насколько я изучил их.

— У меня нет охоты философствовать на национальные темы. Я хочу, чтобы вы сказали, что вы думаете... как по-вашему... что́ известно...

— Ха-ха! Как хорошо вы начали и как путано кончаете! Вы хотите знать, стала ли известна роль, которую вы сыграли...

— Ну да, да! Роль, которую я... не все ли равно? — перебил Андрей.— Говорите!

— Судя по тому, что вы спокойно гуляете в таком большом городе, вас ни в чем не подозревают. Вообще мне кажется, что дело обошлось благополучно. Я почти уверен в этом. Во всяком случае, здесь меня беспрепятственно включили в эшелон.

— Что? Вы были... Вы назвали себя? — вскрикнул Андрей и схватил за плечи своего собеседника.

— То есть не себя...

— Конрада Штейна?

— Успокойтесь, милый мой друг. С этой стороны не грозит никакая опасность. Конрада Штейна больше нет.

— Нет? — отшатнулся Андрей.

— Конрад Штейн умер.

— Я ничего не понимаю!

— Ну, слушайте. В Москве могло все обнаружиться. Я вовремя убежал. Я попал в Клин, оттуда — в Тверь. Там я работал поденно. У меня был товарищ — славный парень, берлинец. Мы ночевали то тут, то там, у нас не было постоянного угла. Где получали работу, там и жили. Нас нигде не знали как следует. Так что, когда умер этот берлинец, все вышло само собой. Я взял его бумаги, а ему сунул свои.

Андрей сидел молча, как будто не слушая.

Гость заглянул ему в глаза и, точно спохватившись, проговорил:

— Нет, вовсе не то! За кого вы меня считаете? Я забыл сказать, что этот берлинец заболел тифом. Я ухаживал за ним недели полторы. Славный парень.

Андрей поднялся.

— Значит, дело о Конраде Штейне прекращено за его смертью?

— Вероятно.

— Значит, мы квиты?

Гость быстро вскочил, сжался, медленно расставил отточенные холодные слова:

— Нет, мы еще не квиты, товарищ Старцов.

— Что вам надо от меня? — опять вскрикнул Андрей.

Гость покачал головой, расправил лицо ласково-насмешливой улыбкой и, подойдя к Андрею, взял его за локоть.

— Милый мой друг, я говорю так, потому что чувствую себя обязанным. Вы сделали все, что может сделать доброе сердце. Но мы еще не квиты. Я обещал доставить от вас письмо вашей невесте. Я считаю это своим долгом. Я даже запомнил ее имя: фрейлейн Мари Урбах, из Бишофсберга, не правда ли? Что же вы молчите? Кажется, я не ошибся? Фрейлейн Мари Урбах, не правда ли?

Андрей закрыл лицо руками.

— Но, видите ли, я затерял ваше письмо. То есть не затерял, а сунул его этому покойному берлинцу вместе с бумагами Конрада Штейна...

— Вы с ума сошли! — почти задыхаясь, прохрипел Андрей.— Ведь если с бумагами Конрада Штейна найдут мое письмо...

— Ну что вы, кому придет в голову связать ваше имя с Конрадом Штейном?

— Не издевайтесь! Вы не смеете издеваться надо мной!

— Я говорю, что думаю.

— Бумаги непременно направят в Семидол, Курту! Ведь Курт поймет все сразу!

— Об этом я не подумал, признаться...

— Послушайте, вы... черт... Послушайте! Найдите себе кого-нибудь еще для шуток! Не забывайте, что вы в моих руках...

Гость повел оттопыренным пальцем перед глазами Андрея.

— Но и вам я не советую забывать, что вы в моих руках. Да... Однако что за раздор,— снова расплылся он,— разве вы не чувствуете, что я благодарен вам безмерно и готов чем угодно отплатить?

— Как вы могли не подумать, что...

— Я пошутил, милый мой друг; поверьте, пошутил Я сунул покойнику только бумаги Штейна. Больше ничего

— Письмо осталось у вас? Давайте его, давайте!

— Нет. Письмо я разорвал, чтобы случайно как-нибудь не повредить вам.

— Ах, я не верю, не верю ни одному слову!

Андрей забегал из угла в угол, охватив руками голову и раскачивая ею, как от боли. Гость следил за ним прищуренными глазами и говорил медленно, точно насаживал слова, как наживку на крючки.

— Что вы волнуетесь, милый мой друг? Неужели трудно написать еще одно письмо? Это вам лишний раз доставит удовольствие побеседовать с любимой женщиной. Даю вам слово, что, как только вернусь на родину, я разыщу фрейлейн... Мари Урбах — так, кажется? — вручу ей письмо и расскажу все, что знаю о вас.

— Вы знаете Мари? — спросил Андрей, вдруг перестав бегать.

Гость замолчал и посмотрел на Андрея в упор.

— Нет.

— Не говорите ей ничего обо мне,— сказал Андрей, становясь лицом к лицу с гостем.

— Вы же сами просили меня.

— А теперь я прошу, чтобы вы не делали этого. Не разыскивайте Мари. Не надо.

Гость опять помолчал, потом хлопнул Андрея по плечу, кивнул на Риту и засмеялся.

— Мы совсем забыли даму. Я понимаю вас отлично. Но вы напрасно беспокоитесь: фрейлейн Урбах ничего не узнает об этом.

И он еще раз кивнул на Риту.

— Будем говорить о деле,— сказал Андрей, заслоняя собой Риту.— Зачем вы пришли ко мне?

— Будем говорить о деле,— в тон Андрею отозвался гость.— Я пришел к вам переночевать. Завтра меня отправляют с эшелоном. Я избегаю бывать там, где много людей.

— Хорошо. Дайте мне слово, что вы оставите меня навсегда в покое.

— Даю.

Андрей широкими шагами вышел из комнаты.

— Сергей Львович,— сказал он, войдя к хозяину,— у меня должен переночевать один товарищ. Это необходимо. Я положу его в соседней комнате, на диване.

Сергей Львович всплеснул руками.

— Постойте,— настойчиво продолжал Андрей,— никаких возражений. Он должен остаться. Иначе будет плохо. Слышите? И — молчок. Никому ни звука. Благодарю вас.

Он повернулся и ушел, не заметив, как Сергей Львович осыпал себя частыми, испуганными крестиками.

Андрей отвел гостя в соседнюю комнату, показал ему диван, прикрыл дверь и вернулся к себе.

Там он постоял несколько секунд неподвижно, провел рукою по голове, потер лоб, щеки, шею. Потом сжал кулаки и проговорил самому себе:

— Он знает ее, знает, знает!

Качнулся, подошел к кровати, положил голову на колени к Рите. Потом закрыл глаза.

Рита обняла его голову, наклонилась над ним. На его губы упала горячая капля. Он тихо спросил, не двинув веками:

— Ты о чем? — и облизал соленые губы.— Если бы можно было начать жить сначала... Раскатать клубок, дойти по нитке до проклятого часа и поступить по-другому. Совсем по-другому...

Рита всхлипнула громко и прикоснулась щекой к его лбу.

— Милый, милый...

— О чем ты? — опять спросил он.

— Кто этот человек, скажи? О чем вы говорили?

Он долго не отвечал.

Было тихо, какие-то далекие гулы слышались за окном. Медленно, неохотно угасал электрический свет.

Андрей повернул голову, уткнулся лицом в колени Риты и — в колени, в платье, в душную теплоту ног — проговорил:

— Этого я никому не могу сказать. Никому.

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТЫРНАДЦАТОМ

ЦЕНТРИФУГА АМУРА

— Belegte Brötchen!
— Warme Würstchen!
— Bier, Bier, Bier, gefälligst!
— S-s-simplicissimus, Berliner 'ageblatt, Lustige Blätter!
— Woche, Woche, Woche!
— Bier, Bier, Bier!
— Belegte Brötchen, warme Würstchen!
— Zigarren, Zigarren, Zigaretten!
— Kladderadatsch, Kladderadatsch!
— *Einsteigen!*[1]

Сигарный дым голубыми простынями колышется под потолком и мягко пеленает жужжащие голоса. Объемистые животы, потные лысины, белые юбки, крепкие оголенные локти, большие круглые груди под кружевцами и прошивками плавно качаются на сиденьях.

За окнами медленно проплывает дородное, умытое, благословенное солнцем отечество.

В Эрлангене пышный, жужжащий, разряженный поезд вылился на вокзал и потек вниз по узкой улице в конец города.

Андрей с Куртом отделились от толпы, вошли в университетский сад.

Здесь было тихо, теплые тени лежали на дорожках, ясени и дубы заслоняли небо. На стволах желтели полированные дощечки с латинскими надписями, такие же дощечки торчали на жердочках, воткнутых в клумбы. Пахло упитанной, сытой землей и — откуда-то — свежей масляной краской.

[1] Выкрики продавцов на вокзальном перроне: — Бутерброды! — Горячие сосиски! — Пиво, сигары, папиросы!.. Названия журналов, газет и т. д. Последний выкрик — приглашение кондуктора: — Войти в вагоны!

— Есть ли у вас это чувство,— спросил Курт,— покойное, миротворящее — чувство родного? Мы довольствуемся пустяками, потому что это наши пустяки. Уверяю тебя, я счастлив, что приехал сюда. Глупый милый праздник, глупая, милая привычка. Еще раз смотрю вот на этот ясень — какой он старый, рыхлый, ноздреватый. Грибы на нем в прошлом году были мне по пояс. Теперь, видишь, они поползли выше... А вот ворота анатомического театра. Пойдем, я покажу тебе музей.

Из двери, выходившей в сад, по земле стлался холодноватый, сладкий запах йодоформа. В комнате, куда они вошли, вдвинутый в нишу сырой стены, стоял оцинкованный большой сундук. Крышка его была чуть приподнята.

Курт открыл ее. В сундуке валялись человеческие ноги и руки с содранной кожей, куски посиневших мышц, белые кости с раздерганными, как мочало, сухожилиями, багровые, черные, сизые внутренности — кишки, печень, легкие. В уголке сундука, освещенные дневным светом, проникшим через дверь из сада, прижались друг к другу две головы. Затылок одной был оскальпирован, и мелкой кровавой пилкой бежали по голове черепные швы. Шея другой головы — безволосой и хорошо сложенной — была обнята, точно галстуком, пухлой, синей детской ручонкой. Тут и там желтели горки какого-то порошка.

— Пойдем,— сказал Андрей.

Курт молча смотрел в сундук.

— Пойдем, здесь задохнешься.

Курт опустил крышку и, улыбнувшись, тихо взял Андрея под руку.

Они прошли просторной, светлой комнатой, уставленной высокими узкими столами, крытыми стеклом. Столы были чисто вымыты, пол блестел, от двери к двери гулял холодноватый, попахивавший камфарой сквознячок. Полумрак сводчатого коридора вел к широкой лестнице. На площадке, подле столика, сидел сторож. Он снял фуражку, спросил:

— Господа желают осмотреть музей?

Потом двинулся вперед.

Один за другим тянулись стеклянные шкафы. В шкафах на стеклянных полках строились по высоте и диаметру стеклянные банки с заспиртованными препаратами человеческих органов. Стекло, спирт и синие, сизые, красные куски, нити, волокна, комки человеческого тела — все, что наполняло просторные, высокие залы.

Солнце безудержно лилось в чистые окна, и по стенам, потолку, полу, на платьях, руках и лицах людей дрожали горячие многоцветные спектры, преломленные шкафами, полками, банками и спиртом.

Вдруг сторож остановился, отставил одну ногу, заткнул большой палец правой руки за борт мундира и открыл неторопливо рот:

— Отделение эмбриологическое. Первое во всем мире по числу препаратов.

Здесь, в баночках, едва отличимых друг от друга по величине, плавали желтоватые комочки зародышей — целый сонм нерожденных душ. Потом тянулись сомкнутые ряды головастых человечков с прижатыми к животам тонкими ножонками и перепончатыми пальцами рук. В конце — в банках вместимостью в ведро — глядели себе на коленки дети, похожие на тех, каких видят у своих постелей очнувшиеся после родов матери. Дальше, в другом зале, мутнели на солнце куски мозга, и за ними, под особым стеклянным футляром, осела на дно широкой банки человеческая голова.

Она была низколоба, и через весь лоб ее шли стежки небрежного шва. Карие глаза были открыты, зрачки расширены и устремлены в какую-то цель, стоявшую, наверно, прямо перед ними. Над верхней губой и на щеках торчали в разные стороны короткие, толстые темные волосы,— они были бриты не раньше, как за неделю до смерти. И все лицо, обрубленный кусок шеи и уши были густо-сини. Под футляром стояла дощечка:

ГОЛОВА ЗНАМЕНИТОГО УБИЙЦЫ
КАРЛА ЭБЕРСОКСА
(ПОСЛЕДНЯЯ ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ
В НЮРНБЕРГЕ)

— Мой отец присутствовал при этой казни,— начал сторож, отставив одну ногу,— и если господа желают...

— Послушай,— вдруг проговорил Андрей,— на кой черт, собственно, мы все это смотрим?

Курт вскинул голову.

— Это знаменитый музей.

— Я приехал сюда на карусели, а не к покойникам.

— Мы успеем и на карусели. Но этот музей...

— К черту музей, к черту Карла Эберсокса, я хочу на воздух, на солнце!

В Эрлангене много воздуху.

Вдыхать его, сидя на балконе с трубкой в зубах и за чашкой кофе,— наслажденье, каким может похвастаться только маленький городок.

За полдень, когда ясно обозначится покойная теневая сторона главной улицы и когда в каждом окне повиснут коврики, подушки и перины, на эрлангенских балконах в покатых креслах полулежат студенты.

Из университетского сада плывут легкие ароматы цветущих деревьев, снизу, от шумливой, верткой речонки тянет холодком и влагой. Небо поднялось бесконечно высоко, и городку легко, приятно и удобно. Дороги и тротуары безлюдны.

— Ге-ге! — несется с балкона звонкий голос.— Ге-ге! Эрих! Как поживаешь после вчерашнего казино?

— Не смейся, малыш: за ночь моя талия увеличилась на пять сантиметров...

— Ха-ха!

И вот с балкона на балкон из одного конца улицы в другой:

— Ге-ге, коллега! Что вы там ржете?

— С Эрихом хирургический случай: у него растяжение талии!

— Ха-ха!

— Корпорация Альфа против радикального вмешательства. Попробуйте бужирование.

— А что вы пропишете против легкой хрипоты?

В узких переулках от дома к дому:

— На главной улице ищут подержанные брюки: пояс — полтораста сантиметров.

— Ха-ха!

За балконами, в невысоких комнатах с занавесочками и ковриками, старательные хозяйки начищают сапожным кремом башмаки своих жильцов. В университетских лабораториях и кабинетах сторожа неторопливо полощут пробирки, реторты и колбы. В просторном зале прибирают и устанавливают в штативах рапиры, сабли, шпаги и эспадроны.

— Ге-ге, Отто! Что ты скажешь о нашем Эрихе?..

К речонке, вниз по главной улице, все еще шествовали разряженные, кружевные, декольтированные гости. Но

шума не было, и струйки табачного дыма на балконах тихо взбирались по гладким стенам.

— Как мирно, как бесконечно мирно,— проговорил Курт.

Он шел с непокрытой головой, медленно, любовно оглядывая каждый уголок, точно отыскивал что-то давно утраченное и родное. Андрей молчал.

Ни одна прогулка из тех, что совершили наши друзья за годы, которые предстояли им, не была столь добровольна и бесцельна, как путешествие в Эрланген. Вот почему мы не торопимся забегать вперед и радостно идем шаг за шагом по улице, в конец города, через мост, и дальше — в гору, покрытую частой рощею. Кто знает, может быть, эта прогулка — последний отдых, полней которого — одна смерть?

Гора, увязанная — как голова платком — липовой, березовой, кленовой чащей, кружилась в живой воронке звуков. Звуки толклись на месте, метались из стороны в сторону, извивались змеями вокруг деревьев, стлались под ногами. Здесь были все инструменты, придуманные Востоком и Западом, сделанные кустарем и фабрикой, автоматические, духовые, струнные и ударные. И они свистели, бубнили, гудели, трещали, пели, вопили все сразу и ни на минуту не переставая. Все оперетки и оперы, мазурки и вальсы, марши и галопы, сочиненные когда-нибудь на свете, не считая торжественных ораторий, печальных кантат, рапсодий, менуэтов, полонезов и песен,— все эти классы, виды и роды музыкальных сочинений, во всех тонах и всех темпах, известных животному миру и органным фабрикам,— все они с величайшим старанием и неправдоподобным фортиссимо пыжились заявить о себе здесь, на этой горе, покрытой, как платком, липовой, кленовой чащей.

И гора кружилась, кружилась.

На вершине ее, в длину аллей, кучились балаганы, будки, лавчонки, карусели, паноптикумы, панорамы, кино, гипнотические кабинеты, перекидные качели, тиры со стрельбою в цель, силомерные и спортивные залы, киоски с предсказателями судьбы и гроты с гадальщицами. Каждый человек на этом гулянье был вбит в толпу, как пыж в патрон, и непрекословно довольствовался тем, что мог вертеть головой во все стороны.

— Прекраснейшие дамы, почтеннейшие господа! Я призываю вас к нечеловеческому усилию: остановиться

передо мною всего на две минуты. Усилие должно быть сделано, чтобы задержать натиск тех баранов, которые стремятся занять ваши места. Вы не захотите уступить своего места баранам, почтенные господа! Одна минута внимания. Перед вами — подтяжки, скромный вид которых приводит в уныние простаков и деревенщину. Но мы знаем, что истинная добродетель всегда скромна. Смотрите, я тяну изо всех сил эти подтяжки, я рву их, я раздираю их зубами, как лев из гамбургского зоо, я вяжу из них узлы, я рублю их топором, вот — ак, аак, гак! — я подымаю на них гирю в двадцать пять кило! Смотрите — они становятся только эластичней, мягче и приятней, ничуть не изменяя своего цвета, своей прочности и привлекательности. Подождите, подождите! Я кладу их в воду, я намыливаю их, я тру их щеткой...

— Сюда, сюда, сударыня! Вот зонт, который призван защитить вашу бесподобную кожу от солнечного зноя. Попробуем полить его водой, попробуем вывернуть его наизнанку, попробуем сломать его ручку или проткнуть его пальцем — безуспешно! Из такого шелка Наполеон великий сшил платье своей второй жене — своей любимой жене, как это установила историческая наука. Если свернуть этот зонт умелой рукой, то он станет тонок, как швейная иголка, сквозь ушко которой верблюд вошел в царство небесное. Если бы его увидела ваша бабушка, не верблюдица, конечно...

— О-ля, о-ля! Вот люди, которые рады развесить уши перед всяким болтуном! Слава богу, вы защищены от солнца деревьями. Зачем вам расходоваться на зонты? Зато эрлангенский магистрат свалил в ваш разинутый рот всю пыль со своих улиц, и вам не мешает пополоскаться настоящим лимонадом со льдом и чистым сахаром...

— Дорогие мои, но имя цивилизации и добрых отношений союзных немецких монархий — только полминуты внимания! Цепочка из золота, изобретенная профессором...

— Давно ли дамы стали носить панталоны на подтяжках? Довольно слушать этого подтяжечника, черт побери мой послеобеденный отдых...

— Начинается, начинается!

— Вы увидите человека, всю жизнь питавшегося старыми кожаными подметками. Вам продемонстрируют...

— Пятьсот марок тому, кто докажет, что он щупал

своими руками лилипута меньше Понди-Ронди-Какса, ростом в девятнадцать сантиметров и весом...

Багроволицые, текущие потом и слюнями зазывалы пьют рюмку ликеру и опять вопят хрипучими глотками, накачивая жилы на лбах и шеях синей тяжелой кровью:

— На-чи-нается!

— На-чи-на-а-ается!

Крики попугаев, рев уличных ослов, граммофоны, орга́ны, шарманки, оркестры, оркестрионы, рояли и одинокие пронзающие скрипки. А над всем этим — вой человеческих голосов, вой беспримерный, бесподобный, вой титанический. Потому что человеку нужно покрыть все звуки, весь гам, весь гром машин, инструментов, зверей и птиц. Потому что необходимо в этот прекрасный, единственный в году праздник — праздник престольный, летний, любовный — необходимо не только продать, не только показать товар лицом, но и посмеяться, и поострить, и объясниться в любви.

О да, объясниться в любви.

Для этого нужно орать над самым ухом возлюбленной, как на колокольне в трезвон.

Но разве подлинная страсть умещалась когда-нибудь в элегическом пиано?

Ах, страсть! Ах, юная, жестокая, стремительная страсть!

Сидеть в коляске залитой позументами карусели, сидеть прижавшись, впившись всем телом в кружевную, жаркую, пышногрудую, подкрашенную, чуть-чуть вспотевшую девушку, с которой встретился, столкнулся, сблизился минуту назад в толпе, где каждый человек как пыж в патроне, сидеть,— ах, ах, нет! — лететь, нестись, кружиться, точно в облаках. Вот темный полукруг — туннель, ни зги не видно — никто не видит,— секунда, еще, еще; вот день, слепящий, яркий; под ногами — люди глядят, показывают пальцами, смеются; вот снова тьма — нет никого, только она — какая? — неизведанная, закруженная каруселью,— секунда, еще, еще — свет, день, люди; и опять в туннель!

Придумало ли человечество другую машину, которая перерабатывала бы сердца, души, взгляды, объятия, поцелуи — все это любовное сырье в такой кристальный и конденсированный фабрикат счастья, какой выделывает карусель, эта волшебная центрифуга амура?

Все эти перекидные качели, все эти прыгающие лест-

ницы, и бесконечно бегущие дорожки, и американские горы — все они не вырабатывают и малодобротного суррогата счастья, производство которого составляет непохитимый патент карусели. Подлинное счастье, единственная на земле блаженная нирвана, настоящая вихревая страсть (остерегайтесь подделок!) — монополия карусели.

Радуйся, позументная, многоцветная, мишурная, разноогненная, сочетавшая конный бег с плавным качанием лодок, навсегда покоренная голосами шарманки, в вечном кружении — радуйся!

КОГДА, СОБСТВЕННО, НАЧАЛАСЬ МИРОВАЯ ВОЙНА

Колыхаясь, покачиваясь, носимые от балагана к качелям, от качелей к будкам, Курт и Андрей отдались толпе, ее беспечности, ее капризам. Как прирожденные ротозеи, они не сказали бы, сколько часов отняли у них зазывалы, торговцы, шуты и господа в помятых фраках, величавшие себя профессорами неврологии и психиатрии и собственноручно вытаскивавшие на подмостки балаганов раскрашенных спящих сомнамбулов.

Когда течение вынесло друзей на пространство, где можно было произвольно двигаться и дышать, они осмотрели друг друга и рассмеялись. Вспотевшие и измятые, они были похожи на людей, попавших под проливной дождь. Курт восхищенно вскричал:

— Смотри, Андрей! Эти усатые, а то и седые люди, эти отцы, матери, может быть деды и бабки — все это дети, которым игрушка дороже всего. Такой праздник... такая наивная веселость...

— Подожди,— остановил его Андрей,— что это? Что это, Курт?

— Тир.

Андрей метнулся вперед, потом схватил Курта за руку, прижался всем телом к нему, словно ища прикрытия и защиты.

— Что с тобой, что ты?

Перед невысоким балаганом стоял густой мерный гогот. Плотная кучка мужчин то отступала от барьера палатки, то наваливалась на него. На расстоянии восьмидевяти шагов от барьера, насаженные на железные прутья, торчали всклокоченные, избитые человеческие

головы. Над каждой из них были нацеплены дощечки с именами преступников, головы которых покарало когда-то правосудие, а теперь превратила в чучела гневная рука балаганщика.

Игра была очень несложной. Надо было попасть в голову большим тряпичным мячом. Мяч запрокидывал голову назад. Она падала и скрывалась за полотняной стойкой. Худенький, бледнолицый мальчуган, бегавший позади стойки, тотчас устанавливал мишень и кидал мяч к ногам своего хозяина, собиравшего у барьера штрафную лепту за каждый промах.

Работа шла без перерывов: мячи летали от барьера за линию мишеней и обратно; хозяин менял марки, подавал мячи участникам состязания, покрикивал на мальчугана и посасывал из кружки пиво; публика погогатывала, поощряла и насмехалась, отступала, когда спортсмен замахивался, и наваливалась, когда он бросал мяч в цель.

Голова, торчавшая в центре мишеней,— со стежками небрежного шва на низком лбу, с выпяченными карими глазами на густо-синем лице, покрытом короткими бритыми ростками волос,— эта голова привлекала особую симпатию публики, и в нее летели мяч за мячом. А она, запрокинувшись, скрывшись, снова и снова подымалась на упругом железном пруту и тупо вперяла свой карий безумный взор в гогочущую потную толпу.

К голове обращались ласково, фамильярно, панибратски:

— Карлочка, Карлуша, Карлик.

И над ней висела доска:

ЗВЕРСКИЙ УБИЙЦА
СТРАШНЫЙ БАНДИТ
ДНЕВНОЙ ГРАБИТЕЛЬ
И ЗНАМЕНИТЫЙ ИСТЯЗАТЕЛЬ ЖЕНЩИН
КАРЛ ЭБЕРСОКС
НЕГОДЯЮ ОТТЯПАЛИ БАШКУ
В НЮРНБЕРГЕ

— Что это? — опять вскрикнул Андрей.

— А это спорт,— спокойно раздалось над его ухом. Он не сразу понял, кто произнес эти слова, и не сразу догадался, что они были сказаны по-русски. Значит, у него вырвались тоже русские слова?

— Познакомимся. Я здешний студент, моя фамилия... впрочем, это не важно. Вы и ваш приятель приглянулись мне: я давно наблюдаю, как вы зеваете на это столпотворение.

Прищуренные, немного усталые глаза смотрят насмешливо и покойно, рот подергивается как будто неуверенной улыбкой.

Студент пожимает руки Андрею и Курту.

— Вы немец? — живо обращается он к Курту.— Прекрасно, будем болтать по-немецки. Вашего друга настолько ошарашило развлечение у этого балагана, что он даже побледнел.

Андрей старается заглянуть в глаза Курту и говорит:

— Во всяком случае, дети так не развлекаются.

Курт пожимает Андрея за локоть, точно успокаивая его, и приглядывается к новому спутнику.

Тот говорит, мало заботясь о том, слышен ли его голос:

— Спорт, как известно,— физическое воспитание. Но сколько мудрости проявил балаганщик, соединив полезное с возвышенным! Восхитительно! Таким способом вы не только разминаете мускулатуру застоявшемуся ландштурму, но и оттачиваете его моральное чувство, укрепляете правосознание и прочее. А чтобы все это не было до смерти скучно, пилюлю золотят пикантнейшим намеком: истязатель женщин, да еще не просто, а — знаменитый! Вот она — змеиная мудрость! Какой простор воображению приказчика от Тица! Ни одна японская картинка не раззадорит так его фантазии, как эта коротенькая строчка: зна-менитый истязатель женщин! Главное — вся эта история проникнута патриотической идеей, идеей воспитания граждан в духе государственности.

— В самом деле отвратительно! — поежился Андрей.

— Ха-ха, если бы я не был в хорошем расположении духа,— засмеялся Курт,— я отдул бы вас, коллега.

— За что?

— За обобщения. Шарлатан устроил приманку для дурковатых людей, а вы несете что-то о государственности.

Студент прищурился, пожал плечами. По его лицу все время блуждала улыбка, но выражение его оставалось неуловимым. Он точно посмеивался над своей речью и решал про себя — верят ему или нет.

— У вас славный вид. Вы, наверно, студент, может

быть, художник? Словом, с вас нечего спрашивать. Я хочу сказать, что вы — мечтательные люди. А я человек трезвый, хотя не прочь выпить. Пойдемте туда, в гору, в ресторан. Да отрешитесь наконец от привычки ходить по дорожкам. Рощей и ближе и свободней... Я был, друзья мои, в пяти университетах, причем из четырех меня выгнали. Дело, впрочем, не в университетах, а в том, что я в короткое время пожил в четырех странах и приучился плевать на все. Так что меня трудно поймать на пристрастии. Я скотина международная. И если у вас чешутся руки, я готов продолжать свои обобщения, чтобы быть битым по совокупности. Согласны?

На траве привалились усталые люди, без пиджаков, без шляп, под прикрытием брошенных на землю растопыренных зонтов. Друзья миновали рощу и снова очутились в праздничной толпе гуляк.

Здесь, на широкой площадке, раскинулся ресторан. Ряды длинных столов и скамей тянулись во всю длину площадки и ровными ступенями восходили к шатру, атакованному накрахмаленной кавалькадой кельнерш. Скамьи были залеплены гостями, как сучья одинокого дерева налетевшей стаей грачей. Столы сплошь уставлены глиняными пивными кружками. Дебелые кельнерши, подняв над головами нанизанные на пальцы кружки, протискивались к шатру, укрывавшему бочки с пенистой влагой. Продавщицы цветов и серпантина перегибались через спины гостей и заглядывали в их лица с такой улыбкой, точно все эти люди были их любовниками. Над головами, зацепившись за ветви деревьев, спутавшись, завившись, висели разноцветные ленты серпантина, колеблемые, разрываемые ударами новых и новых бумажных змеек. Здесь царил смех.

Друзья уселись за стол на верху площадки. Их спутник оказался между ними и оборачивался поочередно то к одному, то к другому, стараясь, чтобы его слышали

— Вот вам азбука биологии: если какой-нибудь орган продолжительное время не упражнять, то он утрачивает способность отправлять свои функции. По-моему, напрасно ругают органическую теорию. Законы биологии охватывают, в сущности, всю психическую жизнь народов. Кровную месть европейцы подменили дуэлью, а дуэль вылилась в мензуру: поцарапал щеку противника рапирой и доволен. А то еще лучше: вам дали пощечину, судья оштрафовал обидчика — и оскорбление смыто, вы

спокойны. Это оттого, что мы из поколения в поколение не упражняли чувства мести. Постепенно оно атрофировалось.

— В чем вы хотите убедить нас? — спросил Андрей.

Студент отпил из кружки пива, и вдруг лицо его осунулось, потемнело, состарилось, улыбка скрылась, и он устало произнес:

— Ни в чем. Меня развеселила наивность, с какой вы зевали на балаганы. И потом — ваш испуг около тира. Мне захотелось поболтать. Больше ничего.

Он пристально всмотрелся в Андрея.

— Особенно с вами, с русским. Я ставлю вопросы — только. Вам не приходил на ум Рим, когда вы впервые увидели Германию? Вы понимаете? Такой расцвет, такая пышность, такой достаток, такое довольство. Нестерпимо. Я чувствую, что под почвой всей страны, под сознанием всего народа лежат целые пласты напряженного нетерпения. Все кругом так насыщено, налито, наполнено, что нужна, необходима, неизбежна разрядка. Во всем кругом себя я слышу дыхание какой-то страшной потенции. И я вижу, как эта потенция растет, как она непрестанно питается извне, словно аккумулятор, заряжаемый электричеством. Вы запомнили лица спортсменов? Вам стало страшно? А вы подумали, какая сила стоит за этим развлечением? Ее упражняют таким невинным способом, чтобы потом направить куда надо. Вы понимаете, куда она будет направлена? Понимаете? Вы ощущаете, как эта сила колеблет под вами землю? Вы чувствуете, какое это будет изверженье?

— О чем вы? — внезапно вскрикнул Андрей.

Студент схватил его руку.

— Изверженье, — глухо повторил он, — чувствуете? — И он качнул головой вниз, на столы, облепленные гуляками, как сучья грачами.

— Посмотрите!

Одним рядом ниже стола, за которым они сидели, на скамью взгромоздился студент. Расцвеченная корпорантская фуражечка бекренилась на его гладком розоватом затылке. Он был без пиджака, с засученными рукавами рубахи. Позади него стояла девица с корзинкой серпантина. Он брал из корзинки кружочек серпантина, наматывал на палец конец ленты, долго примеривался и целился, потом пускал кружочек по направлению к нижнему столу. По пути лента запутывалась в узлах свисавше-

го с деревьев серпантина, или налетала на встречную ленту и переплеталась с ней, или застревала тут же, в ветвях липы, не успев развернуться. Студент, не глядя, опускал руку в подставленную корзинку, брал новый кружочек и ловчился миновать сложную сеть препятствий новым броском. Он входил во вкус и распалялся с каждой неудачей. Ему удалось наконец зацепить своей лентой пышный навес серпантина, отделявший его от цели. Он стянул его вниз на головы гостей под общий хохот. Поле битвы оставалось за ним. Он расставил пошире ноги, взял целую связку серпантина и открыл оживленный огонь.

Его мишенью была девушка. Она сидела с дамой, пожилой и почтенной, державшей себя, как мать или тетка. Первая лента, достигшая цели, упала девушке на плечо. Она неторопливо скинула серпантин на землю. Мало ли здесь было серпантина! Он сыпался сверху дождем и шуршал под ногами, как стружки в мастерской столяра Вторая лента ударила ее своим клубочком по руке. Она отшвырнула клубочек с нетерпением. Третья опустилась плавно на стол, перед лицом дамы. Девушка предупредительно убрала ленту в сторону и, болтая о чем-то, непроизвольно намотала ее на палец.

Тогда студент натянул ленту и подергал ее с большой осторожностью. Девушка подняла голову, взгляд ее пробежал вверх по воздушному проводу и натолкнулся на расплывшееся в улыбке, блиставшее потом лицо студента. Она усмехнулась и коротким движением руки разорвала провод.

Курт и Андрей смеялись. Лицо их спутника опять помолодело и заиграло неуверенной улыбкой.

— Вы знаете,— сказал он,— что этот праздник студенты зовут гинекологическим сезоном? Нет? Это поучительная история. Один здешний профессор, приступая к своему курсу, заявил: «Очень жаль, что мы начинаем работу в зимнем семестре и на первых порах будем лишены тех благодетельных материалов, благодаря которым эмбриологическое отделение нашего музея приобрело всемирную репутацию; через два-три месяца после Эрлангенской ярмарки таких материалов более чем достаточно». Вы удивлены? Вам это непонятно? Профессор знал, что говорил. Раз в год в этот вечно голодный городишко наезжают фаланги женщин. Их ждут здесь студенты и солдаты. Вы думаете, они ждут женщин напрасно?

Через два месяца какой-то процент всех этих голубоглазых невест, жен, кузин и сестер вновь прибудет в гостеприимный Эрланген, чтобы возлечь на постелях университетских клиник.

— Вы преувеличиваете, и вы мрачны, коллега,— сказал Курт.

— Преувеличиваю? Мрачен? О вы, романтики! Хотите держать пари, что вот этот бурш добьется своего не позже сегодняшнего вечера? Смотрите, смотрите!

Около студента, стоявшего на скамье, толпились продавщицы цветов. Между ним и девушкой за нижним столом была протянута новая лента серпантина. Студент прикладывался губами к концу ленты, зажатому в кулак, и всем своим грузным телом выражал неудержимый порыв к девушке. Он выбирал цветок из подсунутого ему лукошка, запечатлевал на нем поцелуй и отправлял с цветочницей своей даме. Потом подымал над головой пивную кружку и опоражнивал ее в несколько глотков. Девушка принимала цветы, подносила их к лицу и неприметно бросала лукавые взгляды на студента. Тот мгновенно перехватывал их и выражал свой восторг мимикой и жестами, которые смешили ее.

— Весело, честное слово, весело! — засмеялся Курт.

— Посмотрите на его фигуру,— закричал студент,— ведь он страшен! Попробуйте помешать ему, отвлеките его на одну минуту, ведь он обрушится на вас с остервенением скотобойца, он изомнет вас! И испытает при этом величайшее наслаждение, потому что через край переполнен величайшим нетерпеньем.

— Вы говорите об этом бурше?

— Я говорю обо всех.

— Вы с ума сошли!

— Ха-ха! Вы художники? Я так и знал! Вы присаживаетесь тут и там на своих холщовых стульчиках, и вам ни разу не пришло в голову, что вы сидите на вулкане. Ха-ха! В одно прелестное утро однажды вас разорвет вместе с этюдниками, зонтами и стульчиками, как бутылку содовой на солнышке. Орава вот таких буршей растопчет ваше благодушие своими каблуками.

— Маньяк,— произнес Курт, отодвигаясь от студента.

— Погодите,— сказал тот, перекидывая ноги через скамейку,— мне надо повидать одного идиота. Я сейчас вернусь и доскажу вам свою мысль.

— Не трудитесь,— ответил Курт.

— Мне хочется вдолбить вам — не вам, не вам, коллега, а вот своему прекраснодушному земляку, что... я скажу потом — что...

Он закружился и исчез в полупьяной, шумной людской толчее.

— Уйдем,— сказал Андрей, и в его взгляде, остановившемся на лице друга, скользнула забота.

Когда они спустились к балаганам и все кругом них понеслось в органном торканье, Курт проговорил:

— Он, конечно, болен, этот парень.

И немного погодя, с неживой улыбкой:

— Повеселимся без него, а?..

Ночью, на вокзале, в давке и спорах лезших в вагоны людей, истомленных солнцем, каруселями, спиритуозами и толпой, Курт снова впал в любовное созерцание, возбужденный взглядами, смехом, песнями и ночью.

— Мы все равно не попадем в поезд, Андрей. Давай закончим этот праздник по старому обычаю: отыщем гостиницу, переночуем, а завтра на рассвете — домой пешком, в наш удивительный, наш прекрасный...

Курт не договорил. Взор его упал на пирамидальное деревцо, торчавшее у стола в конце зала.

— А тот парень,— пробурчал он,— тот, кто пристал к нам сегодня, кое в чем прав, черт возьми!

За пирамидальным деревцом на столе стоял яркожелтый ручной чемодан. Позади чемодана, на кожаном диване, развалился студент, обняв и привалив к себе молодую девушку. Несколько часов назад там, на горе, в балаганном ресторане, их соединяла только лента серпантина. Теперь в глазах у них блуждали ленивые огни. Студент помахивал в воздухе рукой, даже не рукой, даже не кистью руки, а одними пальцами, сложенными туго и прямо. Жест этот — снисходительно-ласковый и небрежный — относился к пожилой и почтенной даме — матери или тетке девушки. Дама стояла поодаль, собираясь уйти, и трясла головой,— не понять было: с укором, сожалением или поощряя. Шляпка ее сползла набок, и пряди волос, выпавшие из-под шляпки, были мокры. Студент бормотал миротворно:

— Adieu, Frau Mama, adieu![1]

Андрей и Курт выбрались на улицу.

---

[1] Прощайте, мамаша, прощайте! *(нем.)*

По площади шествовала гурьба горланов, человек в семь, взявшись за руки, образовав крепкую цепь, колыхавшуюся вправо и влево. Высокими голосами, в унисон, они пели:

Die Männer sind alle Verbrecher,
Ihr Herz ist ein finsteres Loch;
Die Frauen sind auch nicht viel besser
Aber lieb,
aber lieb
sind sie doch![1]

DICHTUNG UND WAHRHEIT[2]

— Без малейшего усилия ты переносишься на сотни лет назад. Ты уж не живешь в цивилизации. Воображение с легкостью восстанавливает мельчайшие черты прошлого. Ты только не противишься ему, не ставишь препон, не тащишь его насильно вниз, в сегодняшний вечер... И, смотри, ты уже какой-то подмастерье, ты спешишь до темноты достичь города, ты знаешь, видишь, чувствуешь его. О нем ходит молва по постоялым дворам и гостиницам, о нем рассказывают что-то шепотом, о нем поют песни. Это — прекрасный старый город, с добрыми мастерами всех благородных цехов, с удивительной киркой святого Лаврентия, которая под стать самому Страсбургскому собору, с чудесными фонтанами, превосходным базаром и отменными жареными сосисками. Ты с каждым шагом ближе к цели, и с каждым шагом уменьшается твоя усталость. Ты взбираешься на холм — и перед тобой, в кольце высокой стены, в башнях, деревьях, цветах, раскинулся город. Ты видишь ворота, ты непременно хочешь вступить в них, прежде чем солнце упадет за горизонт. Ты бежишь. Но в вечерней тишине вдруг повисает волнующий унылый свист. Навстречу тебе идет высокий, худой человек. Его волосы растрепались, глаза полуоткрыты. Он насвистывает на пастушьей дудке однотонную мелодийку и ступает легко, почти скользит по дороге, как лунатик. Что это, что это, Андрей? За ним изгибается пласт дороги, подобно гребню волны, которая не может достичь берега. Он сер, этот пласт, он кишит какими-то существами. Андрей, это крысы, крысы! Они стелются

[1] Мужчины все злодеи, сердца их — темная бездна; женщины тоже не многим лучше, но они нам милы, нам милы! *(нем.)*

[2] «Поэзия и правда» — название автобиографической эпопеи Гете.

по дороге сплошной лавиной, взбираются одна на другую, с остановившимися черными бусинками глаз, с оскаленными мордами. Стой, стой, не двигайся! Они обойдут тебя, они ничего не замечают, ничего не видят, они хотят только одного: слышать унылый свист человека, который вызвал их из нор и амбарных подпольев на улицу и увел за собой в поле. Торопись: за крысиным полчищем затворяют городские ворота. Солнце село. Тебе прохладно, усталость спала. Ты входишь в город...

— Ты входишь в город, — подхватывает Андрей, — и тебя сразу окружают взволнованные лица мастеровых, служанок, детворы — те самые горожане, что так зычно хохочут на состязании певцов и так горько рыдают при виде страстей господа нашего Иисуса в мистерии на базарной площади. Они перепуганы, они пожирают тебя глазами, они непременно хотят знать, не слышал ли ты о том странном юноше, который появился у них в городе сегодня на рассвете. Ведь ты нездешний? И ты, наверно, идешь издалека, много видел и много знаешь. Так вот, сегодня утром на улицах появился никому не известный мальчик. Он бледен, как бумага, кожа его прозрачна, он худ и настолько слаб, что не может сделать и пяти шагов. У него прекрасные синие глаза, очень длинные волосы, вероятно, никогда не стриженные и мягкие, как пух. Судя по росту, ему может быть лет пятнадцать, но он беспомощен, как младенец. От его взгляда становится страшно — такой это чистый, невинный взгляд. Наверно, так смотрят великомученики и ангелы. Но что самое страшное, так это то, что он не знает ни одного слова, будто только что родился. Ну, вот ты пришел из другого города, из Галле, из Франкфурта, а то, может быть, с самого Рейна. Не слышал ли ты где-нибудь об этом юноше? Правда ли, что какой-то злодей держал его в темной каморке и со дня рождения он не видал ни одного человеческого лица и не слышал человеческого голоса?

— И ты уже тоже перепугался, — говорит Курт, обнимая Андрея за плечи, — ты сам встревожен, как эти добряки; удары твоего сердца совпали с ударами сердца города, ты вовлечен в его жизнь и живешь ею так, точно родился и вырос здесь...

Друзья идут быстро, нога в ногу, прямой, плотно уложенной камнями дорогой. По сторонам тянутся ряды короткостволых яблонь с пышными кронами, в желтеющих шарах полузрелых плодов. Ноги покрыты седоватой

мелкой пылью, но поступь все еще легка и бодра. Впереди, за отлогим холмом, где-то в небе висит дымчатый нетяжелый покров. Там — город. Друзья смотрят туда, вперед, в небо, приподняв непокрытые, встрепанные головы.

— Ты дышишь грудью этого города. Он окутывает тебя своим существом, как сон. Все, что совершается здесь, совершается в тебе. Ты живешь от чуда к чуду... Мальчуган, играя возле кирки святого Лаврентия, сказал: «Черт меня побери!» Черт тут как тут: мгновение — и мальчуган барахтается у него под мышкой, и мальчуган под землей, и в земле только она дырка. Разве тебе безразлично, какие рога были у черта, и какой у него хвост, и как он пахнет? А разве ты не побежишь в бург, чтобы своими глазами увидеть на стене следы копыт того коня, который унес на себе разбойника, перескочив крепостной ров?..

Друзья остановились. Прямо под их ногами ровно уплывала дорога к пятнам ярких квадратов полей. Новый город мутным кругом опоясывал старый. Пять башен, широких и грузных, озирали окрестность. На скученных темных домах, сросшихся в нерушимую каменную грудь, короной веков лежал розовый бург.

— Нюрнберг! — вырвалось у Курта.

— Нюрнберг! — повторил Андрей.

Они стояли неподвижно, устремившись всем телом вперед, как путники пустыни перед нечаянным колодцем. Потом Курт схватил Андрея за руки, притянул его к себе порывистым, торопливым движением, заглянул ему в глаза — точно хотел перелить в Андрея весь восторг, и они поцеловались.

— Навсегда! — проговорил Андрей.

— Навсегда!

Взявшись за руки, они вдруг разразились долгим бессловесным криком и побежали вниз, в город.

Был вечер.

Спускаясь по лестнице со своих мансард, Курт встретил офицера. Офицер был молод, подвижен, и в выправке его сквозила непринужденность. Он взял под козырек:

— Не можете ли сказать, где живет господин художник Ван?

— Чем могу служить?

Офицер поднялся ступенькой выше, стал лицом к лицу с Куртом, улыбнулся, почти воскликнул:

— Ах, так это вы сами! Я узнал вас по автопортрету — помните, такой маленький карандашный рисунок?

— Вы... вы...— пробормотал Курт и вдруг повернулся, чтобы идти вниз по лестнице. Но тут же раздумал и перескочил через две ступени наверх. Потом снова метнулся вниз, глянул на офицера, пожал его протянутую руку и четко, по-солдатски, ответил:

— Очень рад, господин лейтенант.

— Вы, по-видимому, торопитесь? Прошу вас звать меня просто фон Шенау. Может быть, всего несколько минут... Я не задержу вас. И пожалуйста — просто фон Шенау.

— Очень рад,— повторил Курт и повел рукой вверх.

— Я разыскал вас без особого труда,— говорил офицер, подымаясь по лестнице,— хотя мой агент, с которым вы до сих пор имели дело, уверял, что вашу мастерскую найти вообще невозможно. Ха-ха! Я боюсь, что этот добряк непременно хочет сохранить перегородку между мной и вами. Кстати, скажите, какую сумму вы получили от него последний раз в виде аванса?

— Пятьсот марок.

— Скажите! Это делает ему честь, ха-ха!

Курт открыл дверь и пропустил офицера вперед.

— Это и есть ваша мастерская? Скажите! Вот как скромны истинно великие люди.

— Я очень благодарен, господин фон Шенау, но...

— Право, я шучу. Мне хотелось бы с вами сойтись. Добряк, с которым вы имели дело, рассказал вам, вероятно, как я ценю ваш талант. Мне хотелось бы попроще, без церемоний. Я страшно рад, что застал вас. Я ведь вообще люблю художников. По контрасту: у нас все так сложно — представительство, этикет, а вы — просто. Скажите, это ваше новое полотно? Поверните, поверните, вот... вот так. Это в счет аванса, что? Ха-ха!

— Простите, господин фон Шенау, но я уже обещал эту картину другому лицу... собственно магистрату Нюрнберга...

Офицер сел в кресло и наклонился вперед, опершись локтем на коленку. Лицо его сузилось, широкий лоб с красной полоской от фуражки вырос, рот ясно и резко очертился. Он смотрел на картину.

— Что вы там сказали? — промычал он.

Потом оторвался от полотна:

— Мне послышалось, что вы сказали какой-то вздор господин Ван?

Курт шагнул к гостю, и голос его стал грузным.

— Я собирался отблагодарить вас, господин фон Шенау... Я хотел также возвратить аванс...

Офицер быстро встал, выбросил вперед руку, коротко как гимнаст:

— Давайте!

— К сожалению, в данный момент... я...

— Вы несете чепуху, дорогой Ван. Я даю вам возможность работать. Я не тороплю вас. Можете писать по одной картине в три года. Пожалуйста. Я обеспечиваю вас. Я не ставлю вам никаких условий, кроме одного: из этой мастерской картины знают только одну дорогу — в мое собрание.

— Позор!

У офицера ясно и резко очерчен рот, и слова его, как рот, ясны и резки:

— Господин художник понимает, что с ним говорит офицер. Офицер предлагает, художник соглашается или отказывается. Вы отказываетесь?

— Боже мой! Ведь вы лишаете меня главного, вы берете у меня...

— Я делаю вам честь. Вы знакомы с каталогом моего собрания? Ван-Дейк и Рубенс, французы, кончая Сезанном, немцы до Клингера. Я отвел вам целую стену.

— Меня никто не знает. Я работаю... я работаю...

Курт хватается за спинку дивана, толкает ногами подрамники, произносит недорванно, точно умирая от жажды:

— Работаю на вас!

— Скажите! Ван, Ван, вы безумны, как гений. Вы хотите пробивать свою дорогу шаг за шагом, а я обещаю вам развернуть ваше будущее одним движеньем. Вас никто не знает? А я сделаю так, что вас узнает весь мир. Я сделаю это.

Курт падает на диван.

— Но это полотно... именно это. Прошу вас. Я хотел видеть его в магистрате. Дворик Немецкого музея — это наше, нюрнбергское, близкое нам...

— Ван, бросьте говорить вздор! Мне было бы неприятно оставлять вас в дурном расположении духа. К тому же...

Лоб офицера опять растет, красная полоса от фураж-

ки бледнеет, исчезает. Офицер смотрит на картину.

— Хорошо. Очень. Какое счастье наблюдать за вашим ростом. Знаете...

Офицер встает, подходит к Курту, берет его за плечи, всматривается в его лицо — как в лицо солдата — поощряюще.

— Знаете, вы лучший из художников вашего поколения. Ведь вы ненамного старше меня, да?

Потом он снова оглядывает комнату, вынимает из кармана визитную карточку, пишет на ней несколько слов, по-прежнему молодо говорит:

— Я здесь проездом. Страшно рад, что застал вас. Вот, возьмите, может пригодиться. И до свидания. Я непременно приглашу вас к себе, в Шенау. Вы увидите, какую я отвел вам стену. Непременно. До свидания.

Офицер пожимает руку, бодро и радостно шуршит униформой, шумно затворяет за собой тонкую стеклянную дверь.

Курт сидит неподвижно.

Снизу, с улицы, подымается вечерний говорок возвращающихся с фабрики рабочих. Слышно, как шуршат по мостовой велосипедные шины. В углы комнаты забиваются сумерки. Полотно на мольберте отсвечивает красным.

Курт ощущает в своей руке карточку. Подносит ее к глазам.

Карандашом:

Выдайте 200 в счет платы
за «Дворик Немецкого музея».

Печатной краской:

Лейтенант фон цур Мюлен-Шенау.
(маркграф)

Тогда Курт вскакивает с дивана, рвет визитную карточку, подбегает к окну и грозит кулаком вниз на улицу.

С тяжелым дыханьем выползает и пенится шипучее слово:

— Не-нави-иж-жу!

Розенау лежит в низине, и в Розенау есть пруд. От его сырости, от сочной травы газонов и густых крон ветел в Розенау прохладно.

И когда наступали сумерки и город закупоривала духота, люди стекались к Розенау.

Потому что этим летом над Баварией ходили грозы.

Они собирались к ночи и рушились исступленно на города, дороги и поля. С рассветом небо очищалось; дни стояли знойные, тугие; по вечерам приплывали тучи и ночью, разодранные грозой, валились на землю...

Человек внес свои поправки в безумства природы. Поставил громоотвод, провел канализацию, придумал зонтик.

О, этот гордый человек!

Когда первая капля дождя холодным предвестником падет на землю, он пощупает лысину ладонью, раскроет зонтик, и по его лицу не скользнет и отблеска смятенья: под зонтиком ступает все тот же царь природы.

Никакого смятенья вообще. Ни озабоченности, ни поспешности, ни суеты. Жизнь — это гармония. И родина гармонии — родина Баха, Мендельсона, Листа, Гайдна.

На каждом шагу встречаешь человека, неспособного отличить c-dur от a-moll. Но всякий знает, что Гайдна и Мендельсона дала Германия. И каждый, точно правоверный эллин, верит, что семь тонов музыкальной гаммы соответствуют семи спектральным краскам.

Жизнь — это гармония, в которой каждая сигара — известная тональность.

Оранжевая черепица крыш, кнопка воздушного звонка, кожаная манжета колбасницы, головной гребень кельнерши — известный, только им присущий, только им преподанный, приятный тембр.

Стукните ножом по кофейной чашке берлинского локаля. Чашка издаст тот самый тон, в каком звучит кофейная чашка любого локаля Ганновера — или Дрездена, Штеттина, Любека. Подмените чернильницу штадтрата Герлица чернильницей штадтрата Баутцена. Почтенным бюргерам и в голову не придет, что они обмакивают свои перья в чужие чернильницы.

Как Баутцен, как Герлиц? А сорок километров, разделяющих эти соседние города?

О, хотя б четыреста, пятьсот и даже тысяча!

Ведь это же чернильницы штадтратов. А не профессоров, не патеров, не офицеров.

Жизнь — это гармония.

И жить — значит не нарушать гармонии. В каждом возрасте и в каждый час, во всяком звании и чине, в лю-

бой общественной среде — звучать присущим и преподанным, приятным тоном...

Так, этим летом, когда над Баварией ходили грозы и в сумерки закупоривала город духота, по вечерам отправлялись в Розенау, в прохладу пруда.

Мужчины снимали с себя пиджаки, привешивали на жилетную пуговицу панамы и шляпы (за особый держатель — бесплатная премия Тица), брали зонтики и шли.

И с первым шагом их, как только заносили ноги, сняв пиджаки, привесив к пуговицам шляпы, все совершалось в ритме и размере, положенном гармонией.

Вот так: мужчины.

За ними — дружно: жены, дочки, тещи. Все в белых блузках, с ридикюлями, с зонтами.

А спереди — сынки: без шляп, в рубашках «Робеспьер», заправленных в короткие штанишки. Ну, эти без зонтов. При первом же раскате грома — бегом, марш-марш домой. А «Робеспьеры» высохнут и выгладятся завтра...

За столиком сидели прочно, долго. Неколебимо слушали оркестр. Подтягивали Штраусу, умилялись:

— Хороший композитор, prosit!

Фельдфебель-дирижер руководил отчетливо, как на параде. Обертывался на аплодисменты — раз, два, три. И кланялся, насколько позволяли воинский устав и воротник.

Флейтист вставал, менял дощечку-номер — «4».

Тут каждая семья — в последовательности патриархальной — смотрела на программу:

— Четыре? Шуман, попурри из песен.

— Ах, Шуман!

— Да, из песен...

— Прекрасный музыкант, хотя — австриец? Prosit!

Все в этом ритме и размере.

Но ночью, перед тем как нависнуть над городом и пролиться грозовой туче, привычный и удобный ритм был сломан.

В тембры, присущие, преподанные и неизменно приятные, после прохлады Розенау, после Штрауса и Шумана, врезались слова, разорвавшие гармонию, как гроза — духоту.

Люди кучились по перекресткам, захлестнутые лив-

нем, точно птицы, подбитые ветром, точно овцы, оглушенные громом.

Открывали и закрывали зонты. Расстегивали и застегивали воротники. Снимали и надевали шляпы.

Но не двигались: ждали молнии.

И когда она шмыгала воровато над крышами, люди впивались глазами в лоскутки телеграмм, расклеенные на стенах, чтобы еще и еще раз ослепнуть от слова:

Эрцгерцог!

Потом срывались с места, захлестнутые, подбитые, оглушенные грозой и ливнем, и опять примыкали к жавшейся на перекрестке толпе, и опять ослеплялись словом:

Эрцгерцог!

И опять не двигались: ждали молнии.

Так каждый: в каждом возрасте, во всяком звании, из всякой общественной среды.

Потому что с этой ночи, ослепившей словом:

Эрцгерцог!

старой гармонии не стало, и — смятенные — люди кинулись искать новую.

Мокрый до последней нитки, Андрей пробирался знакомыми окраинами к дому, где жил Курт. Под взрывами ветра умирали и воскресали газовые фонари. Андрей зажег спичку, отыскал кнопку звонка. Минуты через три сверху соскользнул на улицу слабый голос:

— Это вы, герр Ван?

Андрей отбежал от двери на середину мостовой.

— Простите за беспокойство, фрау Майер. Разве Курта нет дома?

— Ах, герр Старцов! Добрый вечер. Мы думали, что герр Ван с вами. Он ушел уже давно. У него был какой-то офицер.

— Офицер?

— Молодой офицер.

— И Курт ушел с ним?

— Нет. Офицер ушел раньше.

— А где же Курт?

— Право, вы меня пугаете, герр Старцов. Откуда мне знать, где он пропадает. Он так стукнул дверью, когда уходил, что у меня на кухне запрыгала посуда.

— Простите за беспокойство, фрау Майер. Покойной ночи!

— Доброй ночи, герр Старцов!

Белое пятно на мансарде исчезло, окно закрылось. Андрей постоял несколько мгновений неподвижно. Потом произнес негромко:

— Офицер.

Потом медленно пошел назад, по окраинам, которые привели его к жилищу Курта.

Дома он разделся, растер себе грудь, спину, живот, ноги сухим полотенцем, переменил белье, открыл окна, закутался и уснул сразу, точно сорвался в какой-то провал.

В этом провале он отчетливо увидел:

В беспредельном, может быть снежном, просторе висит человеческая голова. Кругом все тихо и недвижно. Вдруг из пустоты возникает студент в корпорантской фуражке на гладком розоватом затылке. Карие глаза головы открыты, зрачки устремлены на студента.

— Adieu, Frau Mama! — говорит голова и подмигивает студенту. Тогда студент отбегает назад, расставляет пошире ноги и заносит руку. Откуда у него тряпичные мячи? Первый удар мимо. Второй тоже. Мячи несутся на полсантиметра справа и слева от головы. Голова переводит взор на Андрея и открывает синие губы, чтобы что-то сказать. Но на мгновение ее заслоняет собою мяч, и она покачивается и трясется, точно в раздумье, потом вдруг опрокидывается на затылок и летит куда-то вниз. И в тот же миг исчезает снежная беспредельность, и перед Андреем вырастает грандиозная каменная лестница, и голова скатывается по ней с хронометрической размеренностью, гулко ударяясь о каждую ступень поочередно, то лицом, то затылком:

бумм — бомм
бумм — бомм...

Но взгляд ее неотрывно упирается в глаза Андрея, хотя должны же, должны быть моменты, когда Андрей не может видеть этого взгляда, не может!

бумм — бомм
бумм — бомм...

Андрей вскочил с постели. Весь он покрылся потом, и рот его был связан какой-то соленой сухостью. Он сжал голову руками. Прислушался. Звонкие удары гулко раздавались на улице. Андрей бросился к окну, приподнял занавеску.

В свежем послегрозовом рассвете по мостовой цокали бесчисленные подковы. В воздухе, на остриях кавалерийских пик, развевались двухцветные флажки. Вылощенные темно-зеленые униформы, набитые хорошими широкогрудыми телами, чопорились и подпрыгивали в седлах. По чернолаковым квадратам, завершавшим каски, бегали неуверенные тени утреннего неба.

Впереди кавалерии, на вороных конях, продвигался, зажженный горячей медью труб, полковой оркестр. Большой барабан сотрясал покой спавших улиц:

бумм — бомм...
бумм — бомм...

Андрей опустился на подоконник и закрыл ладонями лицо.

Люди вспомнили, что на свете существуют короли.

Их совершенно реальное бытие вдруг стало очевидно после того, как ослепительное слово

Эрцгерцог!

ворвалось в гармонию, сломало ритмы, исказило размеры, обезобразило тембры.

Оказалось, что короли живут не только на страницах журналов, обозрений и по витринам фотографов. Оказалось, что короли не только путешествуют, переезжают из зимних резиденций в летние, улыбаются на портретах и ежегодно празднуют тезоименитства. Оказалось, что короли не только в истории и географии, то есть — в сущности — на школьных скамейках. Нет!

Короли жили в действительности, по-настоящему. У королей в самом деле были черепа, относившиеся к пулям точно так же, как черепа их подданных. И короли настолько хорошо кричали, что голоса их были слышны в очень отдаленных от резиденций местностях.

И, боже, какое множество обнаружилось вдруг королей! С каждым днем и с каждым часом они выползали из своих резиденций, как тараканы из щелей. В конце концов они запорошили собою все уголки газет, и пришло время положить предел этому царственному беспорядку.

Довольно слушать разноголосицу, довольно вдумываться в неразбериху, довольно портить глаза на всех этих нотах, меморандумах, волеизъявлениях и манифестах, довольно!

Разве еще не ясно, куда зовет вас чувство долга?

Слушайтесь этого чувства — чувства долга! Только его, ничего больше!

Оно приведет вас на улицу, в толпу, и толпа вскинет вас на свои плечи, как волна вскидывает щепку на свой гребень. И вы устремитесь к дому сербского торгового консула, и чувство долга выдавит из ваших внутренностей вопль негодования. И потом вы будете бить палкой по запертой парадной консульства, пока к вам не подойдет шуцман и не объяснит, что вы ошибочно думаете, будто бы порядок дозволяет портить двери. И тогда чувство долга повлечет вас по улицам к дому итальянского торгового консула, и вы будете петь национальный гимн и кричать «Vivat Italia!», пока к вам снова не подойдет шуцман и не посоветует пойти домой, потому что наступает полицейский час и шум нужно прекратить. И хотя чувство долга и охрипшее горло умерят ваш пыл, вы все-таки будете кричать, и негодовать, и гневаться, потому что — ужели жизнь зазвучит прежней гармонией после освежающей грозы? ужель не суждено испытать прекрасной долгожданной перемены? ужель — опять благословенный, тяжкий, гармоничный мир? О, никогда! Ни за что! Перемены, перемены, перемены!

Мы требуем, мы хотим, мы жаждем перемены!

Тогда слушайтесь чувства долга.

Толпа ярилась у парадной сербского торгового консула, и в толпе были Андрей и Курт. Но они не видали друг друга. Потому что, если принять толпу, заключенную между сторон улицы, за прямоугольник, то Андрей находился в одном конце диагонали, а Курт — в другом. И этот другой конец диагонали приходился как раз у парадной консульства, а первый — там, где стояли люди, не проникшиеся чувством долга или — от природы — лишенные его.

Механика народных толп на городских улицах имеет свои законы, и эти законы, конечно, не могут быть нарушены столь внешними явлениями, как человеческая дружба.

И когда толпа повернулась и пошла назад, к дому итальянского торгового консула,— Андрей очутился впе-

реди шествия и возглавлял его до первого проулка.

Там он юркнул за угол и — по окраинам — бросился к Курту.

Узнав от фрау Майер, что ее жилец не был дома с утра, он прошел к нему в комнату, разыскал на столе клочок бумаги и попавшимся под руку коричневым пастельным карандашом жирно написал:

Что с тобой, Курт? Я заходил дважды.
Приду завтра утром. Я измучен.

Андрей.

Назавтра солнце взошло двумя с половиной минутами позже, чем в предыдущий день. В остальном рассвет не был сколько-нибудь замечателен.

Как всегда, около семи часов утра на улицах появились велосипедисты с мешками и корзинами на горбах. Шурша шинами, велосипеды катились под окнами Курта вправо и влево.

Те, что катились вправо, несли на своих седлах рабочих Иоганна Фабера.

Как всегда, рабочие составили велосипеды в обширном гараже, в стойках, и поднялись в гардеробную. Там каждый открыл свой шкафик — с отдельным замочком под номером и фамилией рабочего, — снял с себя пиджак, отстегнул манжеты, целлулоидный воротник с манишкой и, повесив все это в шкаф, облачился в холщовую блузу.

В семь часов все стояли на своих местах.

В семь часов мастер Майер вступил во вторую смену огнепостоянной печи.

Измерительные аппараты, радиационные пирометры находились в соседнем здании, где за шкалами, таблицами и метрами сидели неподвижные люди, которые на социальном силомере выжимали одним делением больше обыкновенного мастера. Воздушные провода, звонки и телефоны соединяли этих людей с Майером, и он осуществлял их повеления, как моряк — сигналы лоцманской башни.

Он смутно представлял себе отсчеты неподвижных людей, сидевших за пирометрами в соседнем здании. Он знал только сигналы, рождавшиеся по их воле, и по сигналам мог уверенно сказать, какой номер штифта обжигается в печи.

Он верил в лоцманскую башню — и еще в то, что там — за люками, винтами, за бетонированной, ожелез-

ненной стеной — пространство, которому имя печь, может быть нагрето до 1300 градусов.

До 1300 по Цельсию.

Он верил в это, мастер Майер.

Ежедневно в полдень рабочие подходили к рукомойникам, отдавали должное фабричному мылу и фабричным полотенцам, облачались в целлулоидные воротники и манжеты и шли в гараж за велосипедами.

В этот день они подошли к рукомойнику в десять часов утра и велосипедов не брали.

В десять часов утра в помещение огнепостоянной печи зашли двое.

— Вот что, Майер,— сказали они,— мы сегодня идем на улицу. Мы против войны. Идем с нами.

— Против войны? — переспросил Майер.— Это хорошо. Но у меня — печь.

— Это верно, Майер, у тебя печь. Но мы думали, что у тебя, кроме того, и голова...

Майер вскинул брови и пожевал так, будто держал во рту чубук.

— Но ведь я говорю вам, что я против.

— Ну, так идем.

— А печь?

— Тогда отпусти рабочих.

Майер отошел в угол, вынул из кармана табак и низким баском пробурчал:

— Я ничего не знаю...

А через четверть часа взлохмаченный человек в коленкоровом халате ворвался в дверь и крикнул Майеру в упор:

— Майер, вы здесь?

Растерянно улыбнулся и тотчас вылетел наружу.

Тогда Майер подошел к телефонной трубке и сказал спокойно:

— Пришлите-ка мне двоих на подачу. Мои куда-то провалились, черт их побери...

А еще через четверть часа к человеку, вынесшему из фабричных ворот плакат:

МЫ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ,
ПРОТИВ ВОЙНЫ!

подошел полицейский инспектор, вынул из его рук древко и, передавая плакат шуцману, сказал:

— Отнесите эту дрянь в участок.

Позади человека, у которого отняли плакат, колебалась неплотная, бесформенная толпа. Позади инспектора, вычерченная по мостовой, протянулась ровная линия шуцманских мундиров. В течение минуты толпа смотрела на мундиры. Потом она начала редеть, потом растаяла, и последний из толпы — тот, кто вынес на улицу плакат,— тихо вернулся на фабричный двор и закрыл за собой чугунные ворота.

Это было без четверти одиннадцать.

И в этот час Андрей третий раз подошел к дому, где жил Курт.

Он остановился у дверей, чтобы перевести дыхание. Взгляд его упал на скомканный клочок бумаги, валявшийся на тротуаре, под окном Курта. Его что-то толкнуло вперед. Он нагнулся, поднял бумажку и развернул ее.

Надорванная, смятая, замазанная коричневой пастелью записка кончалась словом:

Андрей.

ЦВЕТЫ

На Майере была вязаная куртка с кармашками на груди. Из одного кармашка в другой бежала цепочка. Изо рта — беззубого, приятного, окруженного седоватой щетинкой бороды и усов,— спускался длинный чубук. Трубка лежала на животе. Живот был толст, но не оттого, что Майеру хорошо жилось и он ел много ветчины, а просто Майеру стукнуло шестьдесят, и живот, довольно потрудившись над картофелем, салатом и ливерной колбасой, живот Майера просто немножко отвис.

Восемнадцать лет, как Майер — мастер, но все еще не может позволить себе роскоши отоплять все комнаты своей мансарды и самую большую (на юго-восток) отдает внаймы.

И теперь, после обеда, раскурив трубку, Майер зашел к своему жильцу — фантазеру, чудаку, а в общем, славному парню — художнику Курту Вану.

Славный парень стоял у раскрытого окна и смотрел вниз, на улицу.

— Что только творится на божьем свете!..— сказал Майер, подбирая губами чубук.

Славный парень не отозвался.

— Дело будет, пожалуй, покруче, чем в семьдесят первом...

Славный парень застукал башмаком об пол.

— Как только подумаешь...— начал снова Майер и пощелкал языком: — Тц-тц-тц-тц-тц...

Славный парень, не поворачиваясь, спросил:

— Что нового, герр Майер?

Хозяин пососал чубук и присел на диван, отодвинув от него пыльные подрамники.

— В каждом мастерстве есть свой порядок, который можно понять, если присмотришься. Я смотрю на ваше мастерство и не понимаю ничего. Когда вы скажете, герр Ван, чтобы моя жена вытерла у вас пыль?.. Нового? Все то же: одна глупость.

— Долг, по-вашему, тоже глупость? Негодование, гнев — тоже?

Курт повернулся, ударил себя кулаком в грудь, вскрикнул:

— Когда вот здесь — как кипяток, как огонь! — и опять стал лицом в окно.

Майер пыхнул дымком.

— Я прошлую ночь не спал, герр Ван. Я думал, герр Ван. Так что моя жена хотела положить мне на подошвы горчичники. Мне пришли такие мысли в голову, герр Ван. Я стою столько лет у своей печи, вы знаете. Мой приятель — художник Ван, который не дает вытереть пыль у себя в комнате,— ходит за город рисовать с натуры, а потом пишет картины. Меня и моего приятеля никто не обижал, и нам не на что оскорбляться. И вдруг...

— Нация, герр Майер, нация, народ! — крикнул в окно Курт.

— Я понимаю, герр Ван. Но я думал, герр Ван... Может быть, мне надо было послушаться насчет горчичников: это оттянуло бы кровь от головы. Я думал, почему так устроено? Почему я должен оскорбиться на...

Курт перебил:

— Бывают случаи, в которых думать нельзя. Вы меня простите, герр Майер, но вам дали пощечину, а вы философствуете.

— Я узнал об этом вместе с вами, из газет, на вторые сутки, по телеграфу. А когда она раздалась, эта пощечина, я мирно спал с женой.

Курт оторвался от окна, подбежал к хозяину, подергивая головой, сдавленно прогудел:

— Я просил вас, герр Майер, не говорить со мною на эту тему.

— Я не думал, что вы такая горячая голова,— ответил Майер и подобрал губами чубук.— Я и не хотел подымать эту тему. Вы сами спросили меня, что нового. Я хотел рассказать, что случилось со мной сегодня перед обедом...

Майер открыл крышечку трубки, умял пальцем табак и пососал чубук.

— Утром меня зовут к телефону. Говорят: в обед заехать в контору. Заехал. Второй директор, герр Либер, идет мне навстречу, протягивает руку и говорит: правление поручило мне выразить вам, герр Майер, от его имени благодарность за то, что вы проявили чувство долга и не оставили своего поста во время имевшего место непорядка. Я говорю ему: герр директор, но ведь печь, она ведь... Тут подносят ему бумагу, и он спрашивает, что это. Ему говорят — лист, штрафной лист. Тогда он вынимает из кармана карандаш — в серенькой оправе, наш патент, самое последнее слово, знаете, герр Ван, штифт подается механически, ни давить не надо, ни вывинчивать, механически,— перелистывает бумагу, и я вижу — лист за листом, лист за листом, но не считаю, а смотрю на пальцы директора. Такие длинные и такие белые пальцы. Поверьте, герр Ван, я только и думал, что вот никогда у меня не было таких пальцев, даже в молодости, и что вовсе не от работы не было, просто — совсем у меня другие пальцы, от рождения. Герр директор перелистал бумагу и легко так карандашом скользнул, где надо было, и опять подает мне руку и говорит от имени правления. Я ему пожал руку — рука совсем без костей,— говорю, что печь, она ведь... и все такое, а сам ни о чем не могу думать, кроме пальцев. Так и вышел. Прошел двором, взял велосипед, повернул ногой педали и тут вдруг говорю себе: стой, старый Майер, стой! Ведь ты нагадил, наверно нагадил, если получил благодарность, когда вся фабрика, все рабочие...

Глаза художника медленно прищурились, он покачал головой и спросил:

— Признайтесь, герр Майер, вы социалист?

Майер выпустил чубук, замигал на светлое окно, стараясь вглядеться в лицо жильца, почмокал мягким ртом потом нерешительно улыбнулся, потом встал.

— Прежде вам удавались шутки лучше, герр Ван.

И вышел

Курт смотрел в окно.

По улизанной белой дороге вправо и влево, шурша шинами, катились велосипеды. На горбах седоков торчали мешки и корзины. Над рулями маятниками раскачивались трубки, нет-нет выкидывая за спины курильщиков клубочки синего дыма. Клубочки бросались за мешками и корзинами, висли на них, вытягивались в белую полоску и пропадали. Велосипеды обгоняли друг друга, скучивались в табунки, расползались цепью, торопливо выныривая из-за домов и сбиваясь в густой черный поток на концах улицы.

Вот выплыл на дорогу, завилял, покатился направо желтый велосипед с высоким рулем и седоком, который сидел, как в кресле, прямо и покойно: герр Майер поехал к Фаберу.

И так четверть часа: обгоняя друг друга, скучиваясь в табунки, расползаясь цепью, исчезая в густом черном потоке на концах улицы — велосипеды, велосипеды, велосипеды. И когда прошло четверть часа и никто не опоздал, потому что ничего не случилось, дорога опустела. Женщина, вытирая пот с лица, подгоняла пару мускулистых псов, заложенную в тележку. Псы разинули пасти, и на мансарде, высоко над дорогой, слышно было их усердное дыханье. Монах в коричневой рясе с капюшоном, подпоясанный тугим крученым поясом в кистях, с четками в руке, опустив голову, мчался через дорогу.

Курт смотрел в окно.

— Война.

Кто произнес это слово?

— Война.

Чей это голос?

— Война.

Зачем здесь, на дорогах, обсаженных яблонями, в тени кедровых деревьев, взращенных, взлелеянных, взлюбленных, зачем здесь?

— Война.

В гулкой воркотне турбин, потонувших в зелени ветел, в свистах и шорохах шлюзов, пропускающих караваны,— зачем здесь?

— Война.

Наши дома обсажены цветами, наши поля взрыхлены под новый урожай, наши фабрики, наши фабрики, наши

фабрики — храмы, где мы с детства служим мессу днем и ночью! Зачем, зачем?

— Война.

Яблони и кедры, цветы и турбины, поля и шлюзы, и наша вечная месса фабрике — это на наших костях, на наших мышцах, на наших душах,— и мы не хотим, не хотим, не хотим!

— Война.

Курт бежит по лестнице вниз, перебегает дорогу, вскакивает в трамвай. Трамвай мчится в центр, в старый город. Центр, старый город, с автобусами, барами, площадями и улицами, костелами, автоматами и средневековым бургом мчится в никуда.

Он был слишком тих, этот город, он почти дремал, он щадил покой своего средневекового каменного костяка. Бары и автоматы не очень громко стучали ножами и стаканами, а автобусы почтительно глушили свои моторы, чтобы не потревожить, не нарушить приятную дрему семнадцатого века.

И теперь, разбуженный, вспугнутый, очнувшийся, город должен в несколько дней, в несколько часов догнать двадцатый век. Он должен догнать его, чтобы сохранить в целости свой средневековый костяк. Об этом вопят газеты — утренние и вечерние, консервативные и социал-демократические, либерально-народные и церковно-католические, богатые, бедные, большие, маленькие, с читателями и без читателей, иллюстрированные, экстренные, традиционные, для христиан, для хозяек, для прислуги и для господ офицеров.

Уже посланы корреспонденты на границы, уже объявлено о печатании четырех новых, военных романов, уже появилось первое военное сообщение — жирным шрифтом на передних полосах всех газет, христианских, социал-демократических и прочих,— жирным шрифтом, первое военное сообщение:

Вчера, в четыре часа пополудни, близ хутора Фануар, к юго-западу от Меца, наш пограничный патруль столкнулся с французским разведочным отрядом и атаковал его. Французы, безуспешно отстреливаясь, обратились в бегство.

О, о! Они уже обратились в бегство!

О, они не умеют как следует стрелять!

— Вы читали?

— А вы читали?

— Вы слышали, как французский шпион, нарядившись патером...

— Вы знаете, что русские уже давным-давно...

— О, мы были чересчур благодушны, и наше терпенье...

— Его схватили и — что же вы думаете? — у него во рту оказались пироксилиновые...

— Черт возьми, однако он писал нашему кайзеру письма, а тем временем...

— У нее был паспорт простой учительницы, а когда ее обыскали...

— Подлые трусы, они утекают при одном виде наших касок!

— Уверяю вас, самый добродушный вид: голубые глаза...

— Я бы сразу догадался!

— Держите, держите, дер-жи-те!

— Экстренные те-ле-грам-мы!..

— Экстрен...

— ...гра-ам-м!..

— Прочтите, прочтите!

— Ага-а!..

— Я говорил, я говорил!..

— Вы читали?

— А вы?

— А вы?

О, о! Они уже обратились в бегство!

О, они не умеют как следует стрелять!

Сегодня в пять часов утра в окрестностях Рота был задержан молодой человек, назвавшийся...

Извозчик, заломив на затылок цилиндр, маяча на высоких козлах, размахивает в воздухе телеграммой. Шофер, держа в одной руке руль, другой засовывает за обшлаг телеграмму. Шуцман, отойдя на десять шагов от перекрестка, одним глазом косит на окно, заклеенное телеграммой. Велосипедист, не слезая с велосипеда, покупает у запыхавшегося мальчугана телеграмму. В ресторанах, пивных, автоматах, трамваях, над головами, в руках, карманах, на полу — телеграммы. В окнах, на стенах, витринах, в воздухе — гонимые ветром — телеграммы, телеграммы, телеграммы.

— Экстренные те-ле-грам-м!

— Экстрен...

— ...гра-ам-м!

Словно разлили по городу крепкое вино, и люди захлебываются им и плавают, тонут, пропадают в вине.

Курт мнет в комок белый, усеянный рублеными буквами лоскуток бумаги. Потом разглаживает его, скользит острыми глазами по отчетливым строкам, опять сминает бумагу в тугой комок, кричит:

— Обер!

Расплачивается, выбегает на площадь. Там — в шуме и дрожи города, захлебывающегося, тонущего,— он вдруг останавливается посреди тротуара. Его обходят, толкают, на него озираются. Он ничего не замечает. Он смотрит через головы, плечи, шляпы и зонтики прямо перед собой, в ту сторону, куда только что шел. Так же внезапно, как остановился, поворачивается, пересекает площадь, садится в трамвай. К вагону, оторвавшись от людской толчеи на тротуаре, через площадь бежит какой-то человек. Вагон двинулся. Человек ускоряет бег, вскакивает на подножку, входит в вагон, разыскивает кого-то глазами.

— Курт!

Курт смотрит на улицу, мнет в руках белый лоскуток бумаги.

— Курт, Курт!.. Ты видел меня?

Курт повернулся, засунул руки в карманы. Его рот сжат, верхние тонкие веки придавлены бровями.

— Нам не о чем говорить.

— Курт!..

— Послушайте,— начинает Курт.

Но тот, кто назвал его по имени, хватается за голову и шепчет:

— Так ты убежал от меня?

Курт опускается на скамью. Губы его вздрагивают, глаза краснеют. Может быть, он сейчас улыбнется, может быть, зарыдает, может быть, вскрикнет.

Он говорит тоже шепотом:

— Я ненавижу тебя, Андрей... Я должен ненавидеть! Уходи. Прощай... Уходи же!

— Ты говоришь наперекор рассудку, наперекор сердцу!

— Сердцу? Сердцу? — кричит Курт и поднимается с сиденья.— Уходи, оставь меня. Нам не о чем говорить. Уходи же!.. Иначе я закричу на весь вагон — кто ты, и тебе...

— Кричи, кричи! Я не сделаю ни шага!

Они стоят лицом к лицу, не сводя друг с друга упрямых глаз, и лица их бледны, перекошены напряженьем, покрыты потом.

— Я жду.

Курт молчит.

— До свиданья, Курт. Ты опомнишься, я знаю.

— Я не лицемер. Прощай,— говорит Курт, отвертываясь от Андрея.

Старцов соскакивает с вагона.

По улице, навстречу ему, летит на велосипеде газетчик и рвет тишину охриплым воплем:

— Экстренные теле-грам-м!

— Экстрен...

— ...гра-ам-м!..

Дома кругом тихи и безлюдны, в открытых окнах желтеют и курчавятся цветы, нависшие над этажами мансарды хоронят покой улиц. Люди ушли отсюда в центр — к барам, автоматам, редакциям и киркам, ушли, убежали, умчались, чтобы видеть своими глазами, как город, который дремал долгие века, пробуждается к войне и славе.

Андрей идет тихо — окраинами, притаившимися переулками, в неровном, кривом строе старых каменных жилищ. Спешить не надо. Спешить некуда. Позади — годы, которых не вернешь и которые не нужны; люди, которые никогда не станут прежними, никогда. Не все ли равно, куда идти? Не все ли равно, куда придешь? И дойдешь ли куда-нибудь?

Переезд через дорогу на Фюрт — первую, старейшую дорогу Германии,— переезд, которым так часто проходил Андрей, охраняется солдатским патрулем.

Заметил ли Андрей, что на солдатах зеленовато-серые мундиры в матовых пуговицах, ранцы из телячьей шкуры, каски в холщовых чехлах и патронташи по обе стороны живота? Заметил ли, что солдаты в походной форме? И что на форму смотрят из окон, дверей, с дороги, с тротуаров? Видел ли, как в окнах поезда, проползшего в Фюрт, заметались, запрыгали платки, зонтики, шляпы, руки и как на землю, к ногам солдат в походной форме, из окон посыпались, полетели цветы, сигары, папиросы — и опять цветы, цветы, цветы? Видел ли, как величественно запрокинули головы солдаты в походной форме и какая улыбка снизошла с их губ на платки, зонтики, шляпы, цветы? Солдаты в походной форме не подобрали всех цветов, брошенных им под ноги, а только воткнули по

одной розе в дула винтовок и за пояса, к патронташам. Разве соберешь цветы, постланные отечеством на пути армии в походной форме? Видел ли все это Андрей?

Не все ли равно?

Андрей шел, опустив голову.

На светлой, вымытой лестнице, у двери квартиры, где он жил, неподвижно стояли люди в длинных черных пальто и низких котелках. Их было пятеро. Они были бесшумны. Андрей заметил людей, когда очутился в их кольце.

Бледнолицый, гладко выбритый, с добрым взглядом светлых глаз, приподнял котелок и спросил:

— Герр Старцов?

— Да.

— Будьте любезны.— И он приоткрыл перед Андреем отпертую дверь.

— Может быть, герр Старцов покажет нам свои вещи?

Четверо сняли котелки, пальто, пиджаки, отстегнули манжеты и засучили по локоть рукава полосатых рубах. На тонких ременных поясках раздевшихся людей, прилипнув к бедрам, в бледно-желтых кобурах висели маленькие кольты.

ГЛАВА ОТСТУПЛЕНИЙ

ЛЕГЕНДЫ — СПЛЕТНИ — БЫЛЬ

Вилла Урбах лежит в горах, недалеко от границы Богемии. Кругом сосны — лиловые по вечерам, рыжие в полдень. Камни на вершинах гор лысые, остробокие. Если смотреть издалека, то кажется, что по горам нагромождена старая ломаная мебель. Впрочем, на одной вершине кланяются востоку Три Монахини в клобучках и откинутых на спину капюшонах. У одной в руках четки: это ползет из расщелины курчавый розовый вереск. В долине, вьющейся к вилле Урбах, бежит белое шоссе, рядом с ним — узкая колея железной дороги. Там, где долина упирается в покатое подножие Лауше,— красноватая, закопченная крыша станции. Сверху, с круглой, похожей на грудь, вершины Лауше, долина, шоссе, полотно дороги, станция — уместятся в горсти. Отсюда слушать пересвисты паровозов — как воробьиное чирикание. Здесь спит эхо, закопавшись в глубокую мякоть молодых сосновых игл. Зато каждый звук долины семь раз взбирается к стопам Трех Монахинь. Под вечер, когда по шоссе торопятся к ночлегу крестьянские повозки, у ног Трех Монахинь не усидит и отчаянный смельчак.

О вилле Урбах нет никаких легенд. Известно, что она называлась прежде фон Фрейлебен, пока последняя носительница этого имени не вышла замуж за человека без всяких занятий и вовсе не дворянина — Урбаха.

Если бы была нужда, на худой конец можно было бы придумать легенду и о вилле фон Фрейлебен. Но нужды нет.

На север от Трех Монахинь стоят руины капуцинского монастыря. Его сожгла молния в тот момент, когда монахи заманили в монастырский погребок двух красоток из соседней деревни. Все капуцины сгорели дотла. Остались в живых — чудом спасенные — обе деревенские кра-

сотки: провидение сохранило невинность в назидание христианам. Это подтвердили сельчане, которым достались красотки. Тут следует рассказ о том, какая драка завязалась между женихами всей округи из-за этих девушек: каждому хотелось прикоснуться через них к провидению. Но сейчас не время останавливаться на этом рассказе.

Речь идет о том, что у крестьян не было нужды в легендах. До того, как прийти сюда капуцинскому ордену, замок, христолюбиво послуживший смиренной братии, долгие годы был резиденцией владетелей небольшого маркграфства цур Мюлен-Шенау. Предки этого рыцарского рода были когда-то близки Ватикану и дважды снаряжали отряды ко гробу господню. В Тридцатилетнюю войну маркграфы отсиживались в замковых бойницах, как летучие мыши. Потом разбойничали в протестантской Саксонии. Потом тихо чахли. Кардинал Севастьян просил у маркграфов приюта для обнищавшей братии капуцинского ордена. Маркграфы отдали свою резиденцию под монастырь, оповестив об этом акте всех католических государей. К этому времени в замке оставались только мокрицы и пауки.

На запад от Лауше, почти у самого склона ее, угнездился новый замок — меньше, добродушней и моложе руин. Сюда были перенесены предки рыцарей, уступивших капуцинам мокриц и пауков. Здесь хранились реликвии владетельного рода. Здесь рос его последний отпрыск — молчаливый, гладенький, белокурый мальчик Максимилиан Иоганн фон цур Мюлен-Шенау. Он рос под надзором опекуна и на глазах у крестьян — потомков тех, что дважды пытались помочь господу богу, отняв его гроб у неверных.

Вот почему в этих местах нет нужды в легендах. Вот почему, когда смотришь вслед крестьянину, по-лошадиному расставляющему свои ноги, кажется, что на его спине покоится тяжелый груз веков с их рыцарями, государями, кардиналами и монахами. Если бы не эта спина — как знать, лежал ли бы в библиотеке замка — на запад от Лауше — прекрасный позеленевший фолиант: «Геральдика и древо рода владетельных маркграфов фон цур Мюлен-Шенау»?

Что скажешь после этого о вилле Урбах?

Посплетничать, посплетничать — о да!

Непонятный человек этот герр Урбах! Может быть, в

какой-нибудь другой стране он и не остановил бы на себе внимания. Но в Германии, в Германии...

Прежде всего: чем он занимается? Помещик. Хорошо. Но почему он ни разу не заглянул в сыроварню, не осмотрел хлевов, не справился о сенокосе? У него есть управляющий? Хорошо. Неблагоразумно, конечно, доверять большое хозяйство простому служащему, но богатый человек может себе позволить многое. Только почему герр Урбах не принял ни разу отчета от доверенного лица и всякий раз отсылает его к своей жене — фрау Урбах, урожденной фон Фрейлебен? Может быть, герр Урбах государственный чиновник? Член ландтага? Ничего подобного. Может быть, ученый? Но тогда его звали бы профессором. Может быть, писатель? В таком случае это было бы известно каждому жандарму. Просто рантье? Но разве рантье ведет подобный образ жизни? День в вилле, день в городе, день на курорте. По ночам — в горах, в обед спит, а то подряд трое суток не выходит из кабинета. Образ жизни настоящего рантье устанавливается целым консилиумом профессоров. Рантье не живет, а неустанно здравствует. Говорят, что герр Урбах чертит какие-то проекты. Но что это за проекты, никто не знает. Так, одни разговоры.

Нет, герр Урбах непонятный человек. Фрау Урбах никогда не вышла бы за него замуж, если бы... Словом, она была еще фрейлейн фон Фрейлебен, когда у нее родился сын. К тому же она прихрамывает на одну ногу: это у нее с детства. Но она солидная, строгая, добродетельная дама, и не поклониться ей, когда она проезжает по шоссе, как-то неловко.

У них дети. Тот мальчик, появлением на свет которого был неожиданно осчастливлен герр Урбах, и девочка по имени Мари. Странно, как справедлива и сурова судьба. Старший ребенок пошел в мать. Генрих Адольф — конечно, не Урбах,— Генрих Адольф фон Фрейлебен наследник и потомок рода. Мари... Ну что можно сказать об этой девчонке!

Посплетничать, посплетничать — о да!

Спросите любого крестьянина — ее знают во всей округе. Она появляется везде и всюду, и всегда неожиданно, как привидение. Право, плохой знак, если Мари забежит на чужой двор. Непременно после ее появления в хозяйстве случится какая-нибудь беда: захворает лошадь, или сломается жнейка, или — по меньшей мере —

прокиснет молоко. Раз как-то Мари остановилась подле кирки. В это время оттуда выходил органист.

— Здравствуй, девочка,— сказал он.

И тут Мари посмотрела на него такими глазами, что у того сразу засвербило в носу. И что же вы думаете — ведь захворал органист насморком и так расчихался на троичной службе, что только и слышно было с хоров чхи да пчхи!

А один раз заглянула Мари в окошко к форштанду. Тот сидел, разбирал свои бумаги и писал всякую всячину.

— Ух,— говорит Мари,— сколько у тебя бумажек. Неужели ты в них не запутаешься?

— Нет,— отвечает тот,— на то я и форштанд, чтобы не запутаться. А ты пошла отсюда, не мешай.

— Ну,— говорит Мари,— вот и запутаешься!

И убежала.

А форштанд с этого дня такое натворил, что приехал из города чиновник и велел поскорее его убрать.

Не иначе как сидел в девчонке какой-то бес, и родилась она не в добрый час...

Но как нет в этих местах нужды в легендах, потому что легендами оброс здесь каждый камень, так нет нужды и в сплетнях о Мари, потому что рассказ о детстве ее исполнен случайностей и тайн, разгадка которых, быть может, неожиданнее и страшнее всех сплетен.

Мари было три месяца, когда за ней впервые пришла смерть. Герр Урбах привез из города двух докторов, и доктора не покидали виллу Урбах девятнадцать дней. Девятнадцать дней умирал ребенок. Был он тих, почти беззвучен, и только однажды в сутки — по вечерам — вспыхивал жаром, как угли, и медленно остывал за ночь, покрываясь сероватой бледностью, подобной пеплу. Глаза его, по временам ясные, как осенний ручей, вдруг останавливались на отце, и тогда герр Урбах бросался вон из дому и бродил по горам. Доктора совещались, писали рецепты и подолгу что-то объясняли отцу ребенка, потом подымались наверх, в отведенные для них комнаты, и садились за шахматную доску. Нарочные носились с рецептами в аптеки, привозили компрессы, термометры, ванны, потом сидели на кухне и не торопясь подсчитывали, в какую сумму обойдутся хозяину похороны ребенка.

Мари умирала. Это было очевидно не только сторонним людям — врачам и прислуге, но и отцу. Он чаще и чаще исчезал в горах и возвращался крадучись, прислу-

шиваясь к тишине детской. Фрау Урбах ждала конца дочери, не выходя из своей комнаты.

На восемнадцатый день одному врачу прискучило проигрывать в шахматы, и он уехал, обещав прислать из города своего коллегу. На девятнадцатый — другой врач заявил, что ничем не может быть полезен.

И в этот день, вечером, когда помертвевшее тельце ребенка заалело горячей краской жара, в детской раздался плач. Был он короток, беспомощен и с живостью напомнил всем тот жалкий писк, с которым три месяца назад Мари появилась на свет.

— Хорошая примета,— сказала сиделка,— ребенок родился второй раз.

Герр Урбах зарыдал.

— Мне кажется,— сказал доктор, прощаясь,— что, несмотря на затруднительность диагноза, лечение, которое мы применяли, было совершенно правильно.

Час этот навсегда определил собою место, какое заняла Мари в семье: она стала баловнем отца, и ее невзлюбила мать. Конечно, так должно было случиться рано или поздно, потому что в семье рос сын — Генрих Адольф — с фамилией Урбах и с кровью фон Фрейлебен. Но так случилось именно с того часа, когда Мари родилась второй раз.

Ей пошло на пользу козье молоко, которым стали прикармливать ее после болезни. Когда она выучилась хватать и отец надарил ей игрушек, Мари на людях не проявила к подаркам никакого любопытства, и только оставшись наедине в своей коляске, принялась рассматривать игрушки.

Девяти месяцев Мари научилась ходить. Отец случайно видел, как это произошло. Ребенок, окруженный игрушками, сидел на полу. Няня вышла. Посмотрев ей вслед и точно убедившись, что в комнате никого нет, Мари потянулась ручонками к стулу. Кряхтя и тужась, она привстала и начала переставлять непослушные, цеплявшиеся друг за друга ножки. Обойдя вокруг стула, Мари решилась сделать несколько шагов без опоры и двинулась к кровати. Но тотчас упала и стукнулась затылком об пол. Герр Урбах невольно шагнул вперед. Мари с трудом приподнялась, попыталась дотянуться ручонкой до ушибленного затылка и потереть его, не дотянулась, пролепетала что-то себе под нос и осмотрелась. Стул стоял позади нее, кровать — перед нею. Для того чтобы ухватиться за

стул, нужно было сделать два-три шажка. До кровати было дальше. Мари решила достичь кровати. Сначала она встала на коленки. Потом, с большим усилием, подставила коленки под живот и немного отдохнула, стоя на четвереньках. Поднять голову и в то же время оторвать от пола руки было труднее. Мари могла бы с легкостью доползти до кровати на четвереньках, но она решила встать на ноги, и она должна была добиться своего. Одна ручонка оторвалась наконец от пола и заболталась в воздухе. Зато вся тяжесть маленького тела навалилась на другую. Встать было невозможно. Тогда Мари присела, передохнула и начала всю работу сначала. Опять коленки были подведены под живот, опять была сделана передышка, опять одна рука заболталась в воздухе. Но тут неожиданно ножки подогнулись в коленках сами собой, и Мари очутилась на корточках. Тогда она оперлась ручками о колени, натужилась, выпрямилась и, не отнимая рук от коленок, переставила сначала одну, потом другую ногу. Уверившись, что она может передвигаться, Мари выпятила одну ручонку вперед, еще больше выпрямилась и заковыляла вперевалочку вперед, вперед, почти до самой кровати. Затем она оторвала и другую ручку от коленки, всплеснула радостно в ладоши, крякнула по-утиному и упала на постель, вцепившись пальцами в одеяло.

Тогда герр Урбах бросился к ней, поднял ее высоко над головой и что-то прокричал несвязное.

Но Мари, обычно тихая, вдруг расплакалась неудержимо, будто в горькой обиде, что кто-то подсматривал за ней в ее одиночестве.

После этого, как ни приучали Мари ходить, как ни заставляли становиться на ноги, она всякий раз садилась и оставалась неподвижной, как камень,— пока не исполнился ей год и она пошла уверенно без всякой помощи.

КАМЕННАЯ МАРКГРАФИНЯ

Мягкая, прелая хвоя под ногами, ровный строй мачтового леса, обвитые вереском скалы, нагроможденные повсюду горы, развалины замка, долина, подпоясанная полотном дороги, и отлогое, ровное подножие Лауше — детская комната Мари.

Она тяготилась домом, мебелью и самым большим несчастьем в жизни считала зиму. Но и зимой Мари жила

на морозе, на ветру, жила лыжами, катаньем с гор, беготнею и лазаньем по обмерзшим, скользким камням. Бегала и лазила она, как коза, карабкаясь по отвесным скалам, цепляясь за невидимые выступы, быстро и бесшумно. Правду говорили, что она пошла в свою кормилицу — надоевшую всей округе бодатую забияку и скакунью.

Как-то осенью Мари исчезла. Целый день нельзя было ее сыскать, и вечером вилла Урбах забила тревогу. Люди были посланы во все концы. В селе допросили детей, водивших с Мари дружбу. Никто не видал ее.

Темнота бесследно скрыла лес, дороги уходили в ночь, мелкий дождь повис холодными заслонами между гор.

Все село было поднято на ноги. Крестьяне, захватив фонари, разбились на партии и только что двинулись в разные стороны, как с большой дороги примчался вскачь молодой батрак. Лошадь его взмылилась, сено в телеге растрепалось, сам он обливался потом, дрожал и долго не мог рассказать толком, что с ним произошло.

Оказалось, что, когда он, проезжая по шоссе, миновал Трех Монахинь, на него внезапно обрушился страшный шум. Парню почудилось, что горы сошли с места и нечистая сила захохотала и залаяла ему вослед. Лошадь понесла, и он насилу удержался в телеге, поминая господа Иисуса и все молитвы, каким его научил патер. А позади него — свист, скрежет, гогот, лай. Видно, сам Вельзевул справляет нынче день своего рожденья.

Не так-то просто было доискаться людей, которые согласились пойти ночью к Трем Монахиням. Герр Урбах сам возглавлял отважных крестьян. Хорошо же знал он свою дочку, если сразу решил, что ей негде быть, кроме как в гостях у дьявола!

Надо было послушать, какой концерт задал он в этот проклятый вечер! Кругом по лесам катился треск и грохот, точно гроза палила и бросала наземь сосны. Горы гудели и стенали, чудовища разворачивали их грудь когтями. И ко всему этому — ночь: глаз выколи, ничего не видно, и фонари, того и гляди, затухнут от дождя. Кому наплевать на спасение души своей, тот полезет, пожалуй, к Трем Монахиням и в такую ночь.

Молодцам хватило отваги ровно до полотна дороги Перевалить его и выйти на шоссе наотрез отказались. Герр Урбах выбрал получше фонарь и пошел к скале в обход. Не успел он перейти шоссе и обогнуть Трех Монахинь, как шум внезапно стих. С вершины изредка скаты-

вались ломкие звоны мерно потряхиваемого железного листа. Эхо не откликалось здесь и одного раза.

Герр Урбах крикнул:

— Мари!

— А-а! — донеслось в ответ.

— Я жду тебя внизу!

— И-ду-у!

Слышно было, как звякнуло о камни и загудело железо. И постепенно, миг за мигом, покойное и ровное улеглось в горах безмолвие.

Мари, быстро скользя по мокрым камням, помятая, обсыпанная блестками дождевых капель, появилась в желтом кругу фонарного света. Она приложила ко рту палец и, как заговорщица, покачала головой:

— Только ты, папочка, никому не говори, что это — я. Жесть осталась там, наверху. Завтра я приду сюда опять и принесу с собой еще лист.

— Завтра ты будешь весь день в комнате.

— Нет, папочка, мы придем сюда вместе. Ты непременно должен посидеть наверху, у самых ног Монахинь.

— А ты посидишь на запоре, сказал я.

— Ах, какой ты! Я же говорю тебе: там так страшно, что нет сил удержаться. Ты непременно свалишься от страха вниз!

Она рассмеялась, схватила отца за руку и побежала впереди него вприпрыжку, будто не он вел ее домой, а она его.

Это была последняя проказа, которая не оставила на Мари никакого следа.

Весной она начала приглядываться к своим деревенским друзьям. Надо было испытать их верность, выбрать самых надежных, решительных, молчаливых и стойких. Только на троих можно было положиться с легким сердцем. Это были тринадцати-четырнадцатилетние мальчуганы, широкоплечие, крепкие и, как на подбор, с такими круглыми, большими глазами, что, когда Мари рассказывала страшные истории, ей казалось — глаза эти вот-вот выскочат наружу и укатятся. Конечно, у таких ребят хорошо работала голова, и они умели держать язык за зубами. К тому же они слышали кое-что о каменной маркграфине, похороненной много сот лет назад в замке. Их нетрудно было уговорить предпринять таинственные раскопки в монастырских руинах: они сами тормошили Мари и давным-давно придумали, кто куда убежит, когда

разыщутся в замковом подземелье сокровища маркграфини.

Не всякий ухитрился бы обставить как следует такое тонкое дело, как розыски клада.

Мари знала, что нужно делать.

Однажды она привела своих друзей в кабинет отца. Из шкафов и с полок на ребят посыпались книги, карты и планы.

— Вот! Смотрите! Здесь написано по-английски: четыреста лет назад маркграфы открыли в своем фамильном склепе окаменевшую маркграфиню. Когда попытались снять с нее драгоценности, крышка гроба сама захлопнулась наглухо, и открыть ее оказалось невозможно... Вот вам документ. Здесь по-немецки. Вы сами умеете читать по-немецки: «В тысяча пятьсот шестидесятом году маркграфы передали свой замок капуцинскому ордену». Видите? Читайте: капуцинскому ордену.

Нечего было возразить: черным по белому значилось: капуцинскому ордену. И год. С необыкновенной точностью: 1560-й год.

— Дело верное,— сказал один сообщник.

- Ага! — проговорила Мари, и все испугались.

— Дальше, вот в этой книге. Видите, здесь и картинка: старый замок цур Мюлен-Шенау. И написано, что гроб с графиней стоит под развалинами до наших дней. Понимаете?

Все, конечно, отлично понимали. Да и нельзя было не понять, когда Мари обнаружила перед сообщниками необычайную ученость, читала не только по-английски, но и по-голландски и даже по-американски, разворачивала какие-то рыжие листы, громадные папки и расцвеченные карты. Вот когда было отчего выскочить глазам!

— Теперь за дело! — прошептал один сообщник.

— Ну, нет,— заявила Мари,— я теперь займусь изучением.

Слово это прозвучало торжественно, и все согласились, что без изучения приступить к делу нельзя.

— Кто это рылся сегодня в моих папках? — спросил герр Урбах вечером.

— Что ты, что ты! — испугалась Мари и пригнула голову отца к своим губам.— Это все манускрипты, раскрывающие тайну...

- Тебе надо бы заняться не тайнами, а арифметикой.

Но тайна была раскрыта.

Тайна была раскрыта в лесу, неподалеку от руин, и заключалась в плане, на котором рукою Мари были помечены все подземные ходы старого замка, место, где нужно было произвести раскопки, и усыпальница каменной маркграфини. В этот день вера в подземные сокровища обернулась в уверенность.

— Клянитесь, повторяйте за мною каждое слово,— подняв руку, шепнула Мари.

И заговорщики произнесли:

— Клянемся, что никому на свете не откроем своей тайны. Клянемся, что будем работать, пока не найдем каменную маркграфиню. Будем работать, как звери. Будем работать, как быки. Пусть нас жгут огнем и пытают железом. Клянемся, что ни одним звуком не выдадим друг друга. Клянемся, что, как братья, без ссоры, разделим клад. Клянемся, что достанем лопаты, фонарь и веревку. И будем слушаться во всем Мари. Аминь.

— Подождите,— сказала Мари, когда клятва была произнесена,— конец мне не нравится, и надо повторить.

Все еще раз подняли руки и проговорили:

— И будем слушаться во всем и всю жизнь Мари. Клянемся, клянемся, клянемся. Аминь.

— Вот теперь хорошо. Можно приступить к делу.

И к делу приступили.

Первое восхождение на руины ограничилось обследованием местности. Был найден уступ, засыпанный землей, покрытый мхом, крутой и высокий. Решено было, что это — вход в подземелье.

Со следующего дня приступили к раскопкам. Работа длилась три дня. По утрам, когда еще горели на кустах стеклянные росинки, трое заговорщиков, выкрав в отцовских сараях заступы, крались к развалинам, каждый своим путем. Там, встретившись и обменявшись угрюмыми взглядами, избирали одного для караульной службы. Двое принимались копать. Земля была рыхлой, корни и пни, попадавшиеся на лопату, рассыпались в труху от легкого удара, каменьев не было, и работа шла споро. Когда солнце подымалось высоко над Лауше, и до караульного долетал условный свисток, Мари несла приятелям завтрак. Это было лучшее мгновение из пережитых искателями клада. Ах, какие вкусные вещи водились в буфетной комнате виллы Урбах! И какой аппетит разыгрывался у землекопов часам к десяти утра! Из-за одного эдамского сыра стоило поворочать лопатой!

Мари спрашивала своих друзей, как офицер — солдат, со всех сторон обходила разрытый уступ, стучала лопатой об землю и прикрикивала:

— Слышите, как гудит?

— Гудит, у-у-у! — отзывались заговорщики.

— Скоро докопаемся.

— Докопаемся!

Странно, что действительно докопались.

На третье утро, когда после завтрака взялись за лопаты, ров вдруг осыпался под ногами в яму. Отпрянули в страхе назад. Переглянулись. Попробовали осторожно копнуть землю около провала. И радостный, испуганный, какой-то птичий испустили вопль: земляные комья, посыпавшись в яму, глухо ударились о твердое невидимое дно подземелья.

— Веревку! — скомандовала Мари, выбирая в куче разрытой земли остробокий камень.

Все, что совершилось затем, произошло, как на корабельной палубе,— коротко, отчетливо и гладко.

Из камня и веревки был сделан отвес. Отвесом измерена глубина ямы. К яме подкачено сухое дерево и перекинуто через провал. На одном конце веревки завязана петля, другой прикреплен к перекладине.

Мари залезает в петлю, берет в руки фонарь и кидает торжествующий взгляд на друзей. Личико ее пышет решимостью, рот приоткрыт, и хищно, неровно подергиваются губы. Она садится на перекладину, она свешивает ноги в яму, она отдает команду:

— Спускайте!

Ребята упираются ногами в землю, натягивают веревку. Мари спрыгивает с дерева, и голова ее — вычеканенная на черном разрезе рва — исчезает под землею. Веревка вздрагивающей струной уползает в яму, молодцы впиваются глазами в зияющую тьмою дыру и перехватывают дыхание с такой же боязливой осторожностью, с какой дрожащие руки перебирают веревку. Но вот она ослабевает, болтается в воздухе, падает, и из-под земли придушенно, чуть слышно долетает:

— Подите сюда!

И когда заговорщики свешивают головы над провалом и глаза их различают в глубине мерклое пятно фонаря и расплывшееся в страшной бледности лицо Мари, они опять слышат придушенный чужой голос:

— Подземелье! Спускайтесь вниз, захватите лопаты. Я пойду вперед.

Они видят, как бледное лицо исчезает под землею и мерклый свет разжижается, тухнет, пропадает во тьме. Тогда они вытягивают из ямы веревку, отходят в сторону и начинают решать, кому спускаться в подземелье.

И в этот миг земля содрогается под ними, и по горам, от вершины к вершине, перекатывается грузный стон: подрытый уступ уполз в землю, и на месте ямы, поглотившей Мари, распахнута глубокая пасть обвала.

Еще один миг — и заговорщики бросаются врассыпную. Слышно, как за руинами, в разных сторонах, похрустывают сучья и осыпаются мелкие камни. Дальше и дальше.

Тихо.

Так во второй раз пришла за Мари смерть...

Клятва, принесенная искателями клада, не была нарушена. Правда, их не пытали железом и не жгли огнем, потому что забытые у раскопок лопаты без запирательств предали всех сообщников, но на долю их выпали горькие часы. И как знать, что было горше: отцовские ли кулаки, испробованные с давних пор, или утрата сокровищ, мечта о которых рассеялась с первой вечерней зарей?

Потому что, когда вечером — через десять часов после обвала — крестьяне докопались до катакомб и Мари расплакалась на руках отца, первыми ее словами были:

— Маркграфини там нет...

Беспомощным угольком тлел фонарь, с которым Мари опустилась в подземелье. Она впилась в него обеими руками. Лицо ее было землисто и строго. Слезы катились по нему медленными струйками.

— Глупая, глупая,— проговорил герр Урбах,— надо было сначала спросить меня: маркграфиня лежит в новом замке.

Так в третий раз родилась Мари.

Это совпало с ее тринадцатым днем рожденья, и этому совпаденью крестьяне приписали перемену, происшедшую с Мари.

Она стала молчаливой, медлительной, в движеньях ее исчезла резкость, она все еще оставалась ребенком, но черты взрослого готовы были поглотить в ней все детское. Она отталкивала от себя всех, кто с ней встречался. Особенно в глазах ее пугало какое-то недоброе упрямство,

и одна мысль — жесткая и неспокойная — постоянно холодила ее взор.

С тех пор и пошла про Мари молва, что от нее недалеко до самого дьявола и что лучше не попадаться ей на дороге. Тогда, именно тогда, приключился у форштанда необъяснимый случай с бумагами, а почтенный органист прочихал по милости девчонки всю троичную мессу.

Старый кучер, перерезавший на своем веку множество кур, гусей и уток, вдруг отказался исполнять обязанности бойца. Стоило хорошенько потеребить его на кухне, как он рассказал, что случилось с ним в сарае, когда он в последний раз собрался заколоть гуся. Только что он приладился у стула и, зажав гуся между колен, замахнулся тесаком над гусиной шеей, как к нему подбежала фрейлейн Мари и объявила ему о своем желании зарезать гусака собственноручно. Да, да, собственноручно! Каково было ему это слышать? Конечно, он отговаривал ее, упрашивал, пригрозил даже нажаловаться. Не тут-то было! Мари схватила гуся за шею и заладила свое: дай да дай. В конце концов она чуть не вырвала у него тесак и ударила им по гусиной шее. Отрубить гусаку голову ей не удалось, но кровь хлынула рукавом, и гусь вырвался у кучера из рук. Птица была крупная, сильная. Два-три взмаха крыльев — и она взвилась под крышу и заметалась вдоль и поперек сарая, натыкаясь на стропила, косяки, изрыгая стонущий хрип. Вся она окровенилась, и кровь тяжелыми черными каплями скатывалась с нее на земляной пол.

А Мари неподвижно стояла у притолоки и каким-то мертвым, остылым взглядом следила за издыхавшей птицей. И когда кучер приметил этот взгляд, он опрометью бросился из сарая. Вспомнить о глазах Мари или пойти в сарай, где он увидел их, ему было жутко. А заколоть птицу теперь он просто не мог.

Вскоре после истории с гусем Мари похитила любимую кошку Адольфа.

Ах да, Генрих Адольф. Но говорить о Мари — значит ничего не сказать о ее старшем брате. Они жили розно, враждебно, в разных комнатах, на противоположных половинах. У них были разные учителя, разные радости и разная нелюбовь. Мари — дочь Урбаха, Генрих Адольф — сын фрау Урбах, урожденной фон Фрейлебен. Их соединяли только имя и столовая. Столовая больше, чем имя. Они были чужими.

Адольф, постоянно нянчившийся с животными, сразу заметил исчезновение своей любимицы — выхоленной, жирной ангорской кошки.

Во всем доме захлопали двери, голоса раздавались по переходам и коридорам, сама фрау Урбах, приподымая своей палочкой с резиновым наконечником чехлы и покрывала, заглядывала под мебель и кровати. Адольф с визгом и хныканьем, топая ногами, носился из одной комнаты в другую и наконец отважился на вылазку в отцовскую половину виллы. Там, крадучись и затаив дыханье, он подобрался к комнате Мари и, поколебавшись у входа, изо всей силы распахнул дверь, влетел в комнату и остолбенел.

На кронштейне стенной лампы, у изголовья кровати, повешенная за горло, поджав хвост и распушив на спине длинную мягкую шерсть, покачивалась кошка. Лапки ее дергались, над ощеренными зубами вздрагивали, точно от щекотки, блестящие жесткие усики, и живот судорожно запал до позвоночника.

Адольф не видел Мари. Он кинулся к кошке, приподнял ее и принялся теребить врезавшийся в шею, запутанный шерстью шнурок. Он задыхался — красный, мокрый от слез,— шипел какие-то проклятия, от нетерпения топал ногами и расплескал стоявшее на полу блюдце с молоком. Потом он пронзительно закричал: кошка, отдышавшись, впилась в него когтями. Сбежалась прислуга.

Мари нигде не было...

Вечером она стояла в кабинете отца и исподлобья следила за ним влажными острыми глазами, словно ожидая нападения, готовая к нему, вся съежившаяся, маленькая, похожая на зверька.

Герр Урбах шагал из угла в угол, теребил коротенькую свою прическу, похлопывал себя руками, будто отыскивая что-то по карманам, и стонал, выдавливая через силу:

— А-а-а!

Он в третий раз остановился перед Мари, всплеснул руками, спросил:

— Что с тобой, что с тобой, Мари?

Она высоко вздернула остренькие плечи и, не опуская их, в страшном изумлении воскликнула:

— Ведь я говорю тебе, что отпоила бы ее молоком, эту отвратительную кошчонку!

— Но зачем ты сделала такую гадость?
— Хотела посмотреть, как она будет умирать...
— Боже мой!
Герр Урбах упал в кресло. Руки его повисли как плети, он уставился невидящими глазами на абажур, сидел долго, беззвучно, не шевельнув ни одним пальцем, не двинув бровью,— думал.
Фрау Урбах рассказала ему не только о кошке Адольфа. Ей было известно также происшествие в сарае. Она знала о проделках Мари в саду, кровожадных, отвратительных. Она настаивала, требовала, приказывала, чтобы Мари была отправлена куда-нибудь в интернат, в приют наконец,— есть же такие заведения для малолетних преступников! Невозможно же воспитывать Генриха Адольфа в обществе дегенератки!
— Молчать! — крикнул тогда герр Урбах.
Закрытые, занавешенные двери, окна, стук резинового наконечника по полу, вопли, упреки, угрозы, унизительная, бессмысленная, вызывающая тошноту истерика. Да, да, истерика с добродетельной, солидной и строгой фрау Урбах.
Мари, забившись в уголок, молча наблюдала за отцом.
Он встряхнулся, отыскал ее взором и переменившимся — почерствелым, сдавленным — голосом произнес:
— Что делать, что делать, Мари. Я всегда желал тебе добра, был твоим другом. Что делать.
Он встал, постукал кулаком по столу.
— Осенью ты поедешь в пансион.
Он обернулся к дочери лицом.
— Я ведь никогда не стеснял тебя. Теперь... так будет лучше... Ступай к себе.
Мари вышла из засады, неуверенно двинулась к выходу. Уже открыв дверь, она остановилась, взглянула на отца. Он опять стоял к ней спиной. Легко и порывисто бросилась она к нему, замерла подле кресла, осторожно дотронулась до пиджака, прошептала:
— Покойной ночи.
Он, не шелохнувшись, повторил:
— Ступай к себе.
Тогда она круто, почти подпрыгнув, повернулась, с разбега хлопнула за собой дверью и умчалась по коридорам.
До поздней ночи она пролежала в постели, не разде-

ваясь, упершись локтями в подушку, глядя под стол, где в куче, на спинах, животах, вниз головами торчали и валялись давно заброшенные негры, ослы, беби, медведи и павианы. Мари все ждала, что бибабо-мартышка повернет к ней свою морду и пожалеет:

— Бедная Мари!

Но бибабо молчала.

Фрау Урбах сидела за рукодельем, когда к ней вошел муж. Он протянул руку и тихо сказал:

— Простите, что я был резок и груб. Я решил поступить с Мари, как вы советуете...

— Это вполне благоразумно,— ответила фрау Урбах и вложила кончики своих пальцев в руку мужа.

Герр Урбах, поцеловав жене пальцы, опустился рядом с ней на диван. Дом погружался в безмолвие. Больная нога фрау Урбах покоилась на расшитой бисером скамеечке. Костяные крючки мягко шевелились, сдерживаемые пушистой шерстью вязанья. Герр Урбах пристально вглядывался в твердый, облитый бледным светом профиль жены.

— Как вы жестоки,— сказал он,— как жестоки!

— Уйдите отсюда,— отозвалась она, помолчав.

Он встал и хрустнул пальцами.

— Я сделал бы это без вашего приглашения...

Бибабо молчала. Нижняя челюсть мартышки бесчувственно задрала вверх реденькую седую бороденку, и желто-красный янтарный глаз жарко таращился на луну, глядевшую под стол, в игрушки. Ни одного движения, ни одного звука из всей кучи живых — конечно, живых — душ и сокровищ.

Бедная Мари!

Она вскочила, выхватила из-под стола бибабо и, стукнув ее головой о подоконник, швырнула в сад.

— Глазей там на свою дуру луну!

Потом опустила шторы, и темнота видела, как на постели дергалось что-то закутанное в одеяло.

Утром Мари разбудил отец:

— Вставай. Хочешь поехать на море?

Она подпрыгнула на кровати, одеяло скатилось с нее; жаркая от сна, порозовелая, всклокоченная, она сжала отца со всей силой цепких рук и пахнула ему в лицо:

— Я на тебя не сержусь. Я знаю, что пансион выдумал не ты. Ведь правда — не ты?..

ШАГИ СТАНОВЯТСЯ ТВЕРЖЕ

Простор, простор и свет.

Ветер несет жгущий, колючий песок с юга на запад, с гладкой желтой доски берега в море. Медлительные гребешки низеньких волн приглаживают покойную воду, забегают на песок, взбивают его буклями, расчесывают, красят чем-то красным и прозрачной слюдяной пеленою катятся назад в море. Красная полоса на песке розовеет, наливается желтком, исчезает.

Облака переворачиваются с боку на бок, потягиваются и застывают: смотрятся в море. С неба падает густая синева, все быстрей и быстрей мчится, рябит несчислимой синей дробью, и рябизна дроби, беззвучно отскочив от воды, несется вверх, к облакам, выше их, в бездонь синевы, в небо.

Гладкая желтая доска пляжа упирается далеко в горизонт, и туда бежать, бежать, бежать — нет сил и нет конца. Из-за сияющей черты, странно далекой — как хватает человеческого глаза? — черты, может быть моря, может быть неба, против ветра, в промежутки между порывами его, веют запахи какой-то смолистой и соленой коры, а вот — рыбы, вот — свежего, парного молока.

Зажмуриться и закружиться на одном месте, а потом погадать, какой цвет увидишь, если лицом к морю откроешь глаза,— не угадать ни за что. Сизый, голубой, стальной, синий, а где-то пятно серого, вон бирюзовый, вон зеленый.

Мчаться по пляжу, запрокинув голову, взметнув вверх руки или распахнув их, как для объятья, едва касаясь голыми ногами накаленного песка, подставляя все тело колючим его иглам, брошенным ветром, который жжет, прожигает до самых костей. В ушах — медные вздохи воды, где-то за глазами, в голове, в глубине ее — возмущенной, горячей — немеркнущие искры, пламенеющие полосы и нити света.

В полдень Мари шла берегом, по самой кайме набегавших на пляж тихих волн. Под ногами мягко подавался напоенный теплой водою песок, и ступни выдавливали вокруг себя неглубокие впадины, которые мгновенно белели и затем тотчас наполнялись густой темной влагой. Расчищенный, убранный цветными кабинками пляж давно остался позади. Все ближе к воде забирались кудрявые темно-зеленые кусты. Подле трех ракит лежал пре-

лый полуразбитый остов парусника. Там, где ребра его упирались в песок, ползла жирная, приземистая трава, и на ней ярко краснело широкое пятно.

Мари подобралась к нему, неслышно ступая по песку.

Под ракитой, в красном купальном костюме, сидел белокурый мальчик, согнутой спиной — к морю. На песчаной плешинке, между протянутых ног, он мастерил что-то из ракушек, наклонив голову, почти не шевелясь и ничего не замечая вокруг.

Мари подошла к нему настолько близко, что ей видно было, как его руки — худые и белые, точно песок,— перебирали раковины и перед ним, причудливые, вырастали гроты, крепости, бастионы. Она долго стояла за спиной мальчика и потом крадучись ушла, не выдав себя ни одним неосторожным звуком или движением.

У моря Мари набрала раковин: они лежали волнообразной полосой вдоль берега, в немногих шагах от воды, высушенные солнцем, выветренные, сухие. Но соорудить из них что-нибудь, хотя бы самое простое, Мари не удавалось. Ракушки рассыпались у нее в руках, сползали друг с друга, скатывались, и никакими уловками нельзя было сцепить их в целое и заставить держаться. Мари затоптала раковины в песок.

Потом она вернулась к ракитам и подобралась к мальчугану. Крепости обнесены были скалами, от бастиона к бастиону тянулись дорожки красного гравия, гроты тонули в траве. Это был целый мир!

И вот — раз-два! — скачок в самую середину этого мира, быстрыми ногами — в гроты, в крепости, бастионы, потом в стороны — песок, траву, ракушки — с хрустом, шумом — и отчаянный крик.

Мальчик отбежал, обернулся. Вскрикнул он от испуга — не оттого, что жалко было мастерское сооружение из раковин; и теперь, стоя в отдаленье, удивлялся своему испугу. Мари, разглядев его, заложила за спину руки и ждала. Она ждала сопротивления, слез, защиты мальчугана, занимавшегося, будто девчонка, такими ничтожными пустяками, как игра в ракушки. Но — странно — перед ней стоял юноша,— она только теперь разглядела, как он был велик, силен и спокоен,— не помышлявший ни о слезах, ни о защите. Он смотрел на Мари остановившимся взглядом широких светлых глаз, чуть-чуть открыв рот, и молчал.

На секунду Мари показалось, что когда-то она видела

его лицо. Она пристальней всмотрелась в него и вдруг вспомнила, что она голая, что она убежала в море, не надев костюма, что он — этот юноша — первый человек, которого она встретила, выбежав из кабинки, и что ее отделяют от него только свет и воздух. Она выдавила сквозь зубы приготовленные раньше слова:

— Попробуй тронь!

Но юноша не двигался — все так же смотрел на нее остановившимся взглядом, и взгляд этот охватывал ее всю с ног до головы.

Тогда Мари бросилась к морю...

Светлые широкие глаза она увидела потом в вокзальном туннеле шумного города — когда с отцом возвращалась домой,— и ей стало непонятно весело и страшно. Глаза не столкнулись с нею — встреча была мимолетной,— но она успела рассмотреть, что над ними нависал глубокий козырек военной фуражки. Всю дорогу неотвязно хотелось вспомнить, где впервые попалось лицо с чуть-чуть открытым ртом и этим остановившимся светлым взглядом. И вот, когда уже промелькнули знакомые сосны, когда поезд осмотрели свысока нахмуренные Три Монахини и маленький локомотив рассерженным воробьем чирикнул у почерневшей станции,— вот тогда лицо с чуть-чуть открытым ртом вдруг очутилось перед нею.

Гладенький белокурый юнкер подошел к Мари, щелкнул каблуками и сказал, бледнея и торопясь:

— Мы, кажется, знакомы... на пляже...

Мари вспыхнула, схватилась за руку отца.

— Я здешний, Шенау... мы соседи...

Мари взглянула на отца, быстро отдернула от него руку и спросила:

— Из замка... там, за Лауше?

— Да, на запад...

Мари решительно шагнула вперед.

— Скажите, маркграфиня, каменная маркграфиня...— У ней захватило дыханье, она не могла докончить.

— Да, в новом замке. Хотите посмотреть? Приходите.

Герр Урбах подошел к круглому пожилому человеку, стоявшему поодаль от юнкера, и приподнял шляпу...

Как прошли два дня, протянувшиеся вечностью между закопченной станцией в горах и лесными просеками

на запад от Лауше? Как сдвинулись и полетели часы, стоявшие неподвижно днем и ночью? Как настал конец медленной муке, когда каждый миг должно что-то случиться, каждое мгновенье может раздаться чей-то оклик и в каждой секунде кроется какой-то вопрос?

Но конец настал, и тогда мгновения, минуты, часы понеслись наперегонки с ногами по просекам, мимо рыжих сосен, в запахе смолы и хрусте мягкой хвои.

— Пришли? — спросил светлоглазый юнкер, и Мари показалось, что он поперхнулся от испуга.

— Не бойтесь,— подбодрила она,— прямо туда, к ней...

Замок был тих, в парке, где поджидал Мари юнкер, вдоль старых стен лежали горки осыпавшейся извести, проросшей травой, двери и проходы были низки, звуки шагов разбегались по сторонам и вырастали в гул где-то глубоко в стенах.

— О, вот это настоящий замок! — проговорила Мари.

Но жилые комнаты были почти такими же, как в вилле Урбах,— только повсюду висели картины в тяжелых темных рамах да узкие окна крали и глушили свет. И Мари заторопилась:

— Ну, скорей, скорей!

И вот наконец Мари идет сводчатым коридором, с лампой в руках, по твердым крутым ступеням, между каменных сырых, холодных стен.

— Направо,— слышит она голос своего спутника, и ей кажется, что он страшно далеко от нее, хотя дыхание его здесь — за спиной, совсем близко.

— Нагнитесь пониже, сейчас...

Железная, полукруглая наверху дверь, ржавый засов — без замка, без секрета,— ноющие петли, тяжелые, непослушные створы и глубокий спуск без ступеней.

— Прыгайте. Видите пол? Теперь налево, вон третья...

— Что третья?

— Третья гробница отсюда. Эти две, каменные,— так, пустые. Под ними гробы, в земле. А это — гроб.

— Настоящий?

— Да. Сейчас сдвину крышку.

— И тут — она?

— Вот увидите...

Крышка приподнимается легко, скользит, обнажает изголовье, ложится с звонким стуком поперек гроба.

— Ну, смотрите.

Мари делает шаг, другой, протягивает перед собой как можно дальше лампу, тянется через громоздкую крышку.

В гробу, окруженная мелкой трухой,— в трухе, как в подушке,— лежит безволосая голова. Лицо бледно-желто в свете немощной лампы, веки глубоко ввалились, нос почти прозрачный, прямой, с легкими округлыми крылами ноздрей, рот полуоткрыт, и зубы — ровные, молодые — не блестят, а матово желтеют, как лоб, как подбородок, как хорошо изогнутая, чуть прикрытая трухой шея.

— Ей было всего восемнадцать лет,— говорит юнкер,— как мне...

Мари оглядывается на него — он стоит за ее плечами — его лицо бледно, даже бледно-желто, как у маркграфини, и рот — рот его полуоткрыт, а зубы точно так же...

Мари опять глядит на стынущее в желтизне огня окаменелое лицо.

— Красивая,— шепчет она.

— Ее давно показывают, если кто хочет. Вот смотрите.

Юнкер сует руку в гроб, вынимает из трухи молоток на длинной обточенной ручке, постукивает им по голове маркграфини. Голова отзывается на удары кратко и глухо, и молоток мягко падает и тонет в трухе.

— Совсем как камень.

В темноту уползает ряд низких каменных надгробий, черный свод яйцом навис над усыпальницей, рыцари, дворяне, маркграфы безмолвствуют в вековой сырости камня и земли.

— А сокровища... вы их сняли с нее? — шепчет Мари.

— Никаких сокровищ не было... давно не было... Что это? Он, кажется, улыбнулся? Нет, это испуг скривил его лицо. Чего он испугался? Как он бледен! Он бледнее, конечно бледнее маркграфини. У него остановились глаза, он почти не дышит. Что с ним, что? Он протягивает руки к Мари, он обнимает ее, полуоткрытый рот его совсем близко к ее губам, он...

— А-а-а!

Мари бьет изо всех сил в грудь, лампа дрожит и мигает у ней в руке, она поворачивается, отбегает к выходу, к железным створам высокой двери, выбирается

в коридор, бежит, бежит. У поворота, который разветвляется в обе стороны, Мари останавливается: ведь он остался в темноте; там черно, как... тогда, под землей,— он не найдет выхода... смешной! И она хохочет и кричит:

— Ау-ау, гоп-гоп!

Потом он молча ступает впереди нее, покорно неся лампу, подолгу освещая всякий уступ, поворот и порожек. У выхода в парк Мари говорит:

— Я пойду одна. Прощайте.

А из парка, когда уже скрылись обсыпавшиеся, оплаканные известкой стены, кричит:

— Ау-ау, гоп-гоп! Ау!..

И хохочет, хохочет, как будто предчувствуя, что этот смех — надолго, что вечером, дома, отец ей скажет:

— Мари, послезавтра — в Веймар, к мисс Рони.

— Так, значит, правда? — воскликнет Мари.

— Что делать, что делать, Мари,— скажет герр Урбах и закроется в своей комнате...

ПАНСИОН МИСС РОНИ

Пансион занимал просторный дом, обнесенный высокой чугунной оградой в золоченых остриях и с каменными шарами на воротах. От входа через сад к дверям вели дорожки из бетонных плиточек, прочно уложенных, блестящих от горячей воды и щеток. Аллеи сада ровно усыпались гравием; утыканные вперемежку желтые и синие железные дужки кружевными поясками обнимали клумбы и газоны; на выструганных палках, воткнутых в клумбы, разноцветными солнцами сияли глазированные шары; гном с тачкою в руках лукаво смеялся, задрав голову и прочно врывшись глиняными башмаками в подстриженный дерн.

Дом стоял статно, разглаженно и застегнуто, блестя на солнце, как шуцман — пуговицами, медью и никелем оконных ручек, замков, начищенной чашкой звонка и массивной доскою на двери:

ПАНСИОН МИСС РОНИ
для благородных девиц

На раме ближнего к входной двери окна, в железном зигзаговидном держателе, горело зеркальце, направленное на подъезд. За окном с зеркальцем, мрачно задрапированный и всегда молчаливый, таился кабинет мисс Рони. Рядом с ним простирались другие комнаты ее квартиры, в дальнем углу — учительская, через коридор — помещения для прислуги, кухня, кладовые и карцер. Верхний этаж был занят классами, гимнастическим залом и просторным дортуаром.

Распорядок жизни пансиона был установлен мисс Рони раз навсегда, и был он так же прямолинеен, тверд и точен, как чугунная решетка, как замки на окнах, как дорожки и глазированные шары в саду. Каждый человек, вступавший в пределы владений мисс Рони, ходил только по начерченной директрисой ясной и ровной линии, садился на отведенных ему стульях, вздыхал в указанных заранее местах и улыбался в предусмотренные минуты. Здесь не было послаблений ни для кого. Учитель английского языка и кухарка, классная дама и садовник, сама директриса и преподавательница танцев несли разный труд, но подчинялись одному непреклонному режиму. Перед уставом пансиона благородные девицы не были равны горничным, которые убирали за ними спальню, но нарушение устава каралось с одинаковой строгостью и для пансионерок и для горничных.

— Фрейлейн,— говорила мисс Рони провинившейся воспитаннице,— вы ошибаетесь, если думаете, что, выведенная из терпения, я отошлю вас к родителям. Подите к классной даме и скажите, чтобы она заперла вас в карцер на три часа.

Мисс Рони находила, что пансион благополучен только тогда, когда весь его строй отражает до полного сходства ее образ жизни.

Мисс Рони, встав, принимала прохладную ванну, делала гимнастику, растиралась полотенцами, надевала рабочее платье, читала молитвы и приступала к занятиям. И она требовала, чтобы все, кто жил с нею под одной крышей, встав, делали — за недостатком ванн — обливания, гимнастику, растирались полотенцами и читали молитвы. Даже садовник — старик лет шестидесяти — уверял мисс Рони, что по утрам занимается по системе Мюллера и меняет белье точно, как ему предписано,— по средам и субботам. Женскую прислугу мисс Рони могла проверить лично, и обмана здесь быть не могло. Мужчин

же, кроме садовника и учителей, приходивших в пансион на уроки, то есть после гимнастики и обтираний, в доме не было.

Двадцать воспитанниц — всегда двадцать, не больше и не меньше — находились под неустанным наблюдением директрисы; и ничто не могло быть утаено от нее, как ничто происходившее у подъезда не могло не отразиться в зеркальце, прикрепленном к окну кабинета мисс Рони.

По обеду, танцам и молитве учителя проверяли часы, и казалось, само солнце присматривалось к загородным экскурсиям и прогулкам пансиона мисс Рони.

Дважды в зиму пансионерки ходили в дом Гете, и перед тем мисс Рони читала в классе отрывки из его биографии, соглашаясь, что имя этого человека можно произносить рядом с именем Шекспира.

Осенью и весною ездили за город, и тогда мисс Рони подозрительно прислушивалась к тому, что говорил учитель естествознания об опылении растений.

Раз в месяц совершалось гулянье по городу. И каждую неделю посещали кирку, где слушали проповедь и подтягивали органу.

Ежедневная прогулка делалась в саду, по аллеям и дорожкам, вдалеке от решетки, вокруг улыбавшегося гнома и сиявших шаров на клумбах, и длилась три четверти часа. Шли парами, неторопливо, без оглядок, кружась и проходя десятки раз одну и ту же точку, и спереди выступала классная дама, вытянув шею и сложив на животе руки, а позади припечатывала к гравию негнувшиеся подошвы мисс Рони.

— Фрейлейн, — говорила она, называя воспитанницу по имени,- остановитесь. Я заметила, как вы оторвали от тополя ветку и бросили ее на газон. Вы совершили, таким образом, два дурных поступка. Назовите их. Во-первых...

— Во-первых, я оторвала от тополя ветку...

— И во-вторых...

— И во-вторых, я бросила ветку на газон...

— Больше вы ничего не должны сказать?

— Простите, мисс Рони.

— Поднимите ветку с газона и отнесите ее в мусорную корзину.

О, воспитательная система, применявшаяся мисс Рони, признавалась не одними педагогическими авторитетами, но обществом и даже высшим светом. Она была

безукоризненна, эта система, и это отлично понимали пансионерки.

Это отлично поняла Мари, когда, одевшись в перелину, нарукавники и передник, вдруг потеряла свое лицо, свой голос, даже свой взгляд, и в ее памяти внезапно скользнули туманные, заслоненные болью, будто никогда не бывшие монастырские руины, вершина Лауше, на которую карабкается солнце, остробокие скалы, наваленные по гребням гор, как ломаная мебель, мрачная усыпальница маркграфов — и в ней бледное, испуганное, просящее лицо с чуть-чуть открытым ртом.

С этой минуты Мари ощутила до физического неудобства железный корсет, в который была вправлена жизнь пансиона и в который вправляли теперь ее. И она почувствовала, что ее детство прошло. Она всмотрелась пристальнее в формы, составлявшие обиход пансиона, попробовала шевельнуться влево и вправо, двинуться вперед или попятиться — всякий раз она причиняла себе боль и вызывала восстание неизмеримо более стойких сил, нежели ее. Она пригляделась к корсету, затянувшему людей, на волю которых она была отдана, к его шнуровке, костям и крючкам, и она нашла, что разорвать его, сломать, уничтожить или даже только распустить, ослабить — нельзя. И тогда она смирилась с ним и без малейшей трудности, как будто родилась для того, своими руками, привыкшими к сопротивлению, произволу, капризам и свободе, надела его на себя и тотчас убедила всех, что чувствует себя превосходно.

— Фрейлейн Мари, — сказала однажды мисс Рони, — я замечаю, что вы слишком задумчивы и мало общительны. Вам следует быть немного оживленнее.

Когда же Мари сделалась немного оживленней, мисс Рони уже не могла найти в ней ничего, что подлежало бы исправлению, и к рождеству записала ей в матрикулы:

отличного поведения, прекрасных успехов, прилежания и внимания,

а к летним каникулам:

образцового в пансионе поведения и прекрасных успехов.

Исключительное место среди воспитанниц Мари далось без всякого напряжения, во всяком случае несрав-

ненно легче, чем ее отцу — вера в то, что это она, его дочь Мари, заняла такое место. Он был подозрителен и насторожен,— а может быть, обижен,— потому что считал, что не заслужил всегда столь обходительно-сухого обращения Мари. Не чудилось ли ему во всем том возмездие за суровость, с какою он обошелся с Мари? Как знать? Зато фрау Урбах стала явно благосклонна к дочери и на ее почтительные книксены отвечала милостиво.

Так прошло два года.

А на третий, в Веймаре, во время прогулки пансионата по тихим улицам, мимо особняков, похожих на пансион, с садами за чугунными решетками и гномами, улыбавшимися в клумбах,— к чинно выступавшим парам пансионерок, к первой паре, шедшей за классной дамой, к воспитаннице Мари Урбах, быстро перейдя дорогу, подошел молодой офицер.

— Мари! — почти вскрикнул он.

— Макс! — ответила она, и ее спутницы видели, как вздернулись у ней брови и кровь разлилась по щекам.

— Господин лейтенант! — поперхнулась классная дама.

— Одна минута,— проговорил офицер и направился к мисс Рони.

— Уважаемая мисс, разрешите переговорить с моей кузиной, фрейлейн Урбах?

— Но, господин лейтенант, в пансионе установлены часы...

— Так точно, уважаемая мисс. Но я здесь проездом, всего на один час, и мне необходимо...

Он вдруг взял под козырек, сказал «благодарю вас», точно получил согласие, и поспешил к Мари.

Была всего одна минута замешательства, когда ряды пансионерок сломались, спутались, когда кто-то поднял руку, кто-то засмеялся, кто-то всхлипнул, когда с классной дамой случился приступ небывалого кашля, когда все шествие нарушилось и сама мисс Рони сделала ненужных два шага вперед и ненужный шаг назад, потому что в это мгновенье в ней произошла стремительная схватка между почтением к мундиру саксонской армии и необходимостью соблюсти установленный в пансионе порядок.

Но уже в следующую минуту офицер обменялся короткими словами с Мари, подал ей руку, и они пошли через дорогу, рассмеявшись и прибавляя шагу. И тогда

все видели, как Мари прижалась к локтю и плечу офицера. и все слыхали, как она, обернувшись, громко и весело произнесла:

— Боже мой, мисс Рони, как вы похожи на дятла!

И потом еще громче:

— Adieu, adieu, девчурки!

И после слова «девчурки» подругам Мари показалось, что под руку с офицером удалялась не девочка в нарукавниках, перелинке и переднике, а молодая женщина — гибкая, упругая и прекрасная...

Лейтенант едва ли солгал мисс Рони, сказав, что в Веймаре он проездом, и всего на один час: он точно канул в воду, повернув за угол, и с ним Мари.

Где пропадала она три дня и две ночи, осталось известно только ей.

На третий день герр Урбах сидел в своем кабинете, в старом бишофсбергском доме, когда ему вручили визитную карточку:

Лейтенант фон цур Мюлен-Шенау
(маркграф)

Это словечко в скобочках, напечатанное помельче в углу большой квадратной карточки, было давно придумано фон цур Мюлен-Шенау и вовсе не означало, что в Германии восстановлен пышный титул времен Карла, а только то, что нельзя смешивать потомка и наследника маркграфского рода с какими-то остзейскими баронами, случайно носившими точно такую фамилию.

Лейтенант приехал с Мари, одетой в новый костюм, сделавший ее стройнее и ярче, с новой прической и с каким-то новым взглядом потемневших, возбужденных глаз. Она села в гостиной, будто прибыла с визитом в малознакомый дом,— не снимая шляпы, наполовину стянув с правой руки перчатку. Зеркало, стоявшее позади ее кресла, не давало ей покоя, и она скоро повернулась к нему лицом.

Лейтенант оставался в кабинете ее отца минут пять, потом они прошли через гостиную, и герр Урбах, покосившись на дочь, буркнул на ходу:

— С приездом!

Потом лейтенант вернулся в гостиную один, поцеловал Мари руку и сказал:

— Все улажено. Вы останетесь здесь, я возвращаюсь в Шенау. Завтра буду в полдень...

Предложение фон Шенау, внезапное и категорическое побег Мари из пансиона, где она была

«образцового поведения и отличных успехов»,

но главное, конечно, предложение — маркграфа, и не какого-нибудь барона, — и главное, конечно... — словом фрау Урбах была безмерно обескуражена и польщена Все это настолько перетряхнуло представления о допусти мом и приличном, настолько затупило всегдашнюю способ ность наблюдать, что мать не остановила внимания на странном костюме и странных манерах Мари, а отец был подавлен и закрылся в своей комнате.

В этот вечер фрау Урбах вспомнила, что Мари, приез жая на каникулы домой, нередко уходила в Шенау и много говорила о картинах, собранных в замке опекуном маркгра фа. Как видно, дело было не в одних картинах. Фрау Урбах была довольна.

Герр Урбах, прохаживаясь по кабинету, вспоминал только одно: то новое — чужое — платье, в каком он увидел Мари, когда сказал ей «с приездом». Он позвонил, велел принести брикету и растопить камин, хотя за окнами томи лось молодое лето.

Назавтра, в полдень, лейтенант фон цур Мюлен-Шенау приехал в сопровождении своего опекуна — расчесанного, круглого, туго сгибавшегося полковника в отставке, — и опекун подтвердил предложение, сделанное лейтенантом. Обручение было назначено через два года, когда Мари должно было исполниться восемнадцать лет.

Это приходилось на весну девятьсот шестнадцатого года.

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ ШЕСТНАДЦАТОМ

ЛАНДШТУРМ

Если отколоть от бутылки горлышко, то по форме она будет напоминать артиллерийский снаряд небольшого калибра с разорванным конусом. Бутылку можно покрасить серебряной краской и наклеить на нее портрет какого-нибудь генерала. Такую вещь хорошо поставить на пианино или буфет — это украшает комнату, создает уют. Домашние хозяйки скоро разгадали секрет производства стеклянных снарядов, стали бить бутылки, покупать серебряную краску, открытки с изображениями генералов и приготовлять украшения экономическим способом. Вследствие этого спрос на снаряды значительно упал и фабриканты были вынуждены переменить станки: одни занялись изготовлением серебряной краски, другие начали печатать открытки с генералами. Что касается бутылок, то здесь ощущалось довоенное перепроизводство. Зато другие области промышленности, защищенные от конкуренции домашних хозяек техническими условиями производства, широко развернулись и преуспевали долгое время. Так, например, изготовление брошек и булавок в виде 42-сантиметрового снаряда, обернутого черно-бело-красным бордюром, достигло исключительных размеров. Фарфоровые заводы получили толчок к развитию благодаря выпуску посуды с изображением членов благополучно царствовавшей императорской фамилии. Картонажное производство переживало эпоху «бури и натиска»: коробки и картонки обклеивались, обертывались, обшивались в национальные цвета. Ко второму году войны вся продукция подавалась потребителю в совершенно патриотическом виде, от слабительного в аптеке до хомута в шорной лавке.

Это был неслыханный порыв фантазии, это было аскетическое служение, это была вершина единодушия!

К этому году Андрей переселился в Бишофсберг.

Он жил обессиленный, притупившийся, усталый. Мир, который окружал его, был непоколебимой толщей. Она омывала Андрея, как вода. Он мог передвигаться в толще, но плотность ее была повсюду одинаковой. Ему разрешено было дышать. Но он не мог двинуть плечами, чтобы расправить их и вздохнуть глубже. Он дышал через тростниковую трубочку, выведенную сквозь толщу на воздух, как дышит спрятавшийся в озере дикарь-охотник.

С того дня, как он расстался с Куртом в нюрнбергском трамвае, им управляла неизбежность. Он вдруг увидел себя соринкой среди громадных масс двигавшихся машиноподобно неизбежностей. В сущности, это было сознание, обратное тому, с каким он жил прежде. Разве ему не казалось тогда, что солнце греет оттого, что его воля свободна? Теперь он довольствовался теплом и светом, как нищий...

Бишофсберг — не самое плохое место на земле. Как всякий город, он состоял из портных, полицейских, книготорговцев, патеров, булочников, зубных врачей, профессоров и вагоновожатых. Бишофсберг — старый город, а в старом городе должны быть люди разных профессий, преимущественно честных. Во всяком случае, так думали власти Бишофсберга, простирая свою благосклонность даже на социал-демократов.

— Позвольте,— говорил, например, секретарь полиции,— если бы человек был только социал-демократом! А то он, кроме того, пивовар, или стекольщик, или посыльный. Все это вполне благонадежные профессии, составляющие известную часть общества. Поэтому я совершенно не согласен с точкой зрения штутгартской полиции.

Тут секретарь развертывал «Известия полиции города Штутгарта» и читал:

В понедельник в семь с половиной часов вечера сторонники радикальной социал-демократической партии обоего пола пытались устроить политическую демонстрацию. С Карлсплаца шествие направилось по Доротеенштрассе на Шарлоттенплац, где ему и был положен быстрый конец. Руководители и руководительницы арестованы. Население Штутгарта в шествии участия не принимало...

— Из кого же, спрашивается, состояло шествие, если население не принимало в нем участия? — восклицал секретарь.

Такой либерализм секретаря полиции был — по малости и добронравию города Бишофсберга — известен не

только чиновникам, но даже и самой социал-демократии, и — видит бог! — она становилась с каждым днем наглее и наглее. Дошло до того, что парикмахер Пауль Генниг, старый член партии и казначей Общества друзей хорового пения, сидя как-то в социал-демократической лавочке, во всеуслышание расхваливал своего жильца — русского студента, сосланного в Бишофсберг в начале войны.

— Уверяю вас,— рычал этот бессовестный человек,— что мой русак — смирнейшее животное, и если бы все они были не хуже его, мы давным-давно поколотили бы их, и они помогли бы еще нам вздуть французов...

Вместо того чтобы позорче глядеть за своим жильцом и стараться вникнуть в его истинные намерения (должны же быть у него какие-нибудь намерения!), Пауль Генниг, пользуясь снисходительностью властей, сеял, как мы видели, в народе смуту и сомнения. Нет, положительно надо быть настороже не только с иностранцами, но и с некоторой частью соотечественников. Может быть, штутгартская полиция не без основания вынесла за скобки всю социал-демократическую партию? Вот хоть бы этот парикмахер, Пауль Генниг...

Но не пора ли лишить слова бишофсбергских бюргеров и рассказать обо всем с присущим нам бесстрастием?

Ежедневно в девять утра Андрей выходит из высокой старой двери с потрескавшейся резьбой и облетевшими завитушками орнамента на косяках.

В трех шагах, заложив руки за спину, в белом халате, стоит Пауль Генниг. Налитое утренними соками лицо его горит, как свеженачищенный медный тазик, висящий над входом в цирюльню. Генниг расплывается в одобрительной улыбке и произносит на всю улицу:

— У каждого человека есть свой долг, не правда ли, герр Старцов?

— Да, да,— отвечает Андрей,— с добрым утром, герр Генниг.

На углу, за поворотом театрального проулка, подле своей лавки переминается с ноги на ногу облаченный в солдатскую форму табачник. Дальше, у следующей двери, сидит горбатая дочка портного. Из соседнего окошка выглядывает розовая булочница. Потом идут узкие, затянутые тюлевыми гардинами окна кафе. Потом ювелирная лавка, фруктовый магазин, библиотека.

Площадь малолюдна, и ратуша на ней мрачна и холод-

на. Под горку осторожно катится трамвай. Вагоновожатый глядит на Андрея: он знает его, наверно, так же, как Андрей — вагоновожатого, постового шуцмана, табачника, дочку портного, старика посыльного, раскуривающего на ходу трубку, или тряпичника, подбирающего по улицам бумажки длинными железными щипцами. Каждый камень на этом пути, всякая живая тварь, всякий взгляд и каждый окрик давно известны, давно исчерпаны, давно изучены, как ногти на руке, как обносившийся сапог, как разводы и пятна потолка над изголовьем постели. Вот здесь, перед входом в полицию, у приоткрытой двери общественной уборной, тетка Майер, с неизменным чулком в руках, вскинет на Андрея каменный взор, баском проворчит какое-то слово и опять упрется в свои спицы.

Седенький чиновник с заплатанными локтями и булавочкой в галстуке исподлобья уколет Андрея прижмуренным глазком, спросит:

— Ну?

— Пятьдесят два.

— Хорошо.

И спрячется за секретером.

Тогда можно идти домой.

На полпути Андрею встречается маленький торопливый человек со сморщенным сухим лицом. Он быстро вытаскивает руку из кармана, чуть-чуть приподымает над лысиной низкий котелок и улыбается бесчисленными морщинками вокруг белых тонких губ:

— Bonjour, bonjour, bonjour!

Он произносит свое приветствие скороговоркой, непременно подряд три раза, и улыбка сбегает с его лица так же скоро, как смыкаются тонкие губы. Руки его перевязаны в кистях шерстяными тряпками: упражнениями на гармонике он растянул себе сухожилия, но ему нельзя бросить своей работы, потому что ему нечего делать и потому что он больше ничего не умеет делать.

— Это — monsieur Перси, бельгийский гражданин и музыкальный клоун.

Monsieur Перси проживал в одном коридоре с Андреем, и — вот уже полтора года — с утра до ночи из его комнаты рушились и галопировали по лестницам хроматические гаммы. Если не считать этих гамм, то monsieur Перси не был шумным человеком, даже наоборот — был бессловесен, тих и не бросался в глаза. По утрам Андрей встре-

чал его на улице или в коридоре, и monsieur Перси скороговоркой приветствовал его, приподымая котелок:

— Bonjour, bonjour, bonjour!

Только однажды monsieur Перси подал и пожал Андрею руку — однажды, в сырой и ветреный вечер, в коридоре, освещенном старым, дырявым газовым рожком.

— Тоска, monsieur Перси,— сказал Андрей.

— Русские любят тоску,— ответил он.— Я был в России, знаю. Лодзь, Рига, Либава, Дерпт — хорошая страна. И все пьют...

Monsieur Перси засмеялся.

— Сегодня день моего рождения, поэтому я тоже выпил. Мерзкий коньяк. Вообще я не пью. Не позволяет профессия. По той же причине не тоскую.

— Вы шутите?

Monsieur Перси нагнулся к Андрею и, шевеля одними губами, с лицом, затверделым, как маска, проговорил без расстановки:

— Шут шутит только на манеже; это отлично понимают русские. Я был в Марокко, в Алжире, в Англии, у австрийцев, у шведов, русских, немцев; я видел свет. Теперь по ночам я думаю, как несчастен свет, как несчастны люди, если они смеются шуткам monsieur Перси. По ночам я закрываю глаза и смотрю на людей,— они ничего не понимают; monsieur Перси видит их в Алжире, в Стокгольме, в Вене, в Бишофсберге, сразу всех,— они не видят monsieur Перси, они думают, что они — весь свет и весь свет больше вот этого, вот этого...

Он потрогал благоговейно свой котелок указательным пальцем.

— Это — больше света, здесь весь свет, поверьте, monsieur, весь свет.

— Зайдемте ко мне в комнату.

— О нет! Русские любят тосковать и говорить об этом. Я бельгиец. Днем я работаю, ночью закрываю глаза — о-о, старые глаза monsieur Перси! — и смотрю на людей. Я вижу также вас, вы мне приятны, очень приятны.

Он вдруг отшатнулся, приоткрыл свою лысину и побежал по лестнице, крикнув всего один раз:

— Bonjour!

Это был его первый и последний разговор с Андреем. Последний, потому что в эту ночь бельгийский гражданин и музыкальный клоун monsieur Перси был взят и препровожден неизвестно куда.

Штадтрату города Бишофсберга в числе документов, отобранных при обыске в комнате бельгийского гражданина Перси, была представлена тетрадь в голубом бумажном переплете с изображением национального бельгийского флага на левом углу переплета, у корешка. Тетрадь была украшена надписью:

На память об ангажементе без контракта.
Отзывы критики о гала-представлении
без моего участия.

Текст состоял из газетных и журнальных вырезок, аккуратно наклеенных и снабженных тщательными указаниями на источник. Никаких комментариев нигде не было. Отдельные заметки были обведены чернилами. Вероятно, они казались monsieur Перси наиболее замечательными. По крайней мере, некоторые из них остановили внимание штадтрата, и он отметил их красным карандашом. Вот они:

Если бы Иисус из Назарета, проповедовавший любовь к врагам, снова пожелал сойти на землю, он, конечно, вочеловечился бы в немецком отечестве. И — как вы полагаете? — где его можно было бы встретить? Неужели вы думаете, что он возглашал бы с церковной кафедры: многогрешные немцы, любите врагов ваших? Я уверен — нет! Нет, он был бы в самых первых рядах бойцов, сражающихся с непоколебимой ненавистью. Он был бы там, он благословил бы кровавые руки и смертоносное оружие, он, может быть, сам взялся бы за карающий меч, изгоняя врагов Германии далеко за пределы обетованной земли, как он когда-то изгнал торгашей и барышников из Иудейского храма.

(«Uolkserzieher»)

Лицевая сторона расчетного листа ткацко-прядильной фабрики «Конкордия» в Бунцлау:

БЕРЕГИТЕ ХЛЕБ!

Каждым сбереженным кусочком хлеба вы помогаете в тяжкой войне вашим мужьям, отцам и сыновьям.

Каждый сбереженный ломоть хлеба —

выстрел в Англию,

в нашего исконного врага!

Каждая сбереженная крошка хлеба сокращает войну!

Обратная сторона того же листа:

ТКАЦКО-ПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА
«КОНКОРДИЯ» В БУНЦЛАУ

№ ... Заработная плата за $57^1/_2$ часов ...М.9.91

Вычеты:

Больничная касса	28
Страховая касса	12 - 40

Netto M.9.51

Отныне никто не в состоянии уклониться от логического вывода, что *примирение* было бы *катастрофой*, что единственной возможностью стала война. До сих пор — ответ на вызов, дело чести, средство к цели, отныне война становится самоцелью! Вся нация, как один человек, будет требовать *вечной войны!*

(«Münchener Medizinische Wochenschrift»)

Воспитание ненависти! Воспитание уважения к ненависти! Воспитание любви к ненависти! Организация ненависти! Долой детскую боязнь, ложный стыд перед зверством и фанатизмом!.. Да будет и в политике по слову Маринетти: побольше оплеух, поменьше поцелуев! Мы не смеем колебаться объявить богохульно: наше достояние — вера, надежда и ненависть! Величайшее среди них — ненависть!

(Советник медицины доктор В. Фукс, старший врач Государственной Баденской психиатрической лечебницы в Эминдингене)

Штадтрат просидел над голубой тетрадью до глубокой ночи, прочитывая одну вырезку за другой. Их было много, они были наклеены без порядка, и люди, образы, идеи, анекдоты сыпались на штадтрата, точно погремушки из кузова елочного деда,— уродливые, расцвеченные, искаженные, цирковые. Штадтрат отточил ножичком красный карандаш и острыми буквами напечатал на голубой обложке:

Собранные в этой тетради заметки не представляют собою военной или государственной тайны, как опубликованные в печати. Однако тенденциозный подбор газетных сообщений указывает на враждебные чувства собирателя к Германии и мог бы, при удобных обстоятельствах, оказаться на руку противнику. Поэтому считаю нужным передать бельгийского гражданина Перси военным властям.

В Обществе друзей хорового пения парикмахер Пауль Генниг пел басом. Басы в Европе редки, и Пауль Генниг имел основание считать себя человеком незаурядным. Сознание это сделало его беспокойным, а беспокойство привело в социал-демократическую партию. Тут он окончательно уверовал в свою звезду и сделался самым шумным человеком в Бишофсберге. Когда по вечерам, закрыв цирюльню, Генниг заходил к Андрею, чтобы поговорить о политике, в комнате, похожей на манеж, каждый предмет убогой обстановки мгновенно воплощался в механи-

ческий станок. Кругом гудело, потрескивало, звенькало, дребезжало, отзываясь на рокот, рыканье, раскаты парикмахерского баса. Генниг заполнял собою весь манеж.

— Ерунда, все этто еррунда! Господа юнкеры не понимают, что мы идем навстречу социализму! Не по-ни-ма-ют!

— Каким образом? — спрашивал Андрей.

— О-го! Вы тоже не понимаете, дорогой Андреас?

— Я вижу, что мы живем за счет накопленного раньше.

— Андреас, Андреас! Война! Понимаете? — война!

— При чем же здесь...

— Стойте, стойте! Генниг разовьет вам свою мысль. У вас нет дисциплины ума — у вас, у русских. Славные ребята. Я говорю — славные р-ребята, вы, русские! Бисмарк был прав, старик, прав. Он говорил: не ссорьтесь с русаками, русаки — натуральные — понимаете? — натуральные союзники немцев. Генниг развивает мысль старика и говорит: славные ребята! Но у вас нет дисциплины ума. В Обществе друзей хорового пения, где я — казначей, я прямо сказал: мы идем к социализму!

— Через войну?

— О-о! Через войну! Андреас, вы начинаете мыслить дисциплинированно, это — моя заслуга! Ха-ха-ха, не сердитесь, Андреас! Именно — через войну. Каким образом? Война научает нас распределять — о! — ррaспределять продукт помимо — о! — помимо капиталистического аппарата!

— Хлебные карточки?

— О-о!

— А другие страны?

— Другие страны?

Пауль Генниг сорвался со стула и поднял голос на два тона. Станки по углам манежа ринулись дребезжать и звенеть что было мочи.

— Дрругие стрраны мы научим ррaспределять продукт помимо капиталистов. А для этого сначала рразобьем, рразобьем их — мы, немцы!

— Ну, а если...

— Что-о?

Генниг поднял голос еще на два тона.

Но в это время раскрылась дверь, и длинный крашеный шест въехал в комнату. Сначала он заколебался, повернуть ли ему вправо или влево, попробовал пригнуть-

ся к полу, потом поднялся к потолку и, описывая параболу, стал мерно въезжать в комнату.

— А «если», вы говорите? — добродушно прогудел Генниг, сразу понизив голос на четыре тона.

К этому моменту следом за шестом, зажав его крепко под мышкой, ввалился в комнату парикмахерский подмастерье, рыжевато-розовый, шершавый и отдувавшийся, как локомобиль. Сзади него павлиньим хвостом волочилось наполовину раскатавшееся полотнище флага.

— Ну, Эрих, кого вздули?

— Русских, мастер.

— Ах, бедняги,— сказал Генниг, взяв древко и заводя его конец к окну.— До чего им не везет!.. Вот, Андреас, другие страны! Дело, конечно, не в России, наше социалистическое дело. Но я и не говорю о России...

Подмастерье открыл раму, раскатал и выкинул за окно флаг, потом стал выпячивать наружу древко. Оно было длинно и тяжело, и вставить его в железную манжету под окном было трудно. Подмастерье медленно опускал древко на веревке, а Пауль Генниг, покрасневший, напыжившийся, ловчился вправить толстый конец шеста в манжету и нет-нет извергал из себя отрывистые, мощные аргументы:

- Кажется, мы, социалисты, помогаем империализму,— а на деле он помогает нам... Это хорроший кусок социализма — р-распределение... Эрих, правее, правее... опусти немного... У нас самая многочисленная партия... после войны у нас будет социалистический... Эрих, пускай, готово!.. социалистический опыт...

Из окна надуло холоду, и, может быть, поэтому Андрею стало зябко. Он забился в дальний угол.

— Я понимаю. Но ведь ваше распределение не остановит войны?

— Нам надо рразбить противника, тогда война остановится.

— Ну, а если...

— Никакого «если», Андрреас! Должны рразбить. Остальное — еррунда!

Генниг похлопал Андрея по плечу, пахнул ему в рот плохим брантвейном и сказал:

— Вы знаете, что такое дисциплина? Андрреас, вы — русаки — не знаете, что это такое...

Пожал Андрею руку и вышел вслед за подмастерьем.

Когда тысячи, сотни тысяч, миллионы благородных бюргеров, сидя по своим гостиным, воспевали дисциплину, они не знали, что это такое. С тех пор как юношами они с радостью прикоснулись к ней, прошло пятнадцать — двадцать лет. За это время они успели пролежать двуспальные перины, вырастить полуметровые кактусы, конфирмовать своих дочек и приобрести сочинения Гете с золотыми корешками.

Тысячи, сотни тысяч, миллионы благородных бюргеров составили в этом году ландштурм. Ранцы телячьей кожи, которые ландштурм носил за спиною, показались ему чересчур тяжелыми, а ремни, утонувшие в мясистых плечах, — чересчур острыми. Ландштурм волочил за собой двуспальные постели, кактусы, подарки дочкам к конфирмации и позолоченные сочинения Гете. Это было слишком грузно для войны.

— Войне нужны кости и мышцы, — сказал какой-то военачальник.

Фельдфебель, обучавший бишофсбергский ландштурм, хорошо понял это изречение. Он обучал ландштурм строю. Маршировать, маршировать, маршировать! Бегать, падать, ползать, и еще раз — бегать, падать, ползать! Потом можно переменить: маршировать, маршировать, маршировать!

С ландштурма надо сбить жир — зады, животы, спины. Это непригодно для войны.

Истекающие потом, мешковатые толстяки, переряженные солдатами, после учения далеко за городом возвращаются под вечер в казармы.

Фельдфебель помнит, что у благородных бюргеров большая склонность к удобствам. Он слышит, как в их ранцах погромыхивают привычки. Он видит каждого из них на мягком диване с подушечкой, на которой вышито гладью:

Nur ein Viertelstündchen![1]

По стенам развешаны открытки, залитые гипсом, дверь на балкон приотворена, и в нее заглядывают подрезанные ветки груш. Табачный дымок тянется струйкой к веткам.

— Отде-ле-ние! — командует фельдфебель.

О, все эти картинки надо выпотрошить из памяти

[1] Только четверть часика (вздремнуть) *(нем.)*.

благородных бюргеров, вместе с жиром задов, животов и спин!

— За-пе-вай!

Молчание.

— Отде-ление, стой!

Ландштурм остановился.

— Почему не поете?

Молчание.

— Отде-ле-ние, смирно! Оборот направо, кр-ру-го-ом марш!

И опять за город, в поле. Опять бегать, приседать на носках, падать, ползать. Потом — маршировать, маршировать, маршировать. Потом домой.

Ландштурм беспрекословен.

В городе, на старом месте, именно на том месте, где была произнесена команда впервые:

— За-пе-вай!

Молчание.

— Отде-ле-ние, стой! Оборот направо, кругом марш!

И опять поле.

Ландштурм падает в изнеможении, но ландштурм беспрекословен.

И в городе, уже в ночной тьме, на том же месте:

— За-пе-вай!

И тогда хриплый голос, надсекаясь и лопаясь, затягивает, и его подпирают такие же лопающиеся голоса:

I-ich hatte ein' Kama-ra-aden...[1]

— Никакого «если», Андреас! Вы, русаки, не знаете, что такое дисциплина!

ПАРК СЕМИ ПРУДОВ

Проходила вторая зима с тех пор, как Мари узнала, что такое война. Война — это беспрерывная деятельность, наполняющая кровь горячечной силой, шествие по канату над пропастью, заполненной колыханием знамен, мятущимися огнями факелов, медными голосами труб и кликами победы. Война — это победа. В этом ее смысл. Впрочем, о смысле войны написаны целые книги, разложенные веером на круглых столах в гостиной фрау Урбах. В этих книгах каждый мог бы найти совершенно точное

[1] У меня был товарищ... *(нем.)*

объяснение, почему существенно необходимо от времени до времени устраивать войну — с точки зрения позитивной философии, или христианского вероучения, или теории Дарвина. (Mesdames, вы читали «Происхождение видов»? Ах, борьба за существование, закон природы — очень просто!)

Мари ни разу не заглянула в книги, разложенные на столах в гостиной ее матери. Но если бы случайно она обнаружила, что большинство этих книг не разрезано, она нисколько не удивилась бы, потому что война прежде всего — непрерывная деятельность, которая все объясняет и оправдывает сама собой, без книг и толкований. Так актер, который исполняет семь ролей в трех актах, не думает о том, что такое театр, а только переодевается.

Война — это деятельность. Когда на протяжении десяти суток в Польше было взято двенадцать крепостей и занято двадцать восемь городов, над Бишофсбергом плавало облако копоти от факелов и лампионов. Комиссия, составленная из гимназистов, под руководством учительского союза, подсчитывала флаги, украшавшие в эти дни общественные здания и частные дома. Город был разбит на участки. Когда комиссия закончила работу и выяснила, что в среднем на каждое жилое строение Бишофсберга приходилось по $9^1/_{37}$ флага, прибежал запыхавшийся пожилой человек и завопил: «Обсчитались, обсчитались!» Оказалось, что этот человек, в целях проверки комиссии, единолично сосчитал все флаги, украшавшие город, и получил цифру $9^1/_{29}$! Бишофсбергская социал-демократическая газета не преминула, конечно, съязвить по этому поводу, заявив, что комиссия уронила патриотическое достоинство Бишофсберга на $^8/_{1037}$.

Если не считать работы, которая совершается во время войны на заводах, полях и в шахтах людьми, поглощенными этой работой и в мирное время, то какую изумительную энергию пробуждает война в людях, принимающих обычно небольшое участие в производственном труде! Нечего говорить об армиях, занятых ежесекундным истреблением наиболее сильных человеческих особей индивидуально и группами. Этот вид деятельности всегда привлекал к себе внимание. Гораздо поучительнее обратить взоры, например, на берлинский союз содержателей гостиниц, посвятивший несколько деловых собраний обсуждению вопроса о том, следует ли переименовать «отели» в «подворья»? В пламенных дебатах переименова-

ние было отвергнуто, потому что, воспользовавшись отсутствием непреклонных лингвистов, содержатели гостиниц признали, что отель — слово немецкого происхождения.

В лечебнице Эмендингена сведущим лицам показывали человека, разработавшего проект статистического бюро для учета заседаний, вызванных военной деятельностью. Среди материалов, собранных этим человеком, находился протокол собрания союза немецких кондитеров, на котором дебатировался вопрос: патриотично ли есть пирожные? Это было решено положительно, так как булочники установили, что кондитерские изделия приготовляются преимущественно из сахара, яиц, изюма и миндаля, без затраты пшеничной муки, реквизированной властями. Известно, что, когда решение стало достоянием гласности, шесть тысяч немецких кондитерских наполнились радостными патриотами...

В гостиной фрау Урбах над входной дверью висела дубовая доска с вырезанным двустишием:

WIR STENEN IN OST UND WEST
WIE FELS UND EICHE FEST[1]

Двустишие соответствовало действительности. Сила его заключалась, однако, не в этом. Оно было указующей программой действий, простым, понятным «должно». Власть его над людьми была сокрыта в незримом повелении, сквозившем через дубовую доску. Доска диктовала деятельность. Это чувствовал и понимал каждый. Это почувствовала и поняла Мари с первого часа войны. И она повиновалась приказу, который не оскорблял самолюбия, а льстил ему. Она растворилась в деятельности.

Она выписала из Берлина одиннадцать особых флагштоков, укреплявшихся на подоконниках, и флаги к ним длиною в три метра. Постепенно обнаружилось, что Германия дорожила даже захудалыми союзниками в войне больше, чем этого хотели бы мечтательные штандарт-юнкеры. Коллекцию имперских полотен пришлось пополнять союзными национальными цветами. Это отнимало время, не говоря о том, что почти всякий день надо было выбрать комбинацию одиннадцати флагов из семнадцати, чтобы расцветить ими фасад дома.

[1] На востоке и на западе мы стоим прочно, как скала и дуб *(нем.)*.

Фрау Урбах состояла патронессой питательного пункта на бишофсбергском вокзале. Эшелоны солдат следовали через Бишофсберг каждые два-три дня. Раздать солдатам цветы и патриотические памятки, отпечатанные на бристоли, напоить сотню, иной раз две-три сотни маловоспитанных людей кофе, наделить их сигарами и при этом улыбнуться и сказать что-нибудь приятное об отечестве — такую работу может исполнять только истинно преданный идее человек.

Мари помогала фрау Урбах. Здесь, на вокзале, в толчее безусых, широкоротых ребят, в гвалте и гуле медных голосов, в мелькании крепких лбов и затылков, Мари испытывала такое чувство, точно ее носило в рукопашной схватке славного боя. Касание локтей, почти ощутимые клейкие взгляды, текучая, неуловимая лента улыбок и этот вечный припев:

— Эх, хороши девочки в Саксонии!

Кто устоит в таком потоке безучастным и холодным? Кто не хлебнет его бьющей, клокочущей пены?

И вдруг Мари заскучала. Это случилось ранней весною, едва потеплел ветер и отогрелись деревья. Впервые за полтора года Мари не пришла на вокзал. Кучка подруг, разливавших на вокзале солдатский кофе, сбежалась к ней со всех концов города,— встревоженные, большеглазые, трескучие, как сороки. Мари была здорова, в ее жизни ничто не переменилось, она была прежней Мари. Но ей стало скучно. Она не знала — почему. Сороки трещали, расправляли свои юбочки, обхаживали и увещевали, наконец пристыдили и высмеяли Мари. Она стояла на своем:

— Скучно!

Странно, она сама не догадывалась о причине этой скуки. Сидя у себя в комнате и буравя в памяти события последних дней, она решила, что никаких событий, в сущности, не было и что в этом все дело. Ей припомнилось, что эшелоны, которым раздавали на вокзале памятки и кофе, обесцветились и притихли. В серой очереди, тянувшейся мимо раздатчиц, не слышалось смеха. Недавно низенький ландштурмист обратился к Мари со словами:

— Налей-ка, дочка, погорячей!

У нее дрогнула рука, она взглянула на него пристальней. Солдат был одутловат, короткие усы его блестели сединой. Мари окинула взглядом очередь серых шине-

лей. Угрюмые, взрытые морщинами лица безучастно колыхались в газовом свете. Ей подумалось тогда, что эти люди остались там, откуда пришли: здесь, на вокзале, колыхались только их оболочки.

Этот случай был настолько ничтожен, что удивительно, как он возник в памяти теперь, когда Мари доискивалась, почему ей стало скучно.

Так же неожиданно вспомнились желтые лица женщин, набившихся в училищном коридоре, где выдаются хлебные карточки. Мари дважды в месяц занималась раздачей карточек, и ей ни разу не пришло на ум присмотреться к людям, толпившимся по коридорам. И опять недавно, когда она кому-то заметила:

— Нельзя ли быть полюбезнее? — из дальнего угла провизжали:

— Вы любезны только потому, что сыты!

Тогда Мари подняла голову и натолкнулась на десяток загнанных, перекошенных глаз. Женщины, обступившие стол, были странно желты, как будто кожа их окрашивалась не кровью, а желчью. Среди них были молодые девушки, но молодость их можно было узнать только по глазам.

— Эх, хороши девочки в Саксонии!

Это было так же ничтожно, как случай на вокзале, и так же ничего не объясняло. Вереница исхудалых женщин и одутловатых угрюмых солдат то обрывалась, то снова возникала в памяти, — но было ясно, что все это вспомнилось только теперь, когда Мари стала думать о своей скуке.

Другое воспоминание уже давно не отступало от нее ни на шаг, но разве мыслимо, чтобы оно навеяло скуку?

Однако не припомнит ли Мари все подробно?

В предвесенний месяц выпал день снежный, подобранный морозом — последний зимний день в красноватом свете низкого солнца. По улицам плавал какой-то сладкий запах, точно от свежей корзины, и люди звонко перекликались, рысцой пробегая по тротуарам:

— Эге, как кусает!

— Ого-го!

По площади мелькнули сани, встреченные бурными криками. Мальчишки пронеслись за ними ватагой. Громадный градусник на ратуше чопорился больше, чем

всегда: поутру его вычистили бензином. На таком солнце, разрывая быстрыми ногами пахучий невесомый снег, хочется думать, что мир покоен и незлобив, что люди собрались в веселые города и деревни, чтобы заглядывать друг другу в глаза, пожимать руки, ободрять веселым окликом из-за угла:

— Фрейлейн Мари! У вас нос краснее помидора!

— Фрейлейн Мари, не упадите на *Weberstrasse*, там прямо каток!

О нет, Мари не упадет на *Weberstrasse!* Мари не страшен холод! Она неслась с такой силой, что, казалось, преодолела бы неприступный ледник. Навстречу колкому морозу, рассекая его разгоряченным лицом, засунув руки глубоко в рукава, она добежала до станции. По узенькой, запорошенной снегом платформе попрыгивали два-три пассажира. Игрушечный обледенелый паровозик, растерянно отдуваясь, выскочил из-за поворота.

— На Лауше!

День был рабочий, вагоны пустовали. Окрестность казалась неизвестной,— и, может быть, оттого так быстро надвинулась издали заснеженная Лауше. Капюшоны Трех Монахинь срослись в громадную шапку, повисшую над скалами слепящим шаром.

На крутой тропе, убегавшей к вершине Лауше, был втиснут одинокий след мужских ног. Мари взбежала по первой отлогости горы и передохнула. Мужские следы поворачивали в сторону, а тропа вилась вверх под нетронутым снежным покровом, и распылять его было так же радостно, как прокладывать новый путь. В крепком высоком строе сосен, отягощенных снежной нависью, раскачивался подмороженный аромат смолы, и покойная тишина сковавшая Лауше, наполнила Мари веселой, легкой силой.

С ловкостью, причинившей когда-то столько неприятностей фрау Урбах, Мари брала уступ за уступом. Вдруг у нее подвернулась нога, скользнула по камню, и она скатилась вниз на добрую дюжину шагов. Падая, она загребала спиною снег в пухлый сугроб, и, мгновенно выросши, он перевалил через нее и засыпал ее лицо, грудь, руки. Она вскрикнула обрадованно-громко, как на купанье от ласкающего холода брызг. В тот же момент, точно удар по замерзшей сосне, над нею прозвенел крепкий голос:

— Осторожно!

Она вскочила, отряхнулась от снега. Из-за дерева на нее глядели молодые глаза. Ей показалось, что в них было больше веселости, чем беспокойства.

— Это ваши следы идут там, по тропинке? — спросила она.

— Да. Я хотел найти путь покороче и свернул в сторону.

— Вы на вершину?

— Да.

— Это самый короткий путь.

— Но и самый опасный. Вы не ушиблись?

— Пустяки.

Больше не о чем было говорить. Надо было расходиться. Впрочем, можно было идти рядом.

— Сегодня хороший день,— сказал он.

— Да.

— Вы тоже наверх?

— Тоже.

Так было выяснено, что им по пути и что они идут самой короткой дорогой.

— С горы вы поедете на санях? — спросила Мари.

— Не знаю.

— Боязно?

— Я никогда не ездил.

Мари обернулась к нему. Ноги его были обтянуты толстыми чулками и переступали мерно и сильно, вровень со спокойным громким дыханием. Голову он держал высоко, не глядя в землю под ноги. Он посмотрел на Мари открыто.

— У меня сегодня хорошее чувство. Я редко бываю за городом,— сказал он.

— Вы нездешний?

Он засмеялся.

— Вы чех? — спросила Мари с тем оттенком, который делает это слово обидным.

— Хуже!

— Я так и знала. Такие, как вы, нужны на войне. А вы разгуливаете как ни в чем не бывало. Вы русский?

Он опять засмеялся:

— Да.

Мари прибавила шагу. Несколько минут они молчали. Потом он сказал:

— Положение становится неловким. Разрешить его мог бы только полицейский чиновник, не правда ли?

— Это — грубость.

— Я не хотел вас обидеть.

— В нас гораздо больше рыцарского, чем думают иностранцы.

Мари вдруг остановилась.

— Что вам дало право считать нас всех доносчиками? Вам плохо у нас, вам, нашему врагу?

Она опять двинулась вперед. Тогда ее спутник проговорил:

— Грустно, что мы разучились жить просто. Может быть, мы этого никогда и не умели? За переборками и пристройками ничего не видно. Зачем вам понадобилось расспрашивать меня, кто я? Разве без этого нельзя идти рядом, как мы идем сейчас? Кругом снег, сосны, тишина. Мы ничем иным не связаны, как только этим снегом, этой тишиною да куском дороги, который нам надо пройти вместе. Пройдем и забудем. Случайность. Зачем отыскивать в ней то, чего в ней нет? Если бы я оказался австрийцем или вашим соотечественником, вы взглянули бы на меня по-другому. А разве что-нибудь изменилось бы вокруг нас? Все было бы так же просто.

Они остановились на последнем уступе горы. Отсюда уже было невысоко до вершины. На запад, как по нитке, скатывалась широкая просека. Сквозь нее было видно, как сторонами треугольника к основанью уходила смена сосновых участков, затянутые снеговою синью долины, цепь кособоких гор. Небо прикрывало все пространство мирной синевой.

— Я здесь выросла,— сказала Мари.— Вон на том холме нависла сосна, точно гриб. Это первое дерево, на которое я вскарабкалась. За этим грибом — замок Шенау. Видите, черные крыши? Направо шоссе, там граница.

— Граница? — переспросил он.— Так близко?

Мари прищурилась на него:

— Почувствовали что-то родное?

— Там чехи.

— О да, сплошные чехи!

— Без этого нельзя?

Она двинулась было к нему, но тотчас остановилась, точно принудила себя не расслышать его слов. Потом внезапно звонко вскрикнула:

— Ну, наверх, скорей! — и, придерживаясь за встречные стволы, легко и цепко, как козуля, взяла подъем.

На прибранной площадке вершины стояли чинным рядом приземистые длинные санки. Суровый, громоздкий,

как каменная глыба, сторож медленно выкатился из тесовой будки и осмотрел гостей. Час был неурочный, никого, кроме сторожа, на горе не было. Укатанная, расчищенная дорога уносилась к повороту крутой скобкой. По сторонам она была защищена снеговыми барьерами.

И опять звонко, раскалывая застылый воздух, Мари крикнула:

— Довольно раздумывать! Едем!

Она выбрала сани, ногой подкатила их к спуску, села верхом и ухватилась за кольца загнутых на передок полозьев.

Ее обступал воздух, которым она дышала в детстве. Накрошенные и наваленные в беспорядке скалы, как ломаная мебель; кряжистые сухокорые деревья, каждый сучок которых казался старым приятелем; внизу исковерканная шашечница дорог и просек. Всякий камень на этих горах корчил Мари рожи, и она помнила его прозвища, знала его секреты. Как жалко, что подле не было сообщников ее проделок — широкогрудых, большеглазых, деревенских ребят! Как хорошо было бы покомандовать ими, прикрикнуть и распорядиться! Где они теперь, милые увальни?..

Мари быстро оглядела своего спутника.

— Рассчитывайтесь со сторожем и садитесь. Скорей... Садитесь ближе ко мне. Вытяните ноги вперед. Вот так. Охватите меня руками. Как следует. Туже, еще туже, а не то вывалитесь. Править буду я. Поехали!

И вот толчок, еще толчок, вот ускоряющееся плавное скольжение, вот быстрый бег — и вот перед самым лицом, над головою, оледенелый снежный барьер поворота, который мгновенье назад казался страшно далеким. Барьер валится на голову, колючая белая пыль залепляет глаза, бьет откуда-то из-под земли неудержимым фонтаном и вдруг обрывается; и ровный, как отточенная сталь, ветер звенит по лицу, устремляясь вверх, в гору, которая взвивается к небу. Поворот уже давно пройден, сани уже давно оторвались от земли, прямой спуск — секунду назад бесконечный — уже налетел на новый поворот, и снежные барьеры навалились на голову.

— Держитесь! — кричит Мари и слышит, как в ее спину вросло отвердевшее широкое тело и в грудь — ледяное кольцо скрещенных рук. И еще — точно с далекой вершины, сквозь холод и свист снежной пыли, наперекор и навстречу режущей стали ветра — в самое ухо ее чуть теплый вливается шепот:

— Дер-жи-тесь са-ми!

И тогда она видит, как сбоку, от сильной мужской ноги, бороздящей дорогу, клубится белый вихрь — выше и буйнее каскада, который поднимает ее нога... Ах, все равно — пусть думает, что он правит! Вниз, вниз, под гору, в пропасть!..

Потом у отлогого подножья Лауше они отряхиваются, очищают волосы, воротники, уши от тающей, слипшейся пыли, смеются.

Вероятно, и здесь они о чем-то говорили, как говорили в крошечной комнате какой-то гостиницы, где их угощали пахучим грогом и веселым очажным огнем. Но Мари не запомнила ни слова из этих разговоров. Впрочем, одно слово — смешное, непривычное — осталось в памяти. Расставаясь со своим компаньоном, вдалеке от станции, она спросила:

— Как вас зовут?

— Андрей Старцов.

— Стар-цов? Как это пишется?..

Потеплел ветер, и отогрелись деревья. В такую пору приоткрытое окно не облегчит дыханья. И если не двигаться, не лететь постоянно с силой камня, сорвавшегося с горы,— густые мартовские дни сдавят горло, задушат.

Скука пришла вместе с теплым ветром, неожиданно, в разгар деятельности, и с каждым часом становилась нестерпимей. И потому что Мари не догадывалась о причине скуки,— может быть, просто со скуки она написала Андрею, что хочет увидеть его.

Он ждал ее в парке Семи Прудов.

В оттепель парк загрязнялся, трамвайные вагоны подходили к нему пустыми, обезлюденные аллеи однообразно чернели. Но от таянья снега и невнятного, боязливого шороха каких-то существ над землею бродили запахи оживления, и вдыхать их было так же томительно, как глядеть с высоты в обрыв.

Андрей стоял на прямоугольном стыке двух аллей. По одной из них должна была прийти Мари. Это была Бисмаркова аллея — из четырех рядов лип, подстриженных перевернутыми кофейными чашками. Ровной, точно кегельбан, дорогой она смыкала город с парком. Другая аллея опоясывала парк кривой, и поворот ее виднелся шагах в полусотне оттуда, где стоял Андрей.

Он увидел Мари в условленный час. Она шла быстро, держась прямой линейки стволов так близко, как будто искала за ними прикрытия. Когда ее лицо стало различимо, Андрею показалось, что она улыбается. Он отошел к внутренней стороне аллеи, опоясывавшей парк. Едва уловимые до сих пор шорохи внезапно сплотились в широкий раскатистый гул. Он рос и ширился где-то в глубине земли, как будто оттаявшие корни буйно распирали почву. Андрей видел, как учащались шаги Мари. Она почти бежала к парку. Неужели до нее докатился трепет и гул земли, наполнивший Андрея непонятной тревогой? Он все ширился, этот подземный гул, он перешел в ясный, отчетливо слышимый шум, он охватил и заколебал не только почву, но и воздух, он перекатывался невидимой лавиной, он должен был с минуты на минуту раздавить Андрея.

Необъяснимо, почему Андрей не двинулся с места. Он ждал Мари неподвижно, следя за ее приближеньем в каком-то окоченении.

И вот, когда Мари была уже недалеко от него, он увидел лавину. Она выползала из-за поворота аллеи, в полусотне шагов от того места, где он стоял. Гул, волновавший землю, был поднят сотнями тяжелых ног.

Мари оставалось только перейти дорогу, чтобы протянуть Андрею руку. В этот момент лавина докатилась до стыка аллей. Андрей успел заметить, как глаза Мари остановились на приблизившемся шествии. Потом оно разделило их.

Его возглавляли вооруженные ландштурмисты, выступавшие понуро и медленно, насупленные, суровые. За ними двигались тесные ряды солдат. Четверо из первого ряда держались за шинельные хлястики ландштурмистов. Шедшие сзади положили свои руки на плечи передних.

Голубовато-серые помятые шинели были шиты одним портным, и суконные фуражки растягивались на одном болване. Но шаги колыхавшейся голубовато-серой солдатской массы не были шагами солдат. Ноги волочили оборванные тяжелые опорки и шаркали по земле, почти не поднимаясь над ней. Люди раскачивались из стороны в сторону, кучились, натыкались друг на друга. Руки их непрестанно вытягивались, ощупывая пространство и упираясь в спины и локти ступавших впереди.

Андрею бросился в глаза один солдат. Его голова была

повернута вбок и подергивалась на длинной шее, как на нитке. Он точно вслушивался в то, что приближалось к нему с каждым шагом. Лицо его было сведено в гримасу, и рот стиснут так крепко, что челюстные мышцы выпячивались, как скулы. В черном круге ресниц стеклянели остановившиеся глаза. В них проплывали спокойные тени нависших над аллеей веток.

Солдат был слеп.

Тогда Андрей неизмеримо коротким взглядом охватил проползавшую мимо толпу.

Лица десятков и сотен людей показались ему одним лицом. И когда он всмотрелся в него, он закричал.

Это было лицо Карла Эберсокса, каким он узнал его в Эрлангенском музее и потом во сне, когда багровая голова раздумывала — упасть ей или остаться на лестнице. Но — ужас, ужас! — по лицу убийцы, который с открытыми глазами взошел на эшафот, чтобы после смерти бесстыдно смотреть на людей из спиртовой музейной банки, по этому лицу текли слезы!

Андрей уже не видел толпы. Перед ним, где-то совсем вблизи, в расстоянии, на которое хватает человеческое дыханье, маячило лицо Эберсокса. Синие губы казненного вздрогнули, раскрылись, и, как во сне, Эберсокс произнес:

— Итальянцы. Взяты под Триестом.

Потом он подмигнул сквозь слезы и добавил:

— Газ называется «Желтым Крестом». Прекрасная марка.

Голос показался Андрею печальным. Не потому ли, что говорил щупленький конвоир слепцов?

Он остановился рядом с Андреем, чтобы раскурить трубку, и сказал несколько слов из сочувствия и общительности. Потом побежал на свое место, прижимая к спине длинную — русского образца — винтовку.

А молчаливое шествие непрерывно протекало по аллее, и бесчисленные руки ощупывали пространство. Понурые ландштурмисты, замыкавшие толпу, слегка подталкивали отстававших, и тогда они давили пятки шедшим впереди и запрокидывали свои головы, точно прислушиваясь к тому, что приближалось к ним с каждым шагом. Вероятно, они уже различали удары топора, достраивавшего лагерные бараки.

Омытое слезами лицо Эберсокса расплылось в мартовском сумеречном воздухе. Шум от шаркающих опорок

стих, перешел в подпочвенный гул, рассосался до шорохов весеннего оживания. Парк Семи Прудов ждал вечера.

Тогда Андрей огляделся.

По другую сторону аллеи, прислонившись к дереву, закрыв глаза, стояла Мари, она была как будто привязана к стволу, и руки ее висели беспомощно. Андрей бросился к ней, с силой оторвавшись от куска земли, который держал его в окоченenье. Мари открыла глаза. Андрей взял ее руки. Они были холодны и вздрагивали, как от озноба.

— Наша встреча...— начал Андрей.

Мари хотела улыбнуться.

— Я не могу,— ответила она,— сегодня...

Потом оттолкнулась от дерева, расправила плечи.

— Я не хочу говорить сегодня... не могу.

Она пожала ему руку.

— Я, может быть, напишу вам опять.

Она отвернулась и пошла туда, где останавливались пустые в эту пору трамвайные вагоны.

Он проводил ее взглядом.

ВСЕ ЕЩЕ ЦВЕТЫ

Этим летом две морские державы встретились впервые в открытом море. Корабли, созданные для того, чтобы истреблять и гибнуть, изнывавшие от бездействия и перевооруженности, в один день и в один час, как разноименные магнитные стрелки, покинули свои норы. Местом встречи был выход пролива Скагеррак в Северное море. Часом встречи был час судьбы, когда перестают дуть ветры и останавливаются планеты, когда люди надевают чистые рубашки. Победа была обеспечена за обеими эскадрами, потому что обе эскадры считались самыми сильными в мире и потому что державы, чьи эскадры встретились под Скагерраком, считали себя самыми сильными державами.

Все державы всегда считают себя самыми сильными; это им необходимо, чтобы каждая ротная кляча, погромыхивая заржавленной кухней, чувствовала себя Тамерланом.

Под Скагерраком морская Англия победила морскую Германию и морская Германия победила морскую Анг-

лию. Побежденной в этой борьбе оказалась логика — держава наименее могущественная. Победу над ней справляли обе победившие стороны — Англия и Германия, за исключением тех английских и германских моряков, которых вода унесла из Скагеррака в Норвежское море.

Германскому населению было разъяснено диаграммами, что морское могущество Великобритании непоправимо подорвано и что случилось это необыкновенно счастливо, ибо германские потери ничтожны. Английские газеты, со своей стороны, доказали картограммами, что германский флот можно считать несуществующим и что достигнуто это ценою ничтожных, в сущности, потерь со стороны Великобритании.

Таким образом, в дни Скагеррака Бишофсберг имел все основания устроить празднество. Он имел эти основания тем более, чем ожидал приезда его величества короля Саксонского. Это случалось не часто и было исторично для Бишофсберга. Надо было обставить высокое посещение с достоинством и пышностью. И так как всякое высокое посещение приурочивается к какому-нибудь событию, а его величество король Саксонский прибыл в Бишофсберг просто ради того, чтобы пострелять в горах козуль, то, естественно, его приезд был связан с победой над морской Великобританией. И его чествовали и величали как подлинного гения Ютландского боя...

Но это — целая глава в истории города Бишофсберга; глава же, которую мы пишем, посвящена цветам. Их мало в нашем романе, их любят девушки, негодующие на писателей, которые рассказывают о ландштурме и войне, забастовках и королях, вместо того чтобы говорить об изменах и объятиях, о любви и цветах. Грустно думать, что до этих сочувственных слов не дочитает романа ни одна девушка. Но если нежная душа, вконец измученная солдатскими эшелонами, революционерами, социал-демократами и королями, случайно раскроет книгу на этой странице, она найдет здесь наше клятвенное обещание говорить на протяжении главы только о цветах, об одних цветах, душистых, окропленных чистою росою, целомудренных, живых цветах!..

На вокзале король был встречен военными властями. Оттуда он должен был проследовать в ратушу и принять там гражданских чинов. Через два часа его величеству должны были представиться благотворительные общества.

Признаться, бишофсбержцы пережили в этот истори-

ческий день некоторое разочарование. Было изведено непомерно много крахмала на приведение в церемониальный вид нижних юбок, манишек, манжет и воротничков. Ожидали увидеть его величество в орденах, лентах и звездах, окруженного свитой и дворцовой стражей. Но король приехал в пиджаке и в тирольской фетровой шляпке с тетеревиным пером. Ему подали к вокзалу вместительный старомодный фаэтон, запряженный парой бестолковых лошадей. Он сел рядом с обер-бюргермейстером, и железные обода вымытых керосином колес загрохотали по главной улице. Накрахмаленные подданные, занявшие тротуары, при виде такого въезда забыли снять шляпы. Школьники, окружив фаэтон, неслись по дороге с криками и возгласами. Его величество добродушно стряхивал сигарный пепел на носы мальчишек, поощряя их забираться на подножки и виснуть на рессорах.

– Смотри,— сказал один бюргер жене при виде своего повелителя,— на нем пиджак, как у нашего зятя Ганса...

Так помрачился герой в сознании глубоко преданного ему гражданина.

В этот день победы над морской Великобританией и приезда короля в Бишофсберг, в тот момент, когда доглаживались последние воротнички и начищались ботинки, фрау Урбах, пробегая через гостиную, восклицала:

— Мари! Мари! Мари!

Она была настолько взволнована, что позабыла захватить свою палочку с резиновым наконечником и очень заметно ковыляла. Она почти захлебывалась, крича:

— Мари! Мари!

И когда влетела в комнату дочери, выпалила без передышки:

— Где наши флаги, Мари? Что это значит? Где флаги?

Мари застегивала платье, заломив руки за спину, ей было неудобно, и она не сразу переспросила:

— Что случилось?

— Флаги, флаги! У нас не вывешены флаги!

— Почему вы обращаетесь с этим ко мне?

Фрау Урбах ухватилась за спинку стула.

— Я ослышалась, Мари? — пробормотала она.

— Я говорю, что не знаю, почему у нас не вывешены флаги

— Может быть, вы не знаете, почему они должны быть вывешены?

Мари подняла на мать безучастный взгляд:

— Откровенно говоря, нет.

Тогда фрау Урбах опустилась на стул. Невероятно! Каких-нибудь полчаса назад этот нелепый человек говорил с ней совершенно здраво!

— Мы только что условились, Мари...— начала фрау Урбах, набрав побольше воздуху и усевшись поудобнее: надо было восстановить нарушенное равновесие.

Но Мари перебила:

— Уверяю вас, что ничего не случилось. Я собираюсь на вокзал, потому приду в ратушу. Ваше поручение будет с точностью исполнено. Вам нужно одеваться, иначе вы опоздаете.

— Но флаги, флаги! — воскликнула фрау Урбах.

— Что касается флагов, то прошу вас поручить это дело кому-нибудь еще.— Мари неожиданно расхохоталась: — Ну, поручите, например, папе! Право! Папа будет с удовольствием развешивать флаги хоть каждое утро! Это будет вели-ко-лепно!

Фрау Урбах медленно встала. Голова ее откинулась назад, глаза окаменели. Фигура ее была монументальна — в широко расходившемся книзу тяжелом платье, с приподнятой и застывшей правой рукой. Отчетливый шепот излился из ее побелевших, стянутых напряженьем губ.

— Запомните раз навсегда: я не позволю насмехаться над собой не только вашему отцу, но и вам.

Она повернулась и вышла из двери, как оскорбленная героиня на экране кинематографа,— величественно и почти так же бесшумно.

У себя в комнате фрау Урбах посидела некоторое время в кресле, обмахиваясь платком. Потом позвонила горничной и приказала ей вывесить флаги. Потом начала одеваться...

То, что происходило часа три спустя в большом зале ратуши, где благотворительные и другие общества представлялись королю, заслуживает самого пространного описания. Такое описание было сделано «Утренней газетой Бишофсберга», где любопытный читатель найдет весь церемониал и, между прочим, прекрасную речь, оглашенную от имени цехов членом союза парикмахеров и казначеем Общества друзей хорового пения — Паулем Геннигом. Здесь будет рассказана только незначительная деталь, о которой дипломатично умолчал редактор «Утрен-

ней газеты», оказавшийся поистине на высоте своего ответственного положения.

Незадолго до того времени, как его величество, в сопровождении обер-бюргермейстера, штадтратов и адъютанта, переходя от одной депутации к другой, приблизился к фрау Урбах, она оглянулась, чтобы еще раз убедиться, что Мари стоит позади нее. За несколько минут перед тем фрау Урбах видела, как ее дочь пробиралась к ней толпою разодетых фрейлейн и фрау.

И вот его величество король стоит лицом к лицу с фрау Урбах.

Обер-бюргермейстер с особым удовольствием произносит:

— Фрау Урбах, урожденная фон Фрейлебен, патронесса питательного пункта, председательница...

Его величество протягивает ей руку и перебивает обер-бюргермейстера:

— О вас, сударыня, мне уже докладывали в резиденции. Медаль Фридриха-Августа ожидает вас в Дрездене.

— Majestät,— произносит фрау Урбах и опять замирает в реверансе. Приподнявшись и видя, что его величество продолжает милостиво улыбаться, фрау Урбах тихо говорит:

— Majestät, разрешите представить мою дочь, фрейлейн Мари Урбах...

Она повертывает голову вправо и натыкается на чей-то изумленный и растерянный взор. Она поворачивает голову влево и встречает чужое испуганное лицо. И вдруг ее декольте обжигают сзади какие-то бредовые слова:

— Фрейлейн Мари здесь нет!

— Вы не можете отыскать свою дочь? — слышит она. «Боже, неужели это говорит король?!»

— Majestät,— шепчет фрау Урбах.

— Пустяки,— смеется его величество,— со мной сегодня случилась штука похуже: меня окрестили здесь морским волком, а меня тошнит, когда я проезжаю мостом через Эльбу...

Фрау Урбах еще находит в себе силы улыбнуться на королевскую шутку, находит силы подать его величеству руку. Потом она оборачивается к разодетым фрейлейн и фрау, окидывает их непродолжительным взглядом, и ее почти выносят из зала.

Если бы взгляд фрау Урбах упал на цветы, о которых должна идти речь в этой главе, они увяли бы из сострадания.

Час, в который началась война, родился под знаком вокзалов. Гороподобные, изрытые подземными ходами, перетянутые мостами и переходами, оплетенные железными клубками рельсов, в вечном содрогании и воплях — вокзалы делали войну. Как исполинские пылесосы, они втягивали в свои прокопченные жерла неисчислимые пылинки, собирали их в генераторах, протаскивали трубами и выплевывали вон, в войну. Раз призванные к жизни, они не переставали ни на секунду дышать стонущей своей стальной грудью, и каждый вздох их всасывал и выдувал человеческую пыль.

В час, рожденный под знаком вокзалов, люди стекались на дороги, покрытые каменноугольною пылью, залитые маслом и нефтью, на дороги, которые вели к войне. И люди устлали эти дороги цветами и лепестками красных роз, засыпали железные клубки рельсов, так что не видно стало каменноугольной пыли, ни масла, ни нефти. Солдаты в походной форме воткнули розы в дула винтовок, и за патронташи, и за крышки ранцев, и тяжелыми толстокожими сапогами попирали розы на перронах и рельсах. Разве соберешь все цветы, постланные отечеством на пути армии в походной форме?

Армия в походной форме вливалась в генераторы и неслась по трубам, чтобы, подобно газу, смешавшись с воздухом, сгореть в войне. И солдаты — распаленные железным стоном вокзалов, вздыбленные беснованьем толпы, ликующие, молодые — брали приступом вагоны, украшая их стены смешной росписью:

— Вот вам француз, завоеватель вселенной!

— Вот сербский Петр после похода в Вену!

И жирной четкой надписью белели осанистые буквы на каждом вагоне:

В ПАРИЖ!
В ПАРИЖ!
В ПАРИЖ!

Это был час, в который аромат роз заглушил собою нефтяную горклость и каменноугольную вонь...

Когда Мари с порученьем фрау Урбах пришла на вокзал, он только что встретил короля и собирался начать жить обычною своей жизнью: жить для войны. Маршевая рота ландштурма отправлялась на фронт, да кучка новобранцев, в ожидании путевки, расползлась по переходам, туннелям и рельсам. Как всегда, шли маневры, и вокзал сотрясался в стальной дрожи.

Ландштурм, расстававшийся с женами и детьми, убрал свои винтовки цветами. Это были чахленькие гвоздички и потерявший душистость горошек,— потому что роз, устилавших когда-то путь армии в походной форме, уже не стало и потому что розы были слишком дороги для жен, которых покидал ландштурм.

Скучавший, усталый от ожиданья новобранец, безусый плосколицый малый, слонялся по запасным путям. Здесь было безлюдно, вокзал втянул в себя все живое, вокзал только что встретил короля. По запасным путям шаркали дозоры непокойных локомотивов. Новобранец со скуки остановился у товарного вагона, со скуки поднял валявшийся на полотне кусок мела, со скуки начал выводить мелом на стенке вагона:

В ПАРИ...

Пронзительный, как свисток, голос хлестнул его по руке:

— Что ты там мажешь? Кто за тобой будет убирать?

Малый обернулся. По рельсам шла уборщица вагонов. Лицо ее лоснилось от масла, руки были черны. Он хотел что-то ответить. В конце концов он — солдат, его угонят скоро на фронт, он будет воевать, а чумазая баба попрежнему будет пачкаться на станции, и ее недурно выругать каким-нибудь фельдфебельским словцом. Но новобранцу скучно, он устал от ожиданья, и воздух вокруг него изнывает от железных стонов, и само солнце томится, как новобранец. От сильного удара мел прилипает к вагону белой кляксой, и новобранец бороздит каблуками песок полотна, волочась к вокзалу.

Уборщица вытирает вагон масленой тряпкой, и губы ее что-то шепчут, но слов не разобрать за шарканьем локомотивов. Может быть, она пожалела новобранца? Может быть, ее муж уехал в вагоне с осанистой надписью:

В ПАРИЖ!

и не вернулся домой? Может быть, она даже возненавидела Париж?

Вокзал не знает этого, вокзал делает войну.

Человеческие пылинки плавают в туннелях на переходах и по залам. Среди них Мари. Она исполнила поручение фрау Урбах и собиралась вернуться в город, чтобы попасть в ратушу. Но на перроне, еще дышавшем торжественностью королевской встречи, ее задержали ланд-

штурмисты, уходившие на фронт. Это случилось так.

Дали команду к посадке.

Шум из благословений и плача, лязга штыков и скрипа амуниции поднялся к стеклянному перекрытию вокзала и упал вниз, точно сбитый сверху порывом ветра. Серые люди откатились к вагонам и безмолвно стали вдоль их линий, не отрывая своих глаз от глаз людей, оставшихся у станционных окон. Через платформу, от вагонов к вокзалу протянулись взоры сотен остановившихся глаз. Это было прощанье. И если бы не врожденное свойство человека видеть малейшее нарушение однородности массы, это прощанье запечатлелось бы, как всякое другое массовое действие:

«Идет толпа».

«Публика рукоплещет».

«Народ молится».

«Мобилизованные прощаются с женами».

Но однородность массы была нарушена, и люди внезапно увидели свершавшееся в свете, которого прежде не знали.

Черномазый неуклюжий ландштурмист не исполнил команды и остался в толпе провожавших, у станционного фасада.

Он стоял, положив длинные руки на плечи бледнолицей женщины, буравя сухими глазами ее усталый взгляд. Он был в явном преимуществе перед своими товарищами, потому что глаза его жены мигали прямо против него и потому что последний поцелуй еще предстоял ему, тогда как у всех его товарищей он был уже позади. Может быть, из зависти кто-то крикнул:

— Ну, поцелуйся, что ль, сорокадвухсантиметровый!

И он поцеловался.

Он согнул в локтях свои длинные руки, и бледное лицо жены приблизилось бесстрастно и мягко к его груди. Он наклонил голову, ворот шинели оттопырился над его горбом, ранец тяжело пополз к пояснице, он прикоснулся черными усами к потному лбу женщины.

И она спросила:

— Что передать нашей маленькой?

— Передай нашей маленькой...— начал он, выпрямившись.

Руки его соскользнули с ее плеч, повисли и заболтались в воздухе, потом с трудом стали подниматься к голове.

— Передай нашей маленькой...— громче повторил он. И начал тихо приседать.

— Передай нашей маленькой...

Руки его вдруг обхватили голову, каска подскочила над ней, упала на горб, на ранец, скатилась на пол. Он сел на корточки, опершись руками на колени, и провопил:

— Нашей ма-лень-кой!..

И опять еще сильней и протяжней:

— Нашей ма-лень-ко-ой!

Унтер-офицер торопливо подбежал к нему и крикнул:

— На место!

Ландштурмист быстро встал и, не взглянув на жену, не подняв каски, с голой головой пошел к вагону.

— Покрой голову! — крикнул унтер.

Но было поздно.

Сотни рук протянулись от толпы, стоявшей у станционного фасада, через платформу, к линии серых людей у вагонов, и сотни воплей вскинули кверху мужские имена:

— Пауль! Карл!

— Роберт! Пауль!

И им ответили грубые, хриплые, надорванные голоса мужчин:

— Мария! Анна!

— Лизбет!

И руки, простертые из толпы, стоявшей по линии зданья, встретились с руками, протянувшимися от вагонов.

Тогда командиры сделали вид, что еще не давали команды к посадке.

В комнате, которую прежде занимал monsieur Перси, жил унтер из вольноопределяющихся. Он был общительнее и шумнее monsieur Перси, носил необычайно высокие воротники и на поясе, вместо штыка, маленький финский ножик. Финский ножик был в моде, а унтер следил за модой, был обходителен, в меру патриотичен, читал в переводе Уайльда и называл его, как все: Вильде. Его самого звали Дитрих.

В этот день он пригласил к себе своего фельдфебеля на чашку чаю. Чашка чаю — обычай иностранного происхождения, в нем что-то английское, что-то русское; и в самом слове «чай» Дитриху слышалось нечто либеральное, особенно в этот день, день разгрома английского

флота. Чашка чаю по случаю победы над Англией — такой жест мог понравиться и на Фридрихштрассе в Берлине.

Гостями Дитриха, кроме фельдфебеля, были Пауль Генниг, его жилец Андрей Старцов и фрейлейн Лиси.

Дитрих перегибался, обращаясь по порядку к гостям и предлагая кексы. Фельдфебель пощипывал коротенькими пальцами струны цитры, инструмент хныкал и жалобился, лицо музыканта — корявенькое в крапинках, как пряник,— печально улыбалось. Фрейлейн Лиси — кругленькая пухлая чернявочка — строила глазки стараясь угодить всем сразу.

Пауль Генниг был, видимо, потрясен и, как человек, только что переживший необычное, казался не похожим на самого себя: притих, снизил голос, сузился. Но по лицу его, слегка вспотевшему и лоснившемуся, как медный тазик, бродили отблески гордыни.

— Само понятие интернационала,— произнес он после долгой паузы,— предполагает существование различных наций, о!

— Очень верно, очень верно. Возьмите кекса,— сказал Дитрих.

— Я знаю, что говорю. Это есть у Бебеля.

— Неужели он так долго с вами разговаривал, герр Генниг? — чуть слышно спросила фрейлейн Лиси, и ее пухлые локотки и плечики подернулись рябью ямочек.

— Он спросил: от парикмахерского цеха? — и подал руку. Я ответил: так точно, ваше величество, от цеха парикмахеров, и пожал ему руку. У вас сильный голос, вы хорошо прочли адрес, сказал он. Я ответил, что состою в Обществе друзей хорового пения и пел сегодня в ратуше «Wacht am Rhein»[1]. Тогда он спросил: может быть, вы состоите еще в каком-нибудь обществе? Я прямо заявил: ваше величество, я социал-демократ.

— И он ничего? — воскликнула фрейлейн Лиси.

— Он без всяких предрассудков, наш король,— снисходительно заметил герр Генниг.— Он поклонился и отошел. Я ему тоже поклонился. Потом я отправился выпить с нашими ребятами, и они одобрили, что я так прямо заявил королю, кто я.

— Очень хорошо! — сказал Дитрих.— Герр фельдфебель, сыграйте что-нибудь еще. Фрейлейн Лиси...

— Ах, сыграйте, сыграйте,— попросила чернявочка.

---

[1] «Стража на Рейне» *(нем.)*.

— Конечно, хорошо,— произнес герр Генниг, отваливаясь на спинку кресла.— Я говорю, что наша национальная черта — честность. Я заявил честно: я социал-демократ.

— Насколько я понял,— печально сказал фельдфебель, оторвав глаза от цитры и взглянув на Андрея,— герр Старцов говорил о том, что социалистам вовсе не следует представляться королю. Не правда ли?

Голос Геннига немного окреп:

— Андреас славный парень, но он не понимает, что честность — наша национальная черта. Андреас нигилист — о! нигилист! — он не признает тактики, так-тики, о!

— Кексы, пожалуйста,— сказал Дитрих, обеспокоенный бурной волной парикмахерского баса.

Но герр Генниг внезапно перешел на сочувственный тон:

— В русских много любви. Это я давно хотел сказать. Какой толк из такой любви? Тактика, Андреас, тактика! Почему мы любим отечество? Потому что ненавидим его врагов. Любовь появляется после ненависти! Ненависть цемен-тирует любовь, о! Когда люди возненавидят одно и то же, тогда приходит любовь, Андреас хочет любить — и не умеет, не умеет, черт возьми! Это я давно заметил. Почему? Потому, что ему нечего любить, потому, что он любит все одинаково. Нигилист! Он не понимает, что людские дела надо ненавидеть вместе с людьми, которые их творят...

Герр Генниг вздохнул и потянулся, как после хорошей свиной котлеты. Он был доволен стилем речи и прищурился на прозрачную ясность своей философии.

Андрей набрал в грудь воздуху и обвел всех глазами. Лицо Дитриха перекосилось в умоляющую улыбку: он страдал от предчувствия, что чашка чаю омрачится неприятностью. Фельдфебель уныло поник над цитрой. Чернявочка истомленно поводила веками, и взгляд ее говорил о вещах более простых и прекрасных, чем споры.

Ах, это были хорошие люди — унтер Дитрих, его фельдфебель и фрейлейн Лиси! Что можно было им сказать, когда каждым своим движением они молили о молчании? Разве не понимали они Андрея? Хорошие люди, хорошие люди...

Андрей выдохнул из груди тяжелый воздух, набранный для вопля, и поднялся.

— Простите,— сказал он тихо,— я сейчас вернусь.

Темным коридором он шел, сгорбившись и нагнув голову. Если бы кто-нибудь встретил его здесь, он показался бы стариком, волочащим за собою груз многолетних мучений.

Он не задумался над тем, что дверь его комнаты стояла настежь. Он прикрыл ее и направился к постели, когда из полутьмы угла, с дивана, его настигли чуть внятные слова:

— Что с вами?

Он обернулся и долго стоял, вглядываясь в угол, в смутное пятно, похожее на чье-то лицо.

— Вы больны? — расслышал он снова.

— Нет, ничего,— ответил он.

— Почему вы держитесь за голову?

— Разве я держусь? — спросил он, опуская руки. И вдруг вскрикнул:

— Это вы?

Тишина, обрезавшая этот крик, придавила Андрея непомерной тяжестью. Он еще больше сгорбился, и против воли у него вырвался короткий, жалкий стон. Но в тот же момент тишину разорвал звенящий, почти исступленный голос:

— Да, да, да!

И Андрей рванулся к дивану, навстречу белому платью, навстречу тонким протянутым рукам, навстречу внезапно прояснившемуся, отчетливому лицу.

— Мари!

Он схватил и сжал ее руки так сильно, что от боли она зажмурилась и, чтобы не вскрикнуть, закусила губу.

— Да, да, это я,— бормотала она, силясь усадить его рядом с собою, а он мял ее руки неловко и жестко, и сквозь шум его дыханья не разобрать было, что он хотел сказать. Потом они опустились на диван.

— Я должна была прийти.

— Должны, конечно, должны,— вторил Андрей, и слова его были, как летящие чурки, перепутаны, рассыпаны.

— Я знал, я ждал... должны, конечно, ждал...

— Я давно хотела. Я не могла не прийти...

— Не могли, я ждал вас... Хорошо, хорошо...

— Вы знаете почему?

— Конечно, конечно!

— Но почему?

— Я ждал каждый день.

— Месяцами я думала о том, что приду. Вы несчастливы, вы принесли мне несчастье.

— Я?

— С тех пор как мы встретились, меня преследует несчастье. По пятам. Стоит мне выйти из дому, как я что-нибудь вижу, от чего потом нет покою. Как тогда, в парке. Эти слепые не давали мне спать. Они все тянулись мимо меня, как только я закрывала глаза. Помните, как они держались друг за друга? Как вытягивали вперед руки? И головы вверх, помните?

— Они всё прислушивались к чему-то.

— Да, да! И я прислушиваюсь с тех пор, точно ослепла, точно мне подменили глаза и я не умею смотреть ими, чужими глазами. Знаете, что я думаю?

Мари остановилась.

— Чужие глаза? — переспросил Андрей.

— Ваши глаза, — сказала она, пристально вглядываясь в него, как будто проверяя свою мысль.

— Мои? Может быть.

— Я уверена. Это наверно так. Я что-то потеряла. Раньше все было просто... и нужно... После встречи в горах... одиночество... И ни минуты покоя. На каждом шагу! Сейчас я металась по городу, по улицам, не знаю где. На вокзале я увидела, как уезжают на фронт. Сто раз я провожала солдат и ни разу не догадалась, что это — проводы приговоренных! Когда солдаты заносили ноги на подножки вагонов, мне казалось, что они всходят на эшафот.

Андрей сказал тихо:

— Вот уже третий год, как я смотрю на казни. Каждую секунду умирают люди. Мы все стоим в очереди к эшафоту. И я думаю все чаще о палаче.

— Судьба?

— Люди, а не судьба.

— Какие люди?

— Мы с вами. Все.

Он подвинулся ближе к Мари, взял ее руку, провел по ней ладонью, ощутил теплоту и ровность кожи и еще тише сказал:

— Мы обрекли сами себя.

– Мы?

— Надо было задуматься над тем, как мы устроили мир.

Мари качнулась к нему и по-ребячьи просто, доверчиво и порывисто спросила:

— Как мы устроили мир?..

Здесь наступило время торжественно сдержать клятвенное обещание говорить в этой главе о цветах. Это нужно сделать, это необходимо сделать, не теряя понапрасну ни одного слова, ни одной строки. Потому, что в этот час Мари вступила на путь женщины, которая любит. И потому, что на много страниц мы отделены от описания молодых, всегда внезапных и волнующих чувств, или нежной грусти, или прелести слов, смысл которых так же далек от их значенья, как война далека от любви.

Андрей и Мари говорили о войне. Они говорили о войне, и руки их сцеплялись в пожатьях, ощупывали и ласкали пальцы, ладони, запястья. Они говорили о том, что жизнь сминает и топчет людей, что люди сами виновны в этом, и лица их вспыхивали от перемежающегося неровного дыханья. Они говорили, что мир залит кровью, что кровь течет по земле нескончаемой рекой, что по коленные чашечки в крови шествует среди людей смерть,— и губы их встречались сами собой, влажные, соленые от выступавшей крови. Они говорили о конце, который рушит и уничтожит все,— и закладывали начало, из которого все произрастет. Они были молоды, они были сильны, и из всего, о чем они говорили, им запомнилось только то, что они любят друг друга.

Андрей поднялся — быстрый, выпрямившийся, вздрагивающий, как после ночи на голой весенней земле,— и повернул в двери ключ.

Может быть, Пауль Генниг был прав, говоря, что когда люди возненавидят одно и то же, тогда приходит любовь?

Его королевское величество милостиво разрешил обер-лейтенанту фон цур Мюлен-Шенау носить во всякое время — даже на смотрах и парадах — мягкую фуражку. Обер-лейтенанту трепанировали череп и вынули часть раздробленной височной косточки. Операция была проделана трижды, обер-лейтенант переносил страдания, как солдат; почти полгода рассудок его скользил по кромке между светом и тьмою, но врачи были искусны, молодость сильна, и обер-лейтенант поправился. От затылка к правому уху бежал глянцевато-розовый шрам, но

лицо обер-лейтенанта играло цветами восхода, точно отражая краски ленточек, украшавших мундир. Он был самым замечательным человеком в Бишофсберге, самым замечательным после обер-лейтенанта Адольфа Урбаха, получившего орден pour le merite. Но тому везло: Адольф Урбах прошел всю Бельгию, вступил одним из первых в Мобеж, был в Седане, дрался под Верденом — и хоть бы одна царапина! Фон Шенау дошел благополучно до Северной Шампании, выбил французов из укрепленного участка и тут же, в первом деле, в первой мало-мальски геройской схватке, ничтожный осколок вывел его из строя, и сразу лазареты, лечебницы, курорты, консилиумы — мягкая, ползучая, нудная муть. Офицеру оскорбительны перевязки, постельное белье, компрессы и клистиры. Офицер командует, рубит, входит в крепость, взрывает арсеналы, устраивает смотры и получает ордена. Обер-лейтенант Урбах — самый замечательный человек в Бишофсберге, потому что у него орден pour le merite. У обер-лейтенанта фон цур Мюлен-Шенау только два Железных креста — первой и второй степени. Но Урбах не приезжал ни разу в отпуск, а фон Шенау гуляет по вечерним улицам Бишофсберга, и его все видят, его — раненого кавалера Железного креста первой и второй степени и других орденов, ленточки которых расцвечивают мундир красками восхода.

— Девочки, девочки! Он повернул за угол!

— Он зашел в кафе!

— Я предлагаю идти покупать кухены!

— А если он будет пить кофе?

— Сесть за соседний столик!

— У него такие глаза!

— А рот?

— Ах, рот!..

— Какая счастливая!

— Кто?

— Мари.

— На ее месте, я...

— Он смотрит! Он улыбается! Пойдемте!

Вечером город кажется неизведанным, таинственным, людным. Огни магазинов переряжают человека на каждом шагу. Вот он мрачен и загадочен, вот ласков и простодушен, вот печален, вот радостен. Если хочешь перелить свое счастье в мускулы и кости, испробовать его на ощупь, ладонью — выйди на улицу в час, когда только

что засветились фонари и лавки, пробеги сквозь снующие по тротуарам девичьи выводки, разминись с ловеласом, бездельником и жуиром, посторонись занятого, озабоченного человека,— и тебе покажется, что вся жизнь зажата у тебя в пригоршне и ты волен выпить ее залпом или выплеснуть на дорогу...

Когда Мари, крадучись по променадам, вернулась от Андрея домой, обер-лейтенант фон цур Мюлен-Шенау прохаживался на площади ратуши. Было привычно хорошо слышать вокруг себя шепот, чувствовать на своей груди взгляды прохожих, отвечать на стремительные поклоны гимназистов и козырянье солдат, знать, что встречные оборачиваются и смотрят вслед. Мундир помогал нести легко и прямо разгоряченное тело, сабля нет-нет отскакивала от упругой ляжки, и придержать ее слегка двумя пальцами было приятно. Каждый десятый — двенадцатый взгляд встречных глаз чудился ему зовущим и нежным, и где-то в висках, точно от вина, плавали круги, то черные, как накрашенные ресницы, то алые, как губы.

Он зашел в магазин, в окне которого были выставлены картины, походил по рядам полотен и рам, весело щурясь на огни рефлекторов и работы доморощенных художников, полистал и велел отложить гравюры.

Из магазина он не вышел, а вылетел — разрумяненный, стремительный, овеянный запахом свеженадушенной униформы. Сабля шаркнула по двери, задела за штору, ноги запружинили по асфальту — и вот он опять в мягком дурмане вечернего часа, среди улыбок, шепота и взглядов.

Бородатый сутулый ландштурмист, оторопев перед офицерским мундиром, внезапно блеснувшим в толпе, неуклюже взмахнул рукою.

— Вы чуть-чуть не отбили мне нос, старикан,— с улыбочкой сказал фон Шенау, остановив солдата.— Вас следовало бы подержать в казарме. Отдайте честь по правилу.

Ландштурмист повернулся, отошел на несколько шагов. Прохожие остановились. Бородач, припечатывая подметки к асфальту, двинулся к офицеру, вскинул локоть. Кто-то громко засмеялся.

— Назад! — крикнул фон Шенау.

Публика быстро скучилась по сторонам, образовав коридор, по которому свободно маршировал солдат. Он

был явно плохой, может быть худший, строевик, и движенья его были жалки, он шел, как птица, тычась вперед носом на каждом шагу. Это было точно в оперетке.

— Назад! — скомандовал фон Шенау, вдруг осипнув.

Гимназисты хихикали, подобострастно заглядывая в лицо офицеру. Какая-то барышня всплеснула в восторге руками. Ландштурмист в третий раз прогромыхал сапогами и взмахнул еще безобразней рукою.

Фон Шенау давило какое-то слово, над воротником его взбухли жилы, он весь отвердел от напряженья.

В этот миг кто-то гулко крикнул сзади:

— Позор!

Фон Шенау вздрогнул и вдруг увидел себя — героя Шампани, кавалера Железного креста, офицера саксонской армии — перед толпой, ждавшей развязки, достойной мундира, титула ордена. Через минуту весь город будет знать, как поступит офицер, когда над затихшей толпою повисло, как пощечина, слово *позор!* — весь город! Через час — все газеты, через день — вся страна! Теперь, не теряя ни секунды, в тишине, на виду у всех, для сотни глаз и ушей, надо решить, что делать, надо найти выход!

Фон Шенау шагнул к ландштурмисту, стоявшему с прижатой к голове рукою, и раздельно проговорил:

— Вы слышали, как народ заклеймил ваше отношение к службе? Хороший урок. Ступайте!

Потом повернулся и, рассекая толпу, врезываясь в одобрительный ее гул, быстро, пружинно заскользил по тротуару.

Он шел к Мари.

Казалось, что вечерние огни померкли, выдохлись, остыли, что люди смотрели на него — героя Шампани — недовольно и солдаты козыряли сдержанно, без охоты.

Он жалел, что затеял нелепую сцену, и его раздражало чувство какой-то обиды. Он не мог отвязаться от застрявшего в ушах гулкого крика: «Позор!» — и не мог забыть той секунды, когда он принял этот крик на свой счет. Конечно, этого не было, этого не могло быть! Тот человек, что крикнул,— взглянуть бы на его лицо! какой он? — пережил, в сущности, то же чувство, что и он, обер-лейтенант: такой солдат, как этот ландштурмист, позорит армию. Позор, позор! Но боже мой, какая тоска на улицах этого городишки! И какие нудные, серые, неприятные бюргеры! Если бы не Мари, он не остался бы здесь и одного часа. А с ней — с ней хорошо.

Он входит в ее комнату, тихо прикрывая за собою дверь, и, вглядываясь в сумрак, говорит:

— Вы не заняты?

Мари вскакивает с дивана, оправляет торопливо платье, молчит. Смутные слова подкатываются к ее горлу, но произнести их нет сил.

— Какая глупая история! — восклицает фон Шенау и, осторожно прощупывая темноту, присаживается на краешек дивана. Он рассказывает о нелепом ландштурмисте, похожем на птицу, и о том, что армия опускается, дисциплина падает, что косорукие и косолапые бородачи не годны даже в кашевары.

— Но ведь это и есть Германия! — перебивает Мари, и ей кажется, что вся мебель вдруг насторожилась, привстала на цыпочки, заострила уши.

— Н-да... гм-м... весьма вероятно. Н-но я говорю об армии... Это не совсем одно и то же. Когда этот увалень продемонстрировал свою выправку, кто-то из толпы крикнул: «Позор!»

— Это относилось к солдату?

Маркграф привскочил, бросил взгляд на дверь: она была плотно закрыта. Тогда он сложил руки на груди и начал ходить по комнате.

— Я, кажется, понял тебя, как ты хотела. Но неужели ты думаешь, что я не зарубил бы на месте негодяя, который посмел бы оскорбить в моем лице...

— О-о, конечно! Я не сомневаюсь ни минуты! Ведь для офицера нет другого выхода.

— Нет выхода?.. Впрочем, оставим. Ты сегодня в дурном расположении духа?

— Да.

— Жаль...

Он подошел к дивану, потянулся к Мари обеими руками. Она забилась в угол.

— Жаль. Я хотел тебе напомнить, что нам надо поторопиться...

— Почему «надо»?

— Мари!

— Прости.

— Комиссия признала меня здоровым. Я получил назначение на Восточный фронт.

— В таком случае зачем спешить?

— Два года назад...

— Ах, два года! Еще два часа назад я могла думать, что это необходимо!

Он вдруг зажал ее голову в своих ладонях.

— Что случилось, Мари, два часа назад?

Можно ли было в темноте, улегшейся по углам ночи, разглядеть, как в глазах Мари переместились отблески двух решений? Сумрак стал тьмою, зрение привыкло к ней, но преодолеть ее не могло, и взор тянуло к окну, белевшему слитными огнями глубоких улиц.

Мари поддалась движению зажавших ее голову рук, засмеялась тихо и голосом, который укрощает мужчину, сказала:

— Глупый. Я сама не знаю, почему я такая взбалмошная.

— Значит, когда?

— Нет, нет. Я только ответила на последний вопрос.

— Но меня могут услать каждый день!

— Не все ли равно, отправишься ты с кольцом или без кольца?

— Для меня, понимаешь, Мари, для меня не все равно... Ну?

Мари встала. Фон Шенау подался вперед, устремившись за ней, и вдруг, потеряв всю прямизну и отчетливость, обер-лейтенант повис на краю дивана каким-то комком.

— Ну?

— Я не хочу.

— Мари!

— Вас смущает неопределенность? Вам неловко перед посторонними?

— Я люблю тебя.

— Я знаю.

Он поднялся, новая, упругая униформа выпрямила его, он наклонил голову.

— Я вижу, сегодня с вами нельзя спорить. До свиданья.— В дверях он обернулся.— Может быть, вы приедете в Шенау?

— Может быть.

И вот Мари снова одна. Руки ее быстро взлетают в воздух, вытягиваются над головой: она подымается на носки — тонкая, легкая, неслышная, и дыханье ее стелется покойным, согласным с ночью шорохом. Она ложится, ее обступает неразличимая в темноте беззвучная мебель, и комната кажется ей странно похожей на жилище Андрея...

Обер-лейтенант идет к вокзалу. По сторонам переме-

жаются взгляды, улыбки и шепоты, грудь его по-прежнему несет Железные кресты первой и второй степени, но ему холодно, сабля мешается под ногами, огни кругом мерклы и убоги. Он берет билет до Лауше и отыскивает пустое купе.

ПОБЕГ

Цитадель стояла безмолвной и неприступной. Старые камни ее были багрово-сини; между плит, опоясавших основанье узкой дорожкой, пробивалась зелень плесени и грибов: по плитам не ступала человеческая нога.

Старомодные домики испуганно таращили свои оконца на цитадель и пятились от ее подавляющей мрачности, образуя просторную кольцевидную площадь. Но люди привыкли к цитадели. В детстве они играли подле нее в орла и решку, залезали с приступа фундамента друг другу на спины, пачкали древние камни стен мелом и красками. В цитадели помещались тогда городские весы и сеновалы, и багрово-синяя крепость была похожа на старого беззубого медведя, свернувшегося погреться на солнышке.

В войну из цитадели убрали весы и вывезли сено, в окна под крышей вставили решетки, у входа водрузили полосатую будку и — на десять шагов от узкой дорожки — вокруг крепости протянули веревку. Первое время бишофсбержцы косились на своего ручного медведя, превратившегося в неприступного, хмурого зверя. Потом привыкли к тому, что у цитадели нельзя мешкать, что каждые шесть часов в будке меняется караульный и что за решетками под крышей сидят преступники. Крепость перестали замечать.

И вот в истомленный солнцем день, когда жизнь плелась, как дроги по песчаному грунту, над площадью повис протяжный вой:

— А-а-а-аау!..

Прохожие остановились, повернули головы, приподняли брови, обращаясь к самим себе:

— Нна-ну! Что это может быть?

Вой упал на площадь снова, прокатился пугающим ветром:

— А-а-а-ау!

Стало ясно, что голос исходил из цитадели. Какой-

то бюргер, сорвавшись с тротуара, поднял руку и крикнул:

— Вон, в окне!

Все головы обернулись к цитадели.

— Где, где?

— Под крышей!

Люди собрались неожиданно быстро. Выбегали из домов, бросались к веревке, заграждавшей крепость, кучились в толпу и расползались поодиночке, запрокинув головы, прикрываясь от солнца руками, не отрывали глаз от окна под крышей цитадели.

— А-а-а-аау! А-а-а-ау!

Сквозь разбитое стекло, через звено решетки высунулась наружу рука. Пальцы ее то разжимались, то скрючивались в кулак, и на солнце было видно, как из ссадин катились по белому телу черные струйки крови: кулак был исцарапан, и синего солдатского сукна рукав бахромой болтался у локтя.

Из-за решетки вырывался неутихавший вой:

— А-а-а-ау!

Кто-то из толпы распознал бахрому униформы и закричал:

— Немецкий солдат!

И сразу над головами порхнуло и забилось крыльями тревожное слово:

— Солдат! Солдат! Немецкий солдат!

Чей-то пронзительный голос, почти визг, взлетел под крышу цитадели:

— Что там случилось, товарищ?

Но в ответ по площади стлался все тот же отчаянный вой:

— А-а-а-ау!

Андрей стоял поодаль от толпы, сжав зубы и устремившись всем телом вверх, к цитадели. Ему казалось, что вопившего человека какая-то страшная сила оттаскивает все время от окна, рука цепляется за воздух, за свет, то прячась за решеткой, то опять высовываясь наружу. Он разглядел пальцы, зажавшие крепко решетку, звеном ниже того, в которое просунулась рука. Он отчетливо, точно перед ним раздвинулась стена, видел, как заключенный солдат, подтянувшись на правой руке, висел на решетке и левой — свободной — ловил свет и воздух за стеною, на воле. Вдруг ему почудилось, что какие-то люди виснут на ногах солдата и бьют его в спину, силясь

оторвать от решетки. Он едва не завопил вместе с заключенным на всю площадь.

В это время над самым ухом Андрея раздались короткие звенькающие звуки:

— Bonjour, bonjour, bonjour!

Андрей обернулся. Низенький котелок чуть приподнялся над морщинистым, неподвижным, как маска, лицом.

— Monsieur Перси!

— Да, monsieur, это я. Меня решили спрятать в этот мешок.

Monsieur Перси повел пальцем на цитадель.

— Там весело, как видно,— добавил он и прищурился на руку, крючившуюся под крышей крепости.

Андрей огляделся. По бокам monsieur Перси остолбенели двое молодых солдат под винтовками. Разинув рты, они глядели на цитадель. Смятение толпы охватило их, и, пораженные, сбитые с толку, они забыли о своем долге. Рядом с monsieur Перси, заложив руки за спину, покачивался человек в вязаной куртке. Седоватая щетина усов и бороды, давно не бритая, блестевшая от жира, делала его улыбку мягкой и нежной. Улыбка ширилась, расцвечивала светлые глаза, обнажала желтые сточенные зубы, и вдруг тихий голос обдал лицо Андрея ласковым теплом:

— Не припоминаете?

— Мастер Майер? Вы?

Мастер Майер взял Андрея за руку и слегка потряс ее — благожелательно, как ребенку.

— Не мастер Майер,— произнес он по-прежнему тихо,— а враг отечества. Что делать? Я всегда говорил, что происходит свинство. Меня обвиняют в политике. Может быть, это и есть политика, что я против войны? Что вы скажете?

— Как все это случилось, мастер? Как вы очутились здесь?

— Очень просто. Все дело в том, что кругом одно свинство. Как живется вам, милый герр Старцов?

— Скажите лучше, что с Куртом?

Беспокойство на площади улеглось, но толпа не расходилась. Рука заключенного исчезла, разбитое окно за решеткой зияло черной пустотой, воплей не было слышно. Конвоиры спохватились, и один из них — помоложе и поживей — прикрикнул на Андрея:

— Не разговаривать!

— Что стали? — сказал другой, подталкивая в локоть monsieur Перси.

— Adieu,— сказал тот, приподнял котелок и двинулся к цитадели.

Мастер Майер успел кивнуть Андрею головой и сказать:

— Герр Ван уже добрый год в плену, в России.

Потом он по-солдатски поправил ногу и пошел плечом к плечу с monsieur Перси. Конвоиры взяли удобней винтовки.

Андрей видел, как они подошли к воротам цитадели, как остановились перед караульным. Вырезанная в воротах низкая, медленно раскрывавшаяся калитка поглотила monsieur Перси, мастера Майера, солдат. Калитка долго не закрывалась. Из нее вышел офицер, отчетливо промаршировал по плитам дорожки, опоясавшей цитадель, остановился против толпы и медным окриком ударил по ней, приподняв руку, чтобы дать знак, что хочет говорить:

— Прошу разойтись! Ничего особенного не случилось. Арестованный душевно заболел и отправлен в больницу.

Головы Мари и Андрея наклонены низко над круглым столом. На столе развернут план виллы Урбах и соседних владений. Мари водит по плану карандашом. Ее волосы запутанными космами спускаются на план, и желтый свет лампы, висящей над головой, пробивается сквозь них мерклой сетью пятен. Пятна колеблются на руках и на раскрашенном рисунке плана, карандаш то замирает на какой-нибудь точке, то ползет по ломаным линиям.

— Отсюда минут двадцать, — говорит Мари, — и ты выйдешь к Лесному посту семь. От него надо взять влево, на запад, по дороге.

— Погоди, я помечу.

На лоскуте бумаги Андрей вычерчивает кривую, перерубает ее жирной чертой.

— На запад. Дальше?

— Минут через десять с правой стороны ты увидишь ров. Это и есть граница. Но переходить ее здесь нельзя: тут всегда люди. Ты идешь прямо до перекрестка дорог, вот видишь? Это пограничный пост. Здесь наши солда-

ты. И дальше — прямо, прямо. Граница уклоняется здесь от дороги к северу. Я думаю, через три четверти часа ты можешь свернуть в лес и пересечь границу вот здесь. Я знаю, тут переходят всегда крестьяне. Это глухое место, и нужно только поосторожней идти.

Андрей встает и начинает ходить по комнате. Когда он приближается к лампе, видно, что лицо его смято заботой.

— Скажи, Мари, я прав?

— Да ты прав.

— Ты понимаешь, что здесь ничего нельзя сделать?

— Понимаю.

— Здесь опутан каждый мой шаг. Я просто не в состоянии что-нибудь начать. Я чужой. А я не могу больше бездействовать. Я должен бежать, должен!

— Но ведь это уже решено, Андрей!

Он бросается к Мари, прижимает ее к себе, смотрит ей в глаза, и взгляд его тяжел от недоверия и какого-то тоскливого испуга.

— Мне трудно расстаться. Впервые на этой земле — родной человек. Мари, слышишь, — родной, любимый! Я боюсь, что, если я оставлю тебя, ты будешь думать...

— Молчи!

— Но я не могу больше в этой цитадели! Меня давят люди, голоса людей, даже *добро* людей...

— Решено, Андрей. Решено! Мы ведь встретимся потом.

— Да, да.

Они опять наклоняются над столом, обнявшись, и водят пальцами по плану. Потом Андрей говорит:

— Каков теперь Курт? Наверно, он много испытал. Мне кажется, он должен перемениться.

— Наверно, — отвечает Мари, — судя по твоим рассказам, он славный парень.

— Итак, решено? — снова спрашивает Андрей.

— Решено...

Так хорошо воскрешать в памяти каждый поворот изученных тропинок и дорог, рассказывать о лесных сторожках, скалах и соснах, которые должен встретить Андрей.

Холодноватая жуть охватывает Мари, когда она называет полустанки, растянувшиеся по Богемии от границы до Рейхенберга. Как будто задумана новая проказа с веселыми приятелями детства. Как будто предприняты

розыски заговоренного клада. Как будто выкрадываются из кабинета отца планы виллы Урбах и соседних владений. Чем в жизни заменить сладость волнения, которую приносит тайна?..

Но на тусклой лестнице, перед тем как покинуть нелепый старый дом, с комнатой, похожей на манеж, Мари прислоняется к сыроватой, прохладной стене. Надо дать остынуть губам, на которых еще держится вкус поцелуев. Надо дать успокоиться, улечься сердцу. Надо решить про себя навсегда: почему же, почему теперь, когда только что пришла любовь, когда не притупилась еще первая ее нестерпимая боль, почему Андрей бежит?

Вокруг Лесного поста 7 переваливаются толстозобые утки. Их булькающее кряканье Андрей расслышал задолго перед тем, как в конце узкой просеки показалась коричневая сторожка поста. Чем дальше он забирался в горы, тем острее становился его слух. Он знал раньше лесной шум, непрестанно катящийся и слитный. Теперь этот шум расщеплялся на бесконечное число звуков. Потрескивание коры, падение ветки от тяжести опустившейся птицы, щелканье созревших сосновых шишек, скрипы и стоны высохших старых стволов, какие-то тончайшие шорохи стали отчетливы и звонки, как будто каждый из них звучал в глубокой тишине. Слух раздвигал заслоны из деревьев, камней и кустов, и Андрей видел то, что было закрыто для его глаз. Лицо его было спокойно. Он ступал размеренно ровно, тяжеловато, как крестьянин, возвращающийся из города домой. Нес он только холщовую сумку за спиной и палку в руке.

Девочка, нянчившая ребенка, стояла у входа в сторожку. Она прищурилась на прохожего, обмерила его с ног до головы тем взглядом, каким глядят на человека в безлюдных, глухих местах, и поправила на руках ребенка, как женщина.

— Добрый день,— сказала она.

— Добрый день,— ответил Андрей и повернул влево, на укатанную прямую дорогу.

Через четверть часа до него донесся кашляющий стон шарманки. Андрей заставил себя переставлять ноги попрежнему размеренно и тяжело. Он не знал, что его ждет на перекрестке, к которому приближался, но уже несколько ночей он засыпал с мыслью, что в побеге нужно одинаково спокойно встречать всякую неожиданность.

— Быть готовым, быть готовым,— твердил он про се-

бя, упрямо вминая в землю толстые негнущиеся подметки.

За деревьями мелькнула серая спина ландштурмиста. Потом выплыл и вычертился статно на красноватом фоне стволов массивный страж с винтовкой у ноги. Другой солдат сидел на ровно подпиленном пне, прислонив оружие к соседнему дереву.

На дороге, пересекавшей путь Андрея, под черной когтистой, жесткоперой птицей, набитой на столб, крутил ручку шарманки слепой старик. Шарманка была обращена к Германии, но деревянная ножка ее опиралась на государственную землю Австрии. Это был трогательный обход закона, запрещавшего собирать милостыню в Саксонии, апелляция нищеты к неумолимому порядку. Какой честный и благородный патриот не улыбнется песенке, легкомысленно пропетой признательной Веной? И чего можно ждать от этой беспечной Вены, кроме легкомыслия. Поскольку Вена не преступает чужих обычаев и законов, она приятна и мила.

Андрей остановился перед шарманщиком. Он смотрел на его притупленное безразличием лицо, на лысый череп, горевший круглым солнцем, на туго закрытые вздрагивавшие веки. Но пограничный солдат, стоявший вне фокуса зрения, запомнился ему крепче и подробней шарманщика, которого он пристально разглядывал. Он не сказал бы, какое лицо было у этого солдата и какие руки. Это был пограничный солдат, высившийся в двух шагах от беглеца. Андрей не видел ни его взгляда, ни его движений, но он узнал бы его среди тысячи других никогда не виданных солдат. Разве можно забыть человека, в руках которого побывала судьба?

Андрей вынул из кармана портмоне, достал железную монетку, медленно подошел к столбу, положил монетку в фуражку, лежавшую перевернутой на шарманке, и повернулся назад. Мельком он взглянул на другого солдата, сидевшего на пне. Он не смотрел на него раньше, но знал, что солдат не шелохнулся, пока он рассматривал шарманщика. У него было такое чувство, будто он видит спиной.

Он произнес, ни к кому не обращаясь:

— Добрый день.

И пошел дальше.

Его догнал тяжелый голос:

— Добрый день.

Он понял, что это ответил солдат, сидевший на пне.

И вдруг радостный, бесшабашный и смешной марш заплескался позади него, натыкаясь на деревья и отскакивая от камней.

Он переменил шаг и, в такт музыке, быстро и свободно двинулся вперед.

Неглубокий ров, тянувшийся вдоль дороги, заросший мхом и черникой, постепенно уклонялся вправо, все чаще и чаще исчезая в лесу. Путь шел под гору, легкий и прямой. Было тихо и прозрачно. Спустя три четверти часа Андрей, не озираясь, свернул направо, и его скрыли частые сосны.

Он знал, что с австрийской стороны пограничная охрана снята. Хозяин всегда бережется прислуги, но зачем прислуге беречься хозяина? Ее интересы нарушены самой природой вещей, создавшей господ и слуг.

От границы, оставшейся позади Андрея, до ближайшей станции железной дороги было не больше шести километров. План Андрея был прост. Он собирался проехать в Прагу, оттуда в Зальцбург и Инсбрук, потом — пешком к швейцарской границе. Для такого путешествия нужно было только одно: решимость. Она накопилась у Андрея за два года, и он почувствовал себя уже свободным, подходя к станционной постройке.

Он взял билет до Рейхенберга. В вагоне было просторно, поезд тащился нехотя, как все пригородные поезда, одряхлевшие от бесконечного мотанья на коротком, надоевшем участке. В окна дул бодрый предвечерний ветер, долетавшие до Андрея слова звучали по-новому, странно переплетаясь с чем-то родным, почти совсем понятным.

И люди казались неуловимо близкими, доступными и простыми настолько, что их мысли просвечивали сквозь решетки мохнатых бровей. И даже малейшие движения их были странно значительны грубоватой, какой-то неуклюжей простотой.

Вот старомодно подстриженный крестьянин подсел к окну и вытер платком пот на крутом белом лбу. Вот простодушно зевнул неприметный больной старичок. Вот распахнул дверь купе и вошел кряжистый, сухой мужчина с прямым и режущим взглядом глубоких глаз. В нем что-то открытое и достойное. Он подошел к Андрею. Он хочет, наверно, опуститься рядом с ним на скамью, он не сводит глаз с его лица,— они действительно режут, эти глаза, они, пожалуй, страшны, они оттал-

кивают от себя! Какой надменный и зловещий взгляд! Этот человек другой породы, других костей, он недоступен и жесток. Опасность, Андрей, опасность! Андрей готов ко всякой неожиданности каждую секунду, он знает заранее, как встретит неожиданность, когда она станет перед ним лицом к лицу. Однако неужели так скоро, так беспощадно скоро и просто?

— Ваши документы?

— Документы? Я возвращаюсь домой, в Рейхенберг. Я ездил до станции...

— У вас нет с собой никаких документов?

— С собой нет, я позабыл. В Рейхенберге вам нетрудно будет установить...

— Мне вообще ничего не может быть трудно. Я исполняю долг.

В дверях появляются двое высоких солдат. Они поджары, тонконоги, затянуты узенькими ремнями. Губы их сжаты, как ремни. Кряжистый человек перекидывает глаза с Андрея на солдат и идет дальше по вагону...

Конец.

Неужели так скоро, так беспощадно скоро и просто?

О нет! Андрей не перебегал границы! Кругом него те же люди, чьих голосов и смеха он бежал: плотная, омывающая каждую частицу тела толща. Он может вытянуть руки, повернуть голову или привалиться к стене. Но расправить плечи, чтобы вздохнуть всей грудью, ему нельзя. Трубочка, сквозь которую ему разрешено дышать, стала еще длиннее, воздух тянется по ней еще медленнее, и грудь работает из последних сил. Нет, это все те же люди, все та же страна, где все неизменно и прочно, как вкопанная в землю и залитая цементом железная штанга,— Германия!

Впрочем, нужно точнее думать и не поддаваться соблазну обобщений там, где обобщения напрашиваются сами. Мыслимо ли, чтобы в Германии случались происшествия, подобные тому, какое ожидало Андрея на вокзале Рейхенберга?

Андрея сняли с поезда и доставили на станцию. В сутолоке и шуме долго отыскивали военного коменданта. Нашли только его помощника, собравшегося в город. Было решено, за поздним часом, отложить допрос задержанного в поезде до утра. Вокзальная арестантская оказалась занятой пленными, и добрый час ушел на отыскание помещения для вновь арестованного. Помещение на-

шлось в таможенном пакгаузе, неподалеку от вокзала.

Это была небольшая комната приземистого дома, с окном, выходившим в реденький, худосочный сад.

Арестованный был заперт навесным замком и караульный получил приказ охранять окно со стороны сада.

Ночь была темна и мягка, какими бывают ночи только в августе, когда созреют хлеба и яблони расколются от тяжести налившихся плодов. В широком окне обозначался неподвижный горб караульного, но за ним багровели верхушки деревьев, освещенных огнем семафора, над деревьями, в черной пропасти, вздрагивали мутные звезды: их блеск был стерт гущей дыма и пыли, еще не улегшейся на землю.

Караульный долго стоял неподвижно. Потом он начал прохаживаться мимо окна взад и вперед. Гомон вокзала утих, и шаги солдата слышны были ясно. Постепенно они сделались размеренны, затихая и прекращаясь, когда солдат доходил до концов маршрута, к которому примерился, и становясь гулкими, когда он проходил мимо окна.

Андрей притронулся к раме. Она подалась бесшумно. Вероятно, окно давно стояло отпертым. Он высунул голову и присмотрелся к солдату. Тот отходил к углу дома, шагах в пятнадцати от окна, и, посмотрев за угол, откуда приползали станционные шумы, поворачивался назад. Андрей прикрыл окно, дал миновать его караульному и снова выглянул наружу. Вправо, до конца дома, было не больше десяти шагов, и в сторону сада тянулась грядка кустарника.

Андрей еще раз вслушался в шаги солдата. Главное было в том, чтобы не нарушать методичности его движений. Потом надо было воспользоваться тем коротким временем, когда караульный смотрел на вокзал. Больше было нечего предусмотреть. Случайность могла одинаково спасти и погубить.

Она спасла.

Андрей открыл окно, когда солдат отошел на пять шагов к дальнему концу маршрута. Андрей сел на подоконник, тихо сполз на животе и повис на руках. Оставалось рассчитать момент прыжка, который должен был совпасть с одним из последних шагов караульного. Прыжок был нетруден, до земли оставалось не больше полуметра. И вдруг пронзительный свисток паровоза, где-то совсем близко от окна, взвился и понесся в ночь.

Андрей отпустил руки, припал к земле и кинулся в темную гущу кустов. Ожоги их были остры, и боль от ударов и царапаний — жестка, но разве только железо могло бы остановить этот бег.

Свисток все еще оглушал округу — разящий и подавляющий, как ураган. И когда отголоски его разместились по невидимым тайничкам ночи, Андрей был посреди огромного пустыря, упиравшегося в железнодорожную насыпь. Он перебежал ее и быстро пошел вдоль полотна...

Конечно, это была другая страна, куда попал Андрей,— страна простодушного люда, неуклюжего, близкого, почти родного...

Но бежать по этой стране было не проще и не безопасней, чем по всякой иной. Да и полно, просто ли вообще, безопасно и легко ли бежать? Побеги совершают герои, а героев так мало на этом свете. Бежать хорошо по знакомым путям. Неизвестные — тяжелы и суровы.

Андрей знал только одну дорогу в этой стране — дорогу, которая его привела сюда. И он побежал по ней, назад к границе.

В школе обер-лейтенант фон цур Мюлен-Шенау был приучен вести дневник. И он привык заносить каждый день по нескольку слов в свои тетрадки, которые складывал столбиком в шкафу, где береглись грамоты, дарственные записи и позеленевший фолиант — «Геральдика и древо рода владетельных маркграфов фон цур Мюлен-Шенау».

Новую тетрадку обер-лейтенант открыл такой записью:

«Я опять прощаюсь с пенатами. В прошлом сохранилась непреодолимая сила. Я прислушиваюсь к молчанию вещей. Оно для меня понятней приказа командира. Я уверен, что умру не скоро. Мне суждено завершить собою род. Он должен истлеть. Я его последняя ткань, обреченная на разрушение. Меня будут катать в кресле, кормить, умывать, пока я не развалюсь. Судьба нарочно помогла моему деду разбогатеть. Род, который был тогда еще многочислен, приговорен к постепенному вымиранию. Богатство деда даст мне возможность сгнить заживо. Я богат ровно настолько, чтобы одиночеству моей смерти ничто не помешало, чтобы я умер среди руин, в молчании прошлого, как символ. Это предуготовано роду. Смертельная рана, которую я получил в Шампани, смер-

тельная для всякого человека,— для меня оказалась только тяжелой. Но этой раны достаточно, чтобы к концу жизни я стал идиотом. Я буду идиотом, безногим и отвратительным, меня будут возить в кресле. Вещи хотят этого. Вековые вещи, которые выпестовали мой род, будут смотреть на его конец.

На этих днях я снова ухожу на фронт. Сознание, что на мою смерть будут глядеть родные стены, наполняет меня бесстрашием. Я уверен, что война не угрожает моей жизни. Но уверенность эта мучительно скучна.

Сегодня, поздно вечером, гуляя в парке, я натолкнулся на какого-то человека, искавшего дорогу. Когда он заметил меня, он попытался спрятаться за деревьями, но я догнал его. Вид у него измученный, он, вероятно, несколько дней в бегах. Я потребовал, чтобы он назвал себя. Он заявил, что он пленный и больше ничего не скажет. Я запер его в усыпальницу. Пусть придет в себя. Утром допрошу. Наверно, крупная дичь».

Андрей очнулся от холода, точно внезапно его окунули в прорубь. Он насилу вытащил руки из-под головы. Он был весь сведен, как содранная с дерева кора. С того момента, как его опустили в подвал на ровные каменные плиты, он заснул, точно в беспамятстве. Проснувшись, он ощупал плиты. Они уходили гладкой поверхностью в темноту. Он пополз в стороны, то вытягивая руки вперед, то приподнимая их над головой. Потом поднялся. Руки его наткнулись на камень. Прямоугольные плиты, какими был выложен пол, повисли сверху отлогим сводом.

Андрей сделал несколько резких движений руками, чтобы разогреться.

Позади него раздался непонятный гул. Он перестал двигаться и прислушался. Гул приближался мерно, точно вдалеке перекатывались какие-то глыбы. Вдруг он прекратился, замирая глухими отголосками в темноте. Грузные отрывистые шаги, сменившие гул, стихли где-то поблизости от Андрея. Потом громыхнуло ржавое железо, зазвенел, как старые часы, замок, и молниеподобный свет резнул Андрея по глазам. Сквозь новую волну гула, поднятую низким голосом, Андрей различил слова:

— Пожалуйте, сударь.

Он вылез на высокий приступок, с трудом сгибая окоченевшие ноги. Молодой солдат, с виду денщик, с засу-

ченными по локоть рукавами и в мягких туфлях, провел Андрея длинной чередою коридоров и лесенок в тихие сумрачные залы, завешанные оружием, картинами и рыцарским снаряженьем. Потом постучал в низкую дверь и спросил громко:

— Прикажете ввести?

Андрей остановился в просторной комнате, перед письменным столом, заставленным рамками и грудой стеклянных безделушек. Кругом висели картины, как в музеях, в три-четыре ряда, на железных палках, протянутых вдоль белых стен.

Обер-лейтенант сидел за столом, вправленный в упругую униформу, лицом к двери.

— Ты можешь идти,— сказал он денщику.

Затем раскрытыми светлыми глазами осмотрел Андрея.

— Теперь вы отдохнули,— произнес он, улыбнувшись,— и, может быть, расскажете о себе подробней?

Андрей пожал плечами.

— Я думаю,— продолжал обер-лейтенант,— что гостеприимство, оказанное вам этим домом, обязывает вас к некоторой любезности.

— Гостеприимство дома? — воскликнул Андрей.— Вы, вероятно, хотели сказать — гостеприимство подвала?

— Вы должны простить мне эту маленькую хитрость. Она была вызвана желанием продлить и, так сказать, упрочить ваше пребывание здесь.

— Я не хотел бы стеснить вас своим присутствием,— проговорил Андрей и пристально всмотрелся в обер-лейтенанта. Надо было заставить его переменить тон. Иначе нельзя было понять его намерений.

— Впрочем, мне нечего беспокоиться,— сказал Андрей, повернув голову к стене,— гостеприимство свойственно только дикарям. Я не мог бы отнять у вас времени даже при желании.

Обер-лейтенант повел бровями и сжал всегда немного приоткрытые губы. Но тотчас прежняя улыбка расправила его лицо. Он чувствовал себя свежим и здоровым. День был безоблачен. Солнце уже поднялось над деревьями и мягко грело сквозь открытое окно. Спиртовой кофейник пофыркивал поодаль обер-лейтенанта на круглом столе.

— Ха, я еще с вечера заметил, что вы пропитаны полемическим ядом. Вероятно, из-за неудачи предприя-

тия? Но вам следует сообщить о себе поподробнее, в ваших же интересах.

— Вы расспрашиваете из любопытства,— сказал Андрей,— все равно ничего не изменится: решать мою участь будет кто-то другой.

— Вот в этом все дело,— воскликнул обер-лейтенант, точно обрадовавшись, что разговор перешел к самому главному.— Кто будет решать вашу участь, в этом все дело. Значит, я спрашиваю вас по существу, а не из любопытства... Что вы там рассматриваете?

— Картину,— сказал Андрей.

— От меня зависит, как сложится ваша участь,— холодно произнес обер-лейтенант.

— Каким образом?

— Каким образом? — угрожающе переспросил обер-лейтенант и начал внушительно растягивать слова.— Я могу вас передать властям как бежавшего военнопленного или как шпиона. Вы мне кажетесь человеком не наивным. Беглец и шпион — несходные оттенки, не правда ли? Это — во-первых. Во-вторых, я могу вас передать военным или гражданским властям. Вы чувствуете разницу? Что вы там все разглядываете?

— Я знаю эту картину.

— Вы не можете знать этой картины! — крикнул обер-лейтенант.— Прошу смотреть на меня, когда я с вами говорю!

Андрей вскинул на него глаза.

— Я знаю этого художника.

— Вы не можете знать ни этой картины, ни художника! — закричал обер-лейтенант и ударил ладонью по столу.— Я вижу вас насквозь! Вы не увернетесь от меня! Вы неудачно выбрали: этого художника знаю один я!

— Его имя Курт Ван,— тихо сказал Андрей.

Обер-лейтенант привскочил и перегнулся через стол к Андрею.

— Курт работал над этой картиной перед войной. Я думаю, что он не окончил ее.

— Вы знакомы с Куртом Ваном? — спросил обер-лейтенант, и губы его раскрылись, как у ребенка.

— Я пропадал неделями у него на мансарде. Мы были друзьями.

Обер-лейтенант оправился от удивления.

— Присядьте, пожалуйста,— сказал он, показывая на высокий кожаный стул и опускаясь на свое место.

— Курт собирался подарить эту картину магистрату Нюрнберга. Как она попала к вам?

Обер-лейтенант промолчал и посмотрел на картину.

— Странно,— сказал Андрей,— второй случай напоминает мне о Курте после того, как два года я ничего не слыхал о нем.

— Вы знаете, что с ним сталось?

— Он попал в плен, в Россию.

Обер-лейтенант встал и сделал два широких шага к окну. Потом, не повернувшись, тихо спросил:

— А вы русский?

— Да.

— Вы были друзьями,— сказал обер-лейтенант, над чем-то думая,— и вас разделила судьба. Это грустно. Мы уважаем дружбу. В нас развито это чувство. И чувство грусти.

Он обернулся, посмотрел на Андрея, на картину Курта, подошел к столу и неожиданно ласково предложил:

— Хотите чашку кофе? Я был очень нелюбезен, позабыв спросить вас, сыты ли вы. У вас очень изнуренный вид. Вы, наверно... давно в бегах?

— Я сыт,— сказал Старцов, опускаясь на стул,— но я давно не пил, и кофе разогреет меня. Я до сих пор не могу согреться.

Обер-лейтенант налил чашку кофе, к которому еще не прикасался, и предложил:

— Возьмите сыру.

«Кексы, пожалуйста, кексы» — вспомнил Андрей перегибающегося, улыбчивого Дитриха. Он отхлебнул большой глоток кофе и затаил дыхание, ощущая, как горячая влага полилась по телу, выжигая свой путь до боли.

Обер-лейтенант прогуливался от окна к стене и говорил:

— Я считаю Вана большим талантом. Он настоичив, упрям и беспощаден к себе. Каждая новая картина его — шаг вперед. Я решил собрать их и потом сразу показать Германии нового немецкого художника. Правда, на него чересчур повлияли французы.

— Хорошее влияние,— вставил Андрей.

— Немцев оно разлагает,— сказал обер-лейтенант.— Нам свойственна только тема. Это видно по нашей литературе, как и по нашей индустрии. Мы разрабатываем только мысль. Французы увлекаются приемами. Это природа галлов. Они умеют маневрировать, но не умеют

организовать наступленья и даже не умеют отступать. Их революции стали классическими. А чем сделалась Франция в результате классических революций? Бесправной олигархией. Революция французов — маневр, прием. У французов может быть Сезанн, но никогда не будет Беклина.

— Беклин? — воскликнул Андрей, схватившись за голову.— Беклин? Но ведь это безобразие!

— Я согласен, что он плохой художник. Я говорю о нем как о лучшем выразителе темы. Он, как никто, ставит перед зрителем мысль.

— Это делает еще лучше Клингер,— сказал Андрей,— но ведь это не мешает ему быть еще бездарнее Беклина?

— Зато та же способность делает гения из Ленбаха,— вскричал обер-лейтенант.

Он говорил с обрывистым жестом одной руки, расстегнув высокий воротник униформы, чтобы удобней поворачивать голову от картины к Андрею.

— Я глубоко убежден в этом основном различии национальных характеров. Поэтому я говорю, что французы могут повредить Курту Вану, а не помочь ему. Для своей темы он должен найти свои приемы, а не занимать их у французов. У него своя дорога. Посмотрите, вот эта стена — его работы.

Обер-лейтенант кинулся к картинам, схватив полированную указку, и, как в школе, начал объяснять манеру письма Курта Вана, переходя от одного полотна к другому. Он заставил Андрея подойти к картинам и водил его за рукав по комнате, чтобы подтвердить какую-нибудь свою мысль наглядно на живописном образце.

Потом он сидел, немного усталый и задумчивый, вытянув руки на столе и рассматривая их медлящим взглядом.

— Курт Ван не понимал меня,— сказал он грустно.— Ему казалось, что я мешаю его славе. Он был уверен, что его картины пропадают напрасно в какой-то деревушке. Я писал ему, что публику нельзя раздражать частым появлением. Каждое выступление художника должно быть неожиданностью. Он не верил моему чистосердечию. Это фатально.

Обер-лейтенант опять задумался.

— Фатально,— произнес он тише,— потому что недоверие его ко мне было инстинктивным. Мы разной крови.

Он взглянул на Андрея испытующе.

— Вы его друг. Стало быть, вы тоже не доверяете мне.

Андрей хотел что-то сказать, но обер-лейтенант повел головой и закрыл глаза.

— Это не в нашей власти. Я иногда завидую таким людям, как Ван или, может быть, как вы. Они не знают никого дальше своего отца. Одиночки. Им должно быть очень легко. Они решают всегда за себя, за одних себя. А за таких, как я, уже давно все решено дедами, пращурами, историей.

Обер-лейтенант потер руки, точно умывая их.

— Надо кончать,— сказал он.— Я могу облегчить вашу участь. Нет ли у вас с собой документов?

Андрей достал из бокового кармана сложенный в четвертку желтый лист. Это была единственная бумага, которую он взял с собою. Обер-лейтенант развернул ее.

Штадтрат
г. Бишофсберга

СВИДЕТЕЛЬСТВО

23 августа 1916 г. российскому подданному, г-ну Андрею Старцову, род. 17/XI 1890 г., разрешено совершить прогулку на Лауше.

Штадтрат
Полицай-президиум

— Вы не можете пожаловаться на бесчеловечное обращение с вами,— сказал с улыбкой обер-лейтенант.— Почему же ваша прогулка так затянулась? Где вы были целых три дня? Пытались бежать?

Обер-лейтенант рассмеялся.

— На родину, через Австрию? Ха-ха! Я попаду в Россию раньше вас: скоро меня отправят на фронт.

Он опять замолк, откинувшись на спинку кресла и разглядывая Андрея.

— Хотите, я вас выручу? — спросил он, прищуриваясь.

Андрей вдруг вспомнил последний час с Мари, в комнате, притаившейся в мягкой, беззвучной темноте. Такого часа, когда ничего нет, кроме осязаний, и весь мир в человеческом тепле,— такого часа он ждал всю жизнь. И теперь, снова очутившись где-то рядом с Мари,— не видеть ее, не прикоснуться к ее лицу?

— Помогите мне,— сказал он дрогнувшим голосом,— если возможно. Мне стыдно за эту мальчишескую историю.

— Ну, почему же,— засмеялся обер-лейтенант,— такой порыв героичен!

Он взял перо и острыми буквами начертал на бумаге решетку слов:

Удостоверяю, что российский подданный, г-н Андрей Старцов, был найден в бессознательном состоянии поблизости замка цур Мюлен-Шенау и, по слабости здоровья, содержался у меня в течение трех дней, чем и вызвана его неявка перед надлежащими властями.

Обер-лейтенант
фон цур Мюлен-Шенау.

Он вручил Андрею бумагу и, прощаясь, придержал его за руку.

— В сущности, мой долг состоял в том, чтобы передать вас властям. Я нарушил его. Вы знаете, что это значит, когда немец нарушает долг? До свиданья.

Он позвонил и приказал денщику:

— Проводи господина Старцова до дороги на станцию.

В день отъезда обер-лейтенант записал:

«Вчера неожиданно приехала Мари. Я был поражен ее жизнерадостностью и высказал это. Она не переставала за что-то благодарить меня, даже после того, как я сообщил ей, что уезжаю. Я так и не понял, в чем дело. Мы гуляли по парку, и она опять, как когда-то, много говорила о нашем будущем. Мне жалко было отпускать ее. Но она торопилась и уехала с обратным поездом. Сегодня я прощался с картинами и помогал надевать на них чехлы».

Бедный обер-лейтенант! Он занавешивал свои картины и не знал, долго ли они провисят под чехлами. Он смотрел в переливавшие радостью глаза Мари и не понимал, за что она благодарит его.

Что, если бы ему сказать, как отозвалась Мари на рассказ Андрея об офицере, который так ускорил их свиданье?

— Цур Мюлен-Шенау? — переспросила Мари Андрея.— Да, слышала. Это наш сосед. Но я незнакома с ним...

Что, если б передать ему эти слова?

Неужели тогда нашему роману пришлось бы преодолевать бездонные рвы отступлений и мрачные пустыни длиннот о войне?

ГЛАВА
О ДЕВЯТЬСОТ СЕМНАДЦАТОМ

О КОМ ДУМАЛ ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛ ФОН ГИНДЕНБУРГ?

Этот дом был благополучен.

Он не мог не быть благополучным. Его окна горели на солнце таким огнем, точно в них были вставлены не стекла, а хрустальные многогранники. Он был умеренно сер, потому что был облит цементом, умеренно розов, потому что к цементу был примешан сурик, умеренно бел, потому что выступы и лепка фасада были чистенько отштукатурены.

Этот дом — с сотнями горящих окон, тяжелой, как храмовые врата, дверью, прикрытый гладкой чешуей кирпично-красной черепицы, — этот дом был умеренно приятен.

Всякий умеренно приятный дом, конечно, благополучен. Как человек, который стоит на своем месте, в галстуке, в манжетах, проглаженных брюках, с упорядоченными волосами на голове, в крепких башмаках и с своевременной улыбкой на лице. Такой человек приятен, такой человек благополучен.

Так этот дом.

Он стоял на том месте, где начиналась аллея Бисмарка, как раз на том месте, где поставил его штадтрат и где его фасад пожелал увидеть единственный во всей Германии городской гласный еврей, герр Отто Мозес Мильх. На том месте, мимо которого каждое воскресенье в половине пятого пополудни проходили самые почтенные бюргеры города Бишофсберга, направляясь в прекрасный парк Семи Прудов отслушать вечерний концерт военной капеллы.

Самые почтенные бюргеры проходили мимо умеренно приятного дома и каждое воскресенье, в половине пятого пополудни, вскидывали глаза под кирпично-красную чешую черепицы, откуда умеренно крупно смотрели буквы:

ГОРОДСКАЯ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
имени
ГОРОДСКОГО ГЛАСНОГО
ОТТО МОЗЕСА МИЛЬХА

И тогда бюргеры, в визитках и с туго скрученными зонтами, в котелках и светлых жилетках, начинали говорить о том, что из мировой войны победителем выйдет тот, у кого крепче нервы, как справедливо сказал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург.

— Но позвольте, герр ассистент, мы заговорились и идем по дороге, где можно ездить только на велосипедах!

— Ах да, герр гофрат, вы совершенно правы.

И они возвращались назад и сворачивали на дорогу для пешеходов. Бисмаркова аллея делилась на три рукава, и в начале каждого рукава на прочных столбах стояли вывески:

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

Это приходилось как раз в начале аллеи, против дорожки, уложенной мелкими камушками и устремленной стрелой к подъезду хирургической больницы. И общество трех прочных столбов разделяли не менее прочные железные штанги с четко урисованными табличками:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОРИТЬ БУМАГОЙ
И КОЖУРОЙ ФРУКТОВ

СОБАК ВОДИТЬ ТОЛЬКО
НА ПРИВЯЗИ

ВОСПРЕЩАЕТСЯ НЯНЬКАМ
С ДЕТЬМИ СИДЕТЬ
НА ЛАВКАХ

НЕ ЛОМАТЬ ВЕТОК
НЕ ОБИВАТЬ ЛИСТЬЕВ

НЕ РАСКОВЫРИВАТЬ ДОРОЖЕК
ЗОНТАМИ И ПАЛКАМИ

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ!
СКОРОСТЬ НЕ БОЛЬШЕ
12 КИЛОМЕТРОВ

ВЕРХОВЫЕ!
ЕЗДА ТОЛЬКО ШАГОМ И РЫСЬЮ

И потом еще несколько очень мелко написанных объявлений с параграфами, пунктами, жирным шрифтом и курсивом. Под ними подписи штадтратов, полицай-президиума, союза защиты растений.

Бюргеры, в визитках и с туго скрученными зонтами, шли по рукаву для пешеходов и говорили о том, что из мировой войны победителем выйдет тот, у кого крепче нервы.

Липы, ровные и круглые, как перевернутые кофейные чашки, образуя четыре одинаковых ряда, вливались в синеватый парк Семи Прудов. По сторонам аллеи, в почтительном отдалении, крепко врылись в землю кубики каменных жилых построек. Умеренно приятный, сиял многогранным хрусталем своих окон облитый цементом дом. Бюргеры шли по рукаву для пешеходов, полковой адъютант рысью протрусил по рыхлой дорожке для верховых, по шоссированному полотну для велосипедистов проехал со скоростью двенадцать километров в час старший ординатор городской хирургической больницы имени Отто Мозеса Мильха.

Впереди бюргеров, идущих слушать вечерний концерт военной капеллы, ступают их жены с пакетиками и сумочками в руках. В пакетиках и сумочках — кухены и печенья, которые будут съедены за кофе, под музыку Шумана и Моцарта.

Так было год назад, так было три года назад, так было десять лет назад и, наверно, так — сорок лет назад, когда в честь князя Бисмарка посадили в четыре ряда липы.

Мир прочен, мир крепок, а старик Архимед был большой шутник, со своим рычагом, которым можно перевернуть всю землю.

О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, когда сказал о нервах?

Бюргеры, в визитках и с туго скрученными зонтами, выступая по Бисмарковой аллее, помнят сразу десять правил, которыми они добровольно и сознательно обусловили свое пребывание на этой аллее. И если один забывает какое-нибудь правило:

НЕ РАСКОВЫРИВАТЬ ДОРОЖЕК
ЗОНТАМИ И ПАЛКАМИ

другой напоминает ему об этом.

— Я понимаю, герр почт-секретарь, что в России революция, но как можно допустить, чтобы министров посадили в тюрьму?

О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург?

Мир прочен, мир крепок, мир благополучен.

Но впереди бюргеров ступают их жены. В пакетиках и сумочках еще три года назад они носили бутерброды с вестфальской ветчиной, миндальные пирожные со сбитыми сливками и тончайшую салями, которую какой-то чудак назвал итальянской. Еще два года назад можно было слушать Моцарта, запивая музыку сладким кофе и покусывая рассыпчатый штрейзелькухен. И всего год, всего один год назад свой добрый рацион хлеба можно было как следует помазать настоящим фруктовым мармеладом.

Но об этом можно говорить только со старыми друзьями. И говорить тихо, очень тихо, чтобы не слышали даже мужья, чтобы никто-никто! Вот так, шепотом:

— Фрау Эйзенбок, вы слышали?

— Что, фрау Буш?

— Она зацвела...

— Зацвела...

— Зацвела?

— Да.

— Когда?

— Я узнала вчера.

— Это — наверно?

— Да, фрау Буш.

— Говорят, она не цвела сорок пять лет.

— Об этом говорит весь город. Вы знаете ее историю? Ей больше четырехсот лет. Тогда жил в Аннаберге старик с сыном. Сын был распутник. Он дошел до того, что сказал, что нет бога. Отец решил ему доказать, что бог есть. Они спорили целых два года. Наконец отец сказал: я возьму молодую липу и посажу ее корнями вверх; если она примется — бог есть. Он так и сделал. И липа принялась и росла корнями вверх и все выше и выше и стала такой, что накрыла собой все старое кладбище Аннаберга. Последний раз она цвела в семьдесят первом.

— Значит, скоро?

— Т-ш-ш...

— Фрау Эйзенбок, какую вы носите прическу?

— Конечно, совсем гладкую.

— Значит, это тоже верно?

— Т-ш-ш. Недавно я была в театре и посмотрела вниз: почти все женщины были причесаны так.

— Я видела то же в церкви.

— Но когда все, когда все до одной, во всей Германии!

— Только тогда, фрау Эйзенбок?

— Только тогда, фрау Буш. И не забудьте — совсем гладко, и посредине пробор.

— Да, да, посредине пробор.

Так впереди бюргеров ступают их жены, по воскресеньям, в половине пятого пополудни, направляясь по Бисмарковой аллее в парк Семи Прудов.

Может быть, бюргеры не знают всего, что знают их жены?

Но нет, мир крепок, мир прочен, и старый Архимед — шутник.

Посмотрите, посмотрите, бюргеры в визитках и с туго скрученными зонтами, посмотрите, как умеренно приятен облитый цементом дом!

Этот дом благополучен, он не может не быть благополучным, не может, не имеет права, не смеет нарушать правил, которые раз навсегда установлены для него министром народного здравия, штадтратом, старшим врачом и другими законными надлежащими властями.

Не смеет.

Впрочем, спокойствие. О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, когда сказал, что победителем из мировой войны выйдет тот, у кого крепче нервы?

Впереди бюргеров ступают их жены. О чем они?

— Т-ш-ш!

Письмо писала молодая сиделка. Руки ее дрожали, она не отдавала себе отчета в том, что делает, не видела, что пишет, только содрогалась от крика, который висел в палате, и левой рукой, не переставая, коротко, боязливо, похлопывала по раскаленной щеке раненого, боясь поднять на него глаза.

И она написала, чтобы жена раненого приехала к нему повидаться, и еще — город, в котором раненый лежал, и название больницы, и номер палаты. Все это сделала сиделка, чтобы не слышать крика, обезумев от крика, позабыв параграфы, пункты, жирный шрифт и курсив инструкций, правил, разъяснений и приказов.

И жена приехала.

Приехала вечером, прошла через дверь, где, четко урисованная, была набита дощечка:

ДЛЯ ПОСТОРОННИХ
ВХОД ЗАКРЫТ

прошла какие-то лестницы — темные, светлые и полутемные — и очутилась в комнате дежурной сестры. И потому, что сестра выполняла параграф, требовавший ее отсутствия в дежурной комнате, женщина вышла в коридор.

Здесь ослепил ее свет от начищенных бетонных полов, выбеленных стен и бесчисленных стекол, горевших подобно многогранному хрусталю. Ей было легче смотреть через весь коридор, за окно, открывавшее небо и округлые верхушки лип. И она смотрела туда и не видела, кто указал ей путь в палату, где лежал ее муж. Ей только послышалось, что рука человека, поднявшись, чтобы указать дорогу, звякнула и заторкала, как автомат, в который опущена монетка. И она бросилась по коридору в ту сторону, куда направила ее рука.

Ей встретились санитары с носилками. Позади них быстро шли люди, все в белом, растворяясь в свете бетона, стен и потолка.

Женщине послышалось, что сначала громко проговорили, потом крикнули:

— Куда вы?

— Куда вы?

И потом, кажется, еще:

— Назад, вы, там!

Но она уже исчезла за дверью, которую искала, а люди в белом, растворенные в свете бетона, стен и потолка, неслись дальше, следом за носилками.

Это была первая жена, за время войны получившая свидание со своим мужем в умеренно приятном доме, который не мог не быть благополучным.

Она остановилась у входа.

Палата была невелика. Две кровати стояли по стенам, справа и слева. Окно между ними сияло чопорно и ново, и за ним, далеко впереди, катилось небо — мутнее и печальнее окна, с облаками — темнее выбеленных стен.

Из-под одеяла левой кровати выглядывало безбородое веснушчатое, зеленовато-желтое, похожее на дыню, лицо. Глаза на нем были закрыты, и тонкий бесцветный уголок брови ерзал вверх и вниз по лбу.

На подушке правой кровати чернел широкий круглый затылок. Он был неподвижен.

Женщина вскрикнула:

— Альберт!

Тогда лицо, похожее на дыню, передернулось, открыло

глаза, задвигало бровями быстро и натужно, точно отбиваясь от назойливой мухи. Потом шевельнуло шершавыми, как гусеницы, губами:

— Не слышит он. Глухой.

И, помедлив, с досадливым вздохом:

— Как это, по-вашему-то?.. в рот тебе...

Но женщина, не отводя глаз от круглого затылка, вскрикнула опять:

— Альберт!

Тело ее качнулось вперед, а ноги, точно привинченные к бетону, остались на месте, и одно мгновенье она продержалась наклоненной, как натуго связанный человек, которого толкнули. Но тотчас оторвались и скользнули по бетону ноги — вперед, следом за телом, рванувшимся к койке.

— Альберт!

Круглый, широкий черный затылок медленно ускользнул в подушку, и на его место, как во вращающейся панораме, стало лицо.

— Альберт, Альберт, Альберт! Аль-бе-е-ерт!

Перед женщиной блуждали глаза — без зрачков, черно-синие, в тонких багровых жилках, как эмалированные блюдца, потрескавшиеся от времени. Распахнутые, круглые, они вращались, как у ребенка, который еще не научился смотреть, готовые вот-вот поймать нужную точку и остановиться, чтобы видеть.

Женщина охватила руками голову мужа и взвизгнула:

— Аль-бе-ерт! Ты видишь, ты видишь меня?

Тогда раненый открыл рот, стукнул зубами, точно откусив воздуху, и распаленным хриплым голосом провопил:

— Напишите жене, напишите же-не! Марте Бирман, в Тейфельсмюле, в Лаузице, жене! Чтобы приехала жена, Марта, Марта!

— Альберт! Альберт! Я здесь, здесь, Альбе-ерт!

— Жене, Марте Бирман, в Тейфельсмюле, в Лаузице!

— Альб-е-ерт! Ты слышишь, ты видишь меня? Альбе-е-ерт!

— Жене напишите, слышите? Марте Бирман, в Тейфельсмюле...

Она кинулась перед ним на колени, теребя его голову, глотая слезы, лившиеся в рот, задыхаясь, кашляя, икая, визжала:

— Альберт! Я здесь, здесь, я твоя Марта! Мерхен, твоя, твоя, здесь, здесь!..

Он вопил разодранным криками голосом, кружа распахнутыми черно-синими, как старая эмаль, глазами без зрачков:

— Жене, напишите жене!

Тогда она припала к его лицу мокрыми губами и стихла.

И он, обессиленный, шептал ей:

— Темно, совсем темно. Не вижу. Напишите жене, прошу вас, жене Марте Бирман, я скажу вам адрес. Напишите, чтобы приехала. Перед смертью. Если согласны, ущипните меня два раза, чтобы я знал, два раза. У меня нет ног, нет рук. Перед смертью, прошу вас, жене... Ущипните два раза...

Женщина вскинулась на ноги, быстро сдернула с мужа одеяло. Он лежал, плотно увитый бинтами, короткий, круглый, как бочонок.

Она метнулась в сторону, к другой постели, закрыв свое лицо тугими кулаками.

Зеленовато-желтый человек, с лицом, похожим на дыню, сказал:

— Жалость какая, а?.. Как это, по-вашему...

И тут одна за другой стремительно влетели в палату белые, как потолки, фигуры.

— Здесь!

И когда взяли под руки женщину, она пронзительно прокричала какое-то слово.

И уже не слышали вопля:

— Жене, Марте Бирман, в Тейфельсмюле, в Лаузице...

И никто не слышал, как шершавыми, точно гусеницы, губами человек, лицом похожим на дыню, прошептал:

— Это правильно.

В этот вечер старший ординатор городской хирургической больницы имени городского гласного Отто Мозеса Мильха, как всегда, зашел в табачный магазин и купил две сигары. Потом, как всегда, посидел на Бисмарковой аллее и одну сигару выкурил. Потом, придя домой, как всегда, снял пиджак, воротничок, надел розовый шлафрок, набил фарфоровую трубку, сел за стол. Открыл толстую переплетенную тетрадь и мелко написал:

Опыт изыскания системы сообщения с инвалидами войны, совершенно утратившими:

1) все конечности,
2) зрение,
3) слух.

Откинулся на подушку, подвешенную к спинке кресла, пыхнул дымом, закрыл глаза.

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ЭТИ БЕДНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Мостовые моют так.

Коротконогие люди в брезентовых штанах и брезентовых куртках широкой струей воды, искристым веером бьющей с рассеивателя брандспойта, обильно поливают гладкие кубики-камни. Потом щетками из стальной проволоки долго и крепко протирают каждый кубик. Стертую щетками грязь смывают новым веероввидным веселым дождем. Железными крюками, насаженными на палки, выковыривают навоз из щелей между камней. Сильной и тонкой струей воды — без рассеивателя — промывают щели. Потом возят по мостовой частый и бойкий душ, от тротуара к тротуару, как в бороньбе — по одной полосе против другой,— дальше, дальше, по пятам за людьми в брезентовых штанах и куртках, волочащими толстую, набухшую, как сытый удав, кишку. И потом, когда матовая, чуть влажная в скважинах и щелях, вымытой протянется мостовая на два-три квартала,— на толстозадых, мохнатокопытых лошадях везут по ней тяжелый щетинистый вал, и он прилизывает и сандалит кубики-камни, как круглая щетка парикмахера — коротко подстриженный затылок.

О, так моют дороги и в маленьком, небогатом Бишофсберге! И у маленького, небогатого Бишофсберга есть препрочная цистерна с частым душем, прежесткая щетка-вал и палки с железными крюками, и толстая кишка, вся в деревянных кольцах, предохраняющих ее от повреждений.

Бетонные дорожки, ведущие по дворам от ворот к дому с выложенными в них изразцовыми датами:

ANNO 1898

моют женщины в подоткнутых юбках, с толстыми икрами, в деревянных ботах без задников и каблуков. Моют мыльной водой и мочалкой и насухо вытирают холщовыми швабрами.

Женщины в подоткнутых юбках, с толстыми икрами, окатывают горячей водой стены домов от основания до высоты в рост человека. И эти же женщины чистят патентованной мазью дверные ручки и петли, дощечки с именами жильцов на воротах и медные шишечки на прутьях оград и решеток.

О, так моют и чистят дорожки, дома и шишечки решеток и в маленьком, небогатом Бишофсберге!

И вот поутру, когда из-за туманной вершины Лауше поднимается старое доброе солнце, Бишофсберг розовеет, как девушка, после сна окунувшаяся в холодную речку. Быть может, всего один час в сутки, один утренний, розовый час нежится и потягивается Бишофсберг — ленивый, медлительный, но уже пробужденный,— потягивается, жмурясь на Лауше. В этот час розовеют намытые мостовые, розовеют изразцы дорожек, дверные ручки, шишечки на решетках и оградах, стены домов, скользкая черепица крыш. В этот час, вся розовая, колышется в небе кирка евангелиста Иоганна, и вдруг проясняется зубчатая башня мрачной ратуши. По черному бархату циферблата старых ее часов взбирается загоревшаяся золотом стрелка, все выше, выше, все ближе к верхней золотой точке блестким своим острием. Вот почти взобралась, вот выпрямилась, встала. И в розовое искупавшееся тело городка, точно с неба, окунаются сонно-неторопливые звоны:

З-зон-нэ,
З-зон-нэ,
З-зон-нэ,
З-зон-нэ!

Солнце.

И вот, если в этот час, единственный в сутки час, когда Бишофсберг нежится и потягивается, жмурясь на Лауше, если в этот час запоет большой колокол на кирке евангелиста Иоганна,— кто не воскликнет, что Германия — жива, кто не прошепчет, что она прекрасна, и кто не подумает, что

Германия не может стать иной!

И вдруг...

— Послушайте, послушайте, дорогой герр редактор! Что же будет, что будет с нами, что будет с Германией, если так пойдет дальше?

— Успокойтесь, уважаемый герр доктор. Успокойтесь. Мы делаем все, что в наших силах. Мы должны продержаться, и мы продержимся, мы, немцы.

— Но герр редактор...

— Герр доктор, уже без четверти двенадцать. Пойдемте к ратуше.

На площадь надет мерклый пояс газовых рожков. Они расстилают по земле белые скатерки света. Вон там, из-за угла, выплыла серая шинель ландштурмиста и растворилась в темноте. Из погребка с расцвеченным разноцветными стеклышками окном выплеснулись обрывки опереточной мелодийки. Хлопнула где-то дверь. Тихо.

И вот знакомые старинные сиповатые арпеджио на спрятавшейся в ночи башне ратуши. Четвертка, другая, третья, четвертая. Вот пауза, мертвая, как площадь. Вот хрип пружины.

И вот сонно-неторопливые звоны:

З-зон-нэ,
З-зон-нэ!

Полночь.

И вдруг опять: четвертка, другая, третья, четвертая. Пауза. Хрип пружины.

И неторопливо, томительно, одиноко:

Зз-ззон-нэ!

Доктор сказал:

— Темно.

И немного погодя:

— Никого нет.

— Второй час,— ответил редактор,— поздно. Перевод стрелки уже не собирает публики.

— Мы... мы как будто торопимся, как будто спешим... Отнимаем у войны время...

— То есть как?

— За этот час не был никто убит. На этот час ближе... к миру.

— Я высчитывал, герр доктор, я высчитывал, что на мероприятии с часовой стрелкой государство сберегает от шести до шести с половиной процентов топлива в год. Вы знаете, сколько это в абсолютном числе?

— Не кажется ли вам, что мы... взволнованы, мы, немцы?

— Уже поздно, герр доктор. До свиданья.

Тихо. Фонарщик ходит с длинным шестом в руках, подбирая с земли круглые скатерки света через один фонарь. Две черных сжавшихся фигуры тают в противоположных концах площади. Башни ратуши не видно. Но она здесь. Она здесь...

— Перевод стрелки уже не собирает публики,— сказал редактор ночью, перед ратушей. Но он не сказал, что было в воскресенье, после мессы, на площади у кирки евангелиста Иоганна. Он написал об этом статейку и поместил ее в начале хроники; и ее прочли все, кто не был у кирки и кто там был. Но лучше, всегда лучше видеть, чем читать.

Со стороны колокольни кирка огорожена смолистой светлой тесовой заградой. Шуцманы в коротких плащах, отступя десять шагов от заграды, безмолвными вехами отмечают запретное поле. За их немыми покатыми спинами колышутся котелки, дамские шляпы в черном крепе, порыжевшие бескозырки солдат, защитные чехлы офицерских касок. Больше всего дамских шляп. Больше всего черного крепа. Черный креп развевается на ветру, ниспадает завесами к земле, взлетает мрачными крылами над котелком, бескозыркой и каской, облекает плечи, головы и спины, завешивает лица, цепким наручником охватывает рукава; колеблется, качается, плавает в воздухе — черный креп. Вот он полился широким потоком из дверей кирки, вот скатывается тихой лавиной с портала, разливается по площади, заливает ее, ровный, мрачный, холодный, как склеп. Лица с открытыми губами, лица в морщинах, пергаментные и землистые, со складками, желваками и шрамами; лица, оплетенные седыми прядями волос; лица железные, гладкие, четырехугольные, в красных жилах; лица мягкие, круглые, как подсолнухи,— целая пажить лиц на тучном поле черного крепа взметнулась к колокольне евангелиста Иоганна.

Там, на коротких стропилах, выпятившихся из окна, лежит зеленовато-серое тело большого колокола, обмотанное канатами, за которые цепляются маленькие медлительные человечки.

С портала скатилась лавина черного крепа, в дверях появился пастор, и рядом с ним штадтрат и другие чины города, комендант города и комендант лагеря военноплен-

ных, офицеры, президенты союзов — особы, которых всегда уважал Бишофсберг и которых не уважать нельзя.

И тогда на колокольне кирки евангелиста Иоганна, где-то в глубине, невидно заметался тонкий, беспокойный зов малого колокола, в который никогда не звонили по воскресеньям, а зеленовато-серое тело большого безмолвно лежало на стропилах, разинув широкую свою пасть навстречу пустому небу.

Потом эта пасть подвинулась к краю стропил, маленькие человечки спрятались в глубине колокольни, особы, которых всегда уважал Бишофсберг, сошли с портала и стали за безмолвными спинами шуцманов. Штадтрат медленно развернул носовой платок и махнул им над своей головой. Широкая пасть большого колокола подвинулась к самому краю стропил и на мгновенье повисла над пропастью.

А малый колокол метал по ветру беспокойный пронзительный зов, захлебываясь, путая, разрывая свои удары, точно в предсмертном ужасе моля о пощаде. И тогда черная тень пронеслась сверху вниз по колокольне и низринулась в заграду.

И было так, точно раскрылась земля и рухнул мир.

И стало тихо, так что слышно было, как свистели стрижи над киркой евангелиста Иоганна, потому что прервался зов малого колокола, и все молчали...

В этот день в Бишофсберге мужчины отвинчивали дверные ручки и затворы, снимали медные шишечки с решеток и оград и громоотводы с коньков черепичных крыш, а женщины, на кухнях и в чуланах, отставляли в уголок латунные кружки и кастрюли, медные тазы и кофейники.

День прошел. И прошла ночь. И из-за туманной вершины Лауше поднялось старое доброе солнце, и Бишофсберг порозовел, как девушка, после сна окунувшаяся в холодную речку.

Но кто видел, кто видел, как в этот час, единственный в сутки час, когда Бишофсберг нежится и потягивается, жмурясь на Лауше,— как в этот час на колокольне кирки евангелиста Иоганна подергивалось и дрожало сморщенное бритое лицо старика, стоявшего под сваями, которые еще вчера держали большой колокол?

— Не кажется ли вам, что мы... взволнованы, мы, немцы?

После концертов будут продемонстрированы новейшие усовершенствования протезов по следующей программе:

1) Езда на велосипеде, вхождение и нисхождение по лестнице (протезы патент «Феникс» для ног, ампутированных выше колен). Исп. ефрейтор Макс Фишер.

2) Работа на пишущей машинке (патент «Форвертс» для рук с ампутированными кистями). Исп. унтер-офицер Франц Д.

3) Работа лопатой, топором, граблями, молотком, рубанком и пилой (патент «Deutsche Würde» для рук, ампутированных выше локтя). Исп. рядовые Ганс Лебен, Ганс Форст, Эрих Ечке.

4) Кручение сигар (патент «Deutsche Würde» для одной руки, ампутированной до плеча). Исп. рядовой Отто Бах.

В заключение команда выздоравливающих исполнит патриотические песни и представит живую картину «Благословение Германии».

БОЖЕ,
ПОКАРАЙ
АНГЛИЮ

Самый кончик программы, с прямоугольником, обтянутым черно-бело-красным бордюром, отогнулся и топырился на столе между рябых столбцов газет. Прямоугольник был точен, как в учебниках геометрии, и краски бордюра были точными красками, как на табличке глазной лечебницы,— совершенно черная, совершенно белая, совершенно красная. И ровно строились в прямоугольнике точные, как в математике, слова:

БОЖЕ,
ПОКАРАЙ
АНГЛИЮ

В столовую через тюлевые занавески неслось солнце, путалось в развернутых и раскиданных на столе газетных листах, рябило в плетенке стульев, играло на посуде и ножах, и черно-бело-красный бордюр горел в его блеске, как шелковая ленточка ордена.

Фрау Урбах намазывала на тонкий кружочек пумперникеля присланный из Швейцарии камамбер, разливала кофе и прищуренными глазами скользила по газетам. Она уже рассказала о том, как в лазарете, на концерте, устроенном для общественных благотворителей, безногие и безрукие с помощью отечественных техников и ортопедов блестяще опровергли распространенное заблуждение, будто бы человек, потерявший конечности,— калека, непригодный для работы. И о том, что выздоравливающие с воодушевлением пропели неувядаемой прелести прусский гимн — «Стража на Рейне», что, несомненно, доказывает как патриотичные чувства простого народа, так и его музыкальные способности.

— Кто-то очень верно сказал, что народ, умеющий так

петь, не может быть народом варваров. Они спели прекрасно!

Герр Урбах пофыркал и заметил:

— Я читал про каторжников. Их песни нельзя слушать без слез.

— Это написал какой-нибудь русский?

— Не помню,— ответил герр Урбах и посмотрел на дочь.

На этом прекратился разговор, и фрау Урбах занялась пумперникелем, камамбером и газетами.

Вдруг она пристально всмотрелась в маленькое объявление. Потом взяла газету и протянула ее через стол:

— Фрейлейн Мари, отчеркните, пожалуйста, карандашом вот это.

Мари прочла:

ГЕРИНГСДОРФ
Морские и солнечные купания. Богатый прекрасным
старым лесом курорт Немецкого моря
открыт, как в мирное время.
Свободен от лазаретов
Проспекты высылает бесплатно управление курорта.
Сезон с 1 июня до 30 сентября.

Герр Урбах кинул Мари карандаш. Она улыбнулась, отметила объявление крестиком, поднялась.

— Если вы собираете курьезы, мама, я могу вам помочь.

— Курьезы? Я не совсем понимаю, Мари.

Герр Урбах оторвал голову от газет.

— Что-нибудь любопытное?

— Ничего особенного. Мама хочет немного отдохнуть от героев.

— А,— произнес герр Урбах,— так, так.

— Я нахожу, фрейлейн Мари, что за последнее время вам плохо удается подыскивать нужные слова.

— Я этого не чувствую, мама. Благодарю вас.

И опять книксен, после которого хочется хлопнуть дверью, броситься в постель и грызть подушку, как когда-то в пансионе мисс Рони.

В передней мягкий звонок. Скоро два года, как Мари прислушивается к звонкам. Она изучила их и знает особенно хорошо звонок по утрам, в обед и вечерами. Не мешает раньше других просмотреть почту. Ведь не всегда получаешь письма, которые можно не торопиться распечатать. Не всегда такие, над которыми долго думаешь.

Или как вот это — широкое, без марок, сплошь замазанное штемпелями, печатями, надписями поверх отточенных иголок букв:

Ее высокородию
фрейлейн...

Отчего замерла улица и часы на стене перестали выбивать свои секунды? Проклятый книксен! От этого обезьяньего приседания кровь бросается в виски и жжет их, точно каленой сталью! И почему только перед матерью? Ни перед кем другим, никогда, только перед ней! Гадко, глупо, отвратительно! Надо запереть дверь, шире отворить окно, выкурить папироску спокойно и тихо. Как глупо! И в конце концов, не все ли равно? Ну, жив, ну и что же?

При чем здесь мисс Рони, при чем мать! Глупо!

27 апреля 1917 г. Россия.

Глубокоуважаемая фрейлейн Мари, вы понимаете, что я не в состоянии сообщить вам всего об обстоятельствах, которые привели меня сюда, откуда я наконец пишу вам, и о всех чувствах, переполняющих меня с тех пор, как я очутился здесь. Я стараюсь и в настоящем положении найти достойное занятие, хотя это не всегда удается. Желание работать над собой и постоянное воспоминание о вас, фрейлейн Мари, не покидают меня, а это, вы знаете, всегда было для меня источником бодрости. Я приступил к изучению русского языка и думаю, что это мне поможет несколько ближе увидеть народ, который окружает меня и наблюдение над которым, я уверен, может оказаться очень ценным для цивилизованного человека. До сих пор мое внимание остановила на себе одна черта русских, характеризуемая ими самими нашим понятием «доброта» или очень близким к нему. К сожалению, я стеснен местом, чтобы говорить с вами подробнее. Я изучаю также небольшую народность по имени мордва, финского происхождения. Лагерь, адрес которого вы найдете на конверте, расположен в глухой местности и окружен деревнями, населенными мордвой. Я не помню, чтобы наши ученые останавливались подробно на изучении этого полуязыческого племени.

Местами здесь еще не стаял снег. Одному моему другу я помогаю собирать гербарий, к чему он при-

ступил с появлением подснежников. По праздникам занимаюсь рисованием и мог бы показать вам целую коллекцию рисунков, похожих на те, что делал вместе с вами в Шенау. Очень скучаю по своим картинам. Не пожелаете ли вы съездить в Шенау и написать мне о своих впечатлениях? Особенно о картинах. Прошу вас очень, фрейлейн Мари! Передайте сердечный привет вашим родителям. Позвольте поцеловать вашу руку.

Глубоко преданный вам, ваш

Макс фон Шенау.

И росчерк крутой и жирный, прочно подпирающий остроконечную решетку букв.

Иногда приходят иные письма, совсем иные...

— Мари, почему вы заперлись? Откройте!

— У меня болит голова, мама.

— Да? Я получила справку из Красного Креста. Маркграф находится в офицерском лагере... Посмотрите, я не могу разобрать этого нелепого слова!.. Вероятно, где-нибудь в Сибири. Однако... вы так жестоки?..

— У меня очень сильная головная боль.

— В самом деле, я вижу на этой полке целую кипу новых книг. Мне приходится повторять вам одно и то же несколько раз... может быть, вы все-таки напишете маркграфу? Вот вам справка.

Неслышно, как на экране кино, шелохнулось платье фрау Урбах, и, как на экране, она прикрыла за собою дверь.

Да, целая кипа новых книг. Это они — неизменные, таинственные — обкрадывают жизнь, и все говорят про них, что они обогащают ее. Но какое счастье чувствовать себя опустошенной их незрячим и недвижным взором! Как радостно отдавать им час за часом, день за днем, потому что — зачем человеку эти бедные дни и часы?

Ведь час, ради которого живет Мари, так редко приходит, и дни после него бессветлы, плоски и полы. Этот час наступает до газовых рожков, когда в каменных лазейках Бишофсберга с трудом отличишь мужчину от женщины.

Тогда Мари скользит по мутно-серым фасадам старых домов, слепыми улицами, бегущими от ратуши черной пятерней к беззвучным променадам. Перебегая дороги, обходит оранжевые и молочно-голубые окна лавок и ресто-

ранов, останавливается, смотрит в темноту, вдруг возвращается, прячется за дерево. Потом идет тихо, потом почти бежит, опять скользит по гладкой стене.

На площади Геркулеса, против фонтана, тяжелая дверь, изрытая барокканским ножом и годами.

В нее. Потом по лестнице — шестьдесят семь ступенек, если через одну — тридцать четыре шага. Если придешь точно — в восемь вечера по часам ратуши,— приоткрытый вход на четвертой площадке. В него. Через переднюю, прямо. Там.

Только точно в восемь вечера по часам ратуши, Мари!

Только точно, Мари!

ФЕДОР ЛЕПЕНДИН

Когда взяли под руки женщину, она пронзительно прокричала какое-то слово.

Из тех, кто мог понять это слово, никто не разобрал его.

И только человек, лицом похожим на дыню, шершавыми, точно гусеницы, губами прошептал:

— Это правильно...

Он повернул голову набок и долго смотрел в круглый затылок соседа.

Глаза его начали мигать, бесцветные брови заерзали, морща лоб и шевеля кончик уха. Он вздохнул. Потом вытянул из-под одеяла руки, подложил их под голову, стал перекатывать осоловелый взор по карнизам высокого потолка. Потом задремал.

Было ли это? И если было, то когда?

Сидел он на лежанке, подобрав босые ноги под себя — калачом.

Изба была жарко натоплена — пекли хлебы из первого помола; на беленой заслонке и на шестке грелись обалделые осенние мухи; через холщовые серые полотенца, укрывавшие на лавке хлебы, переползали тараканы. В жестяной лампе, поставленной в жаровню, потрескивал фатанафтель.

Отец отвез в город четыре пятерика нового умолота, приехал поздно, сидел долго за столом, хлебал щи с бараниной, обсасывая кости, резал хлеб. Когда наелся, пересел с лавки на постель, под полог, и мать помогала ему стаскивать сапоги. Потом отец широко развалился на кровати, почесывался и кряхтел. Позвал мать:

— Айда, што ль...

Повел носом:

— Лафа!..

Мать стояла спиной к постели, облокотившись на стол, перелистывала песенник, мусоля пальцы. Пропела:

— Погодь, сичас...

От сосновой кровати, от люльки, свисавшей с потолка, и от стен пахло пряно, словно от малинных кустов. Потолок был низкий, черный, и сидеть под ним было надежно — крепко прихлопнул избяные запахи, никуда не уйти им, некуда шелохнуться, стоят густо, плотно, умято — клоповые, хлебные, тараканьи, печные, фатанафтельные.

Отец сказал баском:

— Слышь, што ль: полтину-то я спустил, в красном ряду...

— Слава те господи,— отозвалась мать, потушила лампёнку, принялась раздеваться.

Было ли это? И если было, то когда?

Федор Лепендин расправил отекшие руки.

Его соседа — с круглой черной головой — положили на носилки, накрыли простыней и — покойного — унесли из палаты вместе с постельным бельем.

Лепендин перекрестился.

И тут вдруг руки его взметнулись кверху. Он полежал недолго, словно не веря себе. Потом ухватил пальцами железный прут кровати над головою и подтянулся. Руки хрустнули в локтях, рубаха на плечах врезалась складками в тело. Лепендин крякнул...

Случилось так.

Когда отбили вялую атаку и стало светать, прапорщик приказал отделенному Федору Лепендину поправить перископ. Надо было поднять прибор, подпереть его стругаными планками, навести на немца.

И вот когда Лепендин, головой вровень с землею, уминал лопаткой окопную насыпь, шагах в ста перед собой увидел он торчавшие на кочке ноги. Были они, как ножницы, концами к небу, и тела, которому принадлежали они, не видно было за кочкой.

В окопе было тихо, солдаты сероватыми липкими кучками жались на соломенных подстилках, спали.

Лепендин приставил к перископу винтовку, подпрыгнул, перемахнул через насыпь, пополз.

На поляне перед окопом тут и там курились весенние дымки, как от потухших костров. Лепендин скоро добрал-

ся до кочки. Прямо над ним торчали ноги. Сапоги на них были солдатские, короткие, желтоватой кожи, с подковками на каблуках и в ржавых гвоздях на подошве толщиною в палец.

Не подымаясь с земли, под прикрытием кочки, Лепендин зацепил обеими руками одну ногу, повис на ней. Нога стала туго подаваться, точно журавль заброшенного колодца. Ступня солдата была загнута вверх, и сапог не слезал. Лепендин подставил под каблук коленку, надавил на носок. В сапоге что-то хряснуло.

— Может, не конченый?

Лепендин ополз кочку, заглянул за нее. Ему улыбнулось белое безусое лицо с выкаченными голубыми глазами. У виска, врывшись острием своим в землю, перевернутой лежала каска.

Лепендин уполз за кочку, плюнул в ладони, принялся снимать сапоги. Возился долго, вспотел, окровенил о подковку каблука палец.

Засовывая добычу за пазуху, усмотрел на ногах, повисших через кочку, носки. Стянул их, запихал в карман. Английские булавки, которые мешали снимать носки, когда заметил их, расстегнул. Одну обронил, другую на шинель, под «Георгия».

Пополз назад.

Но тут же остановился, вытащил сапоги, достал из кармана гимнастерки карандаш, отвернул голенище, послюнявил его густо и, поудобней улегшись, написал:

Отделенного 2-го взв., 4-й р. 137-го пех.
Бранзукильского полка Федора Лепендина.

Заторопился.

И вдруг внезапно, когда почти дополз до окопа, с визгом рванулась к нему воронка земляных комьев, зацепив его ступни.

Колени Лепендина выпрямились, он запрокинул голову на спину, часто задвигал локтями. Но, точно привязанные, не двигались ноги, и он кружил на месте, как колесо на вбитой в землю оси.

По небу быстро ускользала нестройная кучка воронья.

И последнее, о чем Лепендин догадался, было: что работала только одна рука, один локоть.

Пришел в себя Лепендин от равномерных толчков. Перед ним покачивалась круглая спина. Хлястик светлой шинели был двойной, с темной пуговицей посередине.

Околыш бескозырки на голове возницы узенький, тулья куцая.

Лепендин закричал.

Возница обернулся, сказал очень длинное слово, Лепендин не понял его, понял другое, застонал.

Очнулся потом в госпитале. По телу плавала усталость, но было хорошо, хотелось есть.

Выбрал лицо, которое понравилось, спросил:

— Дозвольте узнать, ваше благородие. Одежа у меня была, сапоги тоже, совсем новые, на гвоздях. Так это в сохранности или как?

Толстогубый — доктор, фельдшер ли, в замазанном кровяными разводами халате — сощурился и, словно задевая за что-то языком, ответил:

— Почему Ифан надо шапка, если Ифан не имеет голофа?

И это все.

Совсем на памяти было, как в полевом госпитале отрезали ступни. Рука зажила скоро — задето было плечо, в мякоть, перевязку сняли на шестой день. Когда начали составлять эшелон для отправки в лагерь, Лепендина забила лихорадка. С эшелоном в товарных вагонах ушли однополчане, среди них — прапорщик, который велел Лепендину поправить перископ. Тут ясно стало Федору, что прапорщик этот виноват был кругом — и в том, что ему — отделенному прапорщиковой роты — отрезали ступни, и в том, что немцы украли у него — отделенного Лепендина — кожаные сапоги на гвоздях и с подковами.

В лагерь отправили Лепендина в санитарном вагоне, днем позже после ухода эшелона. В вагоне лежали земляки, все тяжело раненные, и Лепендин, не ощущая боли, принялся стонать, вдруг испугавшись, что немцы спохватятся и скинут его с санитарного вагона. Нехорошо показалось Лепендину, что рядом находились офицеры, — правда, без сознания, щуплые и в таком же больничном белье, какое было на нем. Они стонали не по-настоящему — с перерывами и беззвучным придыханием, и Лепендину было приятно, что он стонал лучше их.

По утрам приходили доктора, позади них сестры записывали в книжечки, что они говорили. Раз-два в день брали из вагона раненых, потом приносили их обратно, на старое место, а иногда место оставалось пустым. Поезд ушел куда-то далеко, короткими быстрыми пробегами, подолгу стоя на станциях.

Как-то на рассвете Лепендин перестал стонать. После утреннего обхода его вынесли в соседний вагон, через час принесли назад, и в сумерки он очнулся.

Лихорадка перестала бить, и стонать становилось скучно. Скоро Лепендин узнал, что ему отрезали ноги по колени.

В этот день — пасмурный и долгий — поезд стоял у серой каменной стены, упершись в нее всеми окнами. После обеда в вагоне появилась сестра в гофрированной наколочке. Следом за нею шел санитар с подносом, на котором дымились чашки горячего кофе. Сестра расставила чашки по столикам возле коек. Лепендин тоже получил кофе и первым — едва закрылась дверь за санитаром — принялся пить. Он сделал всего два глотка — горячих, густых и сладких, когда за стеной раздались тревожные голоса и в вагон влетела сестра и санитар. Пуча мутные глаза, сестра выхватила у Лепендина кофе, поставила его на поднос санитара и побежала по вагону, собирая со столиков чашки. Наколочка ее тряслась, как гребень курицы, которая пытается лететь. Санитар не успевал уставлять чашки на подносе, спотыкался, задевал коленками койки, расплескивал кофе. Потом хлопнула дверь, как никогда на протяжении всего пути,— и стихло.

К вечеру Лепендина перенесли в санитарную повозку, и той же ночью он лежал в госпитале лагеря для военнопленных города Бишофсберга.

Он поправлялся и уже сидел в постели, разглядывая свои культи, как впервые посаженный младенец разглядывает собственные ноги, когда в хронике «Утренней газеты Бишофсберга» за подписью «R» (а так подписывался только сам герр редактор), под рубрикой «Суд» появилась такая заметка:

Фрау доктор Небель отдала все свои силы заботам о военных эшелонах. Деятельность ее протекала на вокзале под наблюдением старшей сестры Нейман. Эта сестра слышала от санитаров, будто бы фрау доктор Небель при следовании через Бишофсберг поезда, в котором находились пленные русские офицеры, намеревалась проникнуть к ним и предложить им освежиться кофе. Передавали, что в ответ на предупреждение она заявила: «Боже мой, они ведь тоже люди!» Последствием сказанного явилось предписание патронессы питательного пункта фрау Урбах старшей сестре Нейман — *сообщить фрау доктор Небель, что от ее дальнейшей благотворительности питательный пункт вокзала отказывается.* Старшая сестра Нейман не ограничилась, однако, простой передачей этого предписания и, выражая свое негодование, присовокупила оскорбительные замечания о «недостатке патриотизма» и пр. В результате этого она очутилась перед

судом. По делу были вызваны свидетели, в допросе которых не оказалось, однако, надобности, так как судье удалось закончить дело мировой. После заявления жалобщицы, что ее заботы были направлены *совсем не на русских*, а на их конвой и санитарный персонал, обвиняемая заявила, что перед лицом такого заверения она выражает раскаяние по поводу сказанных ею слов и берет их назад. Дело прекращено, а судебные издержки возложены на обвиняемую.

Конечно, об этой заметке военнопленные лагерного госпиталя ничего не подозревали, и вся она — целиком — очевидное отступление от повести о Федоре Лепендине. Но ведь и Федор Лепендин — только отступление от другой повести,— более страшной и жестокой, нежели его.

Он смастерил себе два коротких костыля и подушки для култышек, похожие на молочные бадейки с пузатыми боками, и стал ждать, когда ему разрешат сойти с постели.

Но ходил он недолго. Через неделю по ночам у него начался озноб и стать на культи было нельзя, хоть он и насовал в свои бадейки кучу войлока.

И как раз в это время старший ординатор городской больницы имени городского гласного Отто Мозеса Мильха проделывал опыты с новым способом местной анестезии при ампутации конечностей.

Из лагеря военнопленных были отправлены четверо солдат, нуждавшихся в ампутации.

Лепендину отрезали остатки ног.

Старший ординатор был вполне доволен новым способом местной анестезии и выкурил в день операции не две, как всегда, а три сигары.

Если бы отделенный Федор Лепендин болел дольше, то, может быть, он и сослужил бы еще какую-нибудь службу науке. Но он поправился, и он был больше не нужен.

Если бы Лепендин был отделенным саксонской, баварской или прусской службы, его, наверное, упрочили бы на металлических протезах патент «Феникс» и отечественные ортопеды и техники научили бы его ездить на велосипеде и взбираться по лестнице. Но он был отделенным русской службы, и ему предложили обойтись как-нибудь своими средствами.

И он обошелся.

Он сплел себе лукошко, вроде того, какое кладут под наседку, устлал дно тряпочками и сел на них, привязав лукошко ремешками за пояс. Потом вырезал из березы уключины, похожие на киргизские стремена, с округленными донцами. Вдел руки в дужки уключины, оперся ими о землю, приподнял на руках туловище и, раскачав его,

пересел на добрый шаг вперед. Умаявшись, он отер лоб и сказал солдату, наблюдавшему, как он тужился:

— Во, паря, хоть в Киев валяй!..

Засмеялся и начал жить лагерной жизнью.

1

Г-ну коменданту лагеря военнопленных
в г. Бишофсберге.

До сведения медицинского факультета дошло, что во вверенном вам лагере интернирован русский дивизионный врач Сидоркин, собравший за время своего пленения особо замечательную коллекцию распространителей разного рода инфекций *(pediculus et pulex irritans)*. Настоящим письмом просим вас, господин комендант, разрешить названному русскому пленному войти в письменные сношения с медицинским факультетом о приобретении последнему упомянутой коллекции.

Декан медицинского факультета —
Правитель дел университета —

Его высокоблагородию,
господину коменданту лагеря майору Бидау.

Русского толмача, отделенного
военнопленного
унтер-офицера
Сергея Горки

ДОКЛАД

Считаю долгом доложить вашему высокоблагородию, что возбуждение военнопленных 7-го и 8-го бараков, равно как и прачечной, о котором мне передавали, поднимается. Особенное внимание осмелюсь обратить на доктора Сидоркина, который пользуется благосклонным разрешением обходить бараки и прачечную под предлогом собирания тельных насекомых для научной надобности, между тем как употребляет время на агитацию, говоря, что Россия должна воевать до победы над Германией и потому русский народ произвел свержение царя, который был за мир. И хотя агитация не имеет успеха, потому что русские сол-

даты хотят мира с Германией и ее верными союзниками, но слышны другие, бессмысленные голоса, которые хотят, чтобы в Германии случилась революция, и будто бы тогда будет мир со всеми нациями. Однако доктор Сидоркин имеет последователей. Об упомянутых голосах сделаю доклад, если последует распоряжение вашего высокоблагородия.

Готовый к услугам
Сергей Горка.

3

Его превосходительству
господину декану медицинского факультета.

По интересующему медицинский факультет вопросу о коллекции пленного русского врача Сидоркина комендатура лагеря военнопленных гор. Бишофсберга не в состоянии ничего сообщить, так как названный военнопленный переведен в крепость Вальдгейм (Саксония). За разрешением о сношении с военнопленными надлежит обращаться к командующему войсками соответствующего округа.

Комендант лагеря —
Адъютант —

4

Коменданту концентрационного лагеря
в гор. Бишофсберге,
его высокоблагородию майору Бидау.

Предписываю принять все меры к спешному размещению 70% содержащихся в вашем лагере военнопленных по поместьям и крестьянским хозяйствам. При этом рекомендую отдавать предпочтение мелким хозяйствам и избегать концентрации в одном хозяйстве более десяти военнопленных.

Ожидаю ваших донесений.

За командующего войсками —
Адъютант —

И в это время, в эти годы бывали дни, когда по небу неслись пуховые облака, когда ветер путал травы и обивал липовый цвет. Бывали ночи, когда выпадала роса, прозрачная и ледяная, бывали вечера, когда все замирало и только светляки блуждали в темноте.

Колючая проволока, штык и приклад, маузер, наган, смит-и-вессон, мортиры, гранаты, бомбы; отрезанные руки, отпиленные ноги, выжженные глаза, пробитые лбы, продырявленные груди — и опять колючая проволока, опять смит-и-вессоны, опять гранаты, бомбы, фугасы!

Окопы, землянки, блиндажи, бараки, лагеря, казармы; госпитали, лазареты, больницы, сумасшедшие дома, сумасшедшие поселки, сумасшедшие города — и опять окопы, опять лагеря, опять казармы!

Гнойники на шеях, экземные болячки под мышками, струпья на коленях, лишаи, нарывы, склизлая сыпь на животах, безволосые головы в мокрых пузырях, которые текут, точно загнивший сыр,—

ЛЮДИ, ЛЮДИ,—

в это время, в эти годы выпадали дни, когда слышно было, как подымаются яровые, и ведь каждое утро, каждое утро наступал рассвет!..

Лукошко, в котором сидел Лепендин, поскрипывало, ремешки хрустели, пояс трещал от натуги. Но руки и живот стали крепкие, сбитые, и упираться уключинами в землю, выбрасывать вперед и назад туловище было легко.

Оттого, что земля всегда близка к лицу, оттого, что щупал ее поминутно руками — теплую, как тело,— веселел Лепендин, натекал силой.

Приглянулся Лепендин огороднику — веселостью, увечьем ли,— взял огородник калеку к себе грядочником. Поставил ходить за овощами, перестилать парниковые щиты и оконца.

Полол Лепендин, окапывал, ерзал в своем лукошке меж грядок с утра до ночи — в зелени, в сладком духе перепрелой земли, пел песню:

Наловили немчики егерьков,
Посадили егерьков в лагерьки.
Ай, егерь-мегерь —
Русский снегирь
В лагерьке.
Насадили немчики бурачков,
Накормили бурачками русачков.
Ай, будут пухнуть
С бурачков
Русачки.
Ай, будут дохнуть
Со зеленых
Землячки.

Как-то, после обеда, выполз Лепендин из теплички, протащился огородом, сел у ворот. Перед ним кирпично-

красная горела черепица крыши, высокой, крутой и ровной. Он прищурился на ее блеск, поднял голову. Небо было чисто и сине. Он повернулся к крыше спиной.

Перед ним катилось поле, изрезанное разноцветными полосами посевов. Вдалеке торчали две прошлогодние осевшие скирды соломы, растрепанной и бурой. Он долго глядел на скирды.

Где-то заорал петух. Спустя минуту ему ответил другой.

Лепендин зажмурил глаза.

Солнце припекало жарко, с поля плыл шорох хлебов — там торчали скирды, приземистые, раздерганные, почти черные,— в знойном воздухе нет-нет повисали петушиные голоса. За воротами из крана в бочку звонко сыпалась торопливая капель.

Да, если зажмуриться: как в Старых Ручьях — с желобов падает капель; как в Саньшине, в полдень — голосят петухи, шумит хлеб, стоят ненужные скирды...

Но если открыть глаза, разве увидишь ныряющую в ухабы толстобрюхую кобылку в шлее и с дугою над долгой гривой? Или девку, что, шевеля подобранной на бедра юбкой, верткими ступнями сбивает в коленях клубочки пыли?

По дороге, рассекавшей поле, к воротам огорода быстро приближалась какая-то фигурка. Была она неясной, легкой, словно не касалась дороги, и в свете неба, зелени и солнца не разобрать было — девочка, девушка, женщина? Там, где русло дороги развивалось на рукава и один рукав скатывался к воротам, она остановилась. Хрупкая, пронизанная солнцем, стояла на пригорке лицом к Лепендину. Вдруг колыхнулась к нему навстречу, подошла, почти подбежала, вынула из кармана юбки коробку папирос, протянула ее калеке, проговорила трудно:

— Папи’оса.

И улыбнулась так, точно просила прощенья.

Лепендин ощерился, задвигал бровями. Тогда она опять скользнула в карман, в тонких пальцах ее блеснул округлый портсигар, она открыла его —

но —

в тот же миг по дороге бесшумно скатился велосипед, сверкнул спицами взвившегося в воздух переднего колеса, и черный монумент жандарма тучно врылся в землю.

Он поправил за спиною коротколствольную берданку,

повел рукою по ровному ряду пуговиц мундира и произнес негромко, как бы ставя точку на первой части завершенного удачей маневра:

— Так.

Потом посмотрел на коробку папирос, торчавшую из-за пазухи Лепендина, на девушку, которая все еще стояла с открытым портсигаром в руке, и спросил сдержанно-грозно:

— Ваше удостоверение личности, фрейлейн?

— У меня нет с собой.

— Как ваше имя?

— Мари Урбах.

У жандарма опустились усы.

— Родственница фрау Урбах.

— Дочь.

Жандарм приподнял фуражку, блеснул лысиной, отер ее ладонью, нахлобучил потуже прямой козырек.

— Все равно. Пойдемте!

Мари двинулась рядом с ним. Вдруг точно вспомнила про портсигар, протянула — открытый, полный папирос — жандарму. У него уже дрогнула рука, приподнялся ус, когда она — не то по-детски, не то с лукавинкой — хвастнула:

— Настоящие русские!

Жандарм чем-то поперхнулся, закашлял, рука его дернулась к завилявшему рулю велосипеда, козырек пополз на нос.

Тогда Мари обернулась.

Лепендин все еще сидел на прежнем месте. Увидя, как она оглянулась, он забеспокоился, качнулся вперед, потом поднял над головою руку и замахал в воздухе своей уключинкой.

Лепендину почудилось, что девочка — девушка ли, женщина ль — улыбнулась ему.

— Ах ты... тохонькая...

НЕДЕЛИКАТНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

Мари вошла в кабинет штадтрата.

Разноцвет стеклышек широкого окна веселой грудой обрушился на нее. Сочившийся через стеклышки свет был весел, хмелен и звонок, как пестрядь карнавальных фонарей. Там, в путаной сетке цинковых прокладок, вы-

леплялись рубиновые, изумрудные, бирюзовые колпаки, береты, шляпы, камзолы, парики, чулки, штаны, пояса, сумки, башмаки и жилеты. В цветистые, пестрые, хмельные наряды вырядились люди. В цветистые, пестрые хмельные кучи сбились люди по сторонам крепкой, скроенной отменным бондарем, пивной бочки. Тянут — пьяные, горластые, налитые пивом, разодранные смехом, толстопузые, толстощекие,— тянут на сторону пивную бочку. Уперлись пятками в землю, вцепились руками друг в друга — руки провалились в животы, а животы вот-вот лопнут от смеха. Пестрая куча толстых людей справа от бочки, пестрая куча — слева. А ну-ка! Кто кого? Ха-ха! А ну-ка! И по цвету чулок слева и по покрою штанов справа ясно каждому, что там нидербахцы, а тут бишофсбержцы. И дело идет не на шутку, дело идет за почетнейшее первенство, за первое место — может быть — во всем отечестве: за честь назваться первым пьяницей прекрасной своей родины! А ну-ка, кто кого перетянет? Нидербах или Бишофсберг? Кто кого? Ха-ха! Тяни, тяни! И не таким городам лестно назваться первым пьяницей отечества! Хмельно, пестро, разноцветно в окне кабинета штадтрата.

Но вдоль окна протянулась густо-красная пустыня рабочего стола. В середине пустыни, в синем стакане, безнадежно оголенные, торчали ручки и карандаши, как умирающие пальмовые стволы высохшего оазиса. Неподалеку врылся в почву глубокий колодец — единственный неисчерпаемый источник безрадостных пространств: чернильница. По краям пустыни происходило движение дел. В синих, белых, зеленых папках, за номерами, литерами и датами, они передвигались с запада пустыни, куда их клал докладчик, на восток, откуда их снимал секретарь. В глубь пустыни проникали только очень немногие дела, и тогда совершали долгий привал под скупой тенью умирающих пальм: на запад от стакана с карандашами.

Штадтрат сидел в кресле, между веселой толпой спорщиков из-за пива и густо-красной пустыней своего стола. Но бишофсбержцы и нидербахцы гоготали и тужились за его спиной, а перед ним простиралась пустыня, и штадтрат принадлежал ей, а не веселым пьяницам. Был сух, безрадостен, бесцветен.

— Фрейлейн Урбах? — спросил он и обрезал ножичком кончик сигары.— Я не удивляюсь, что вас привел

сюда случай, о котором мне доложил секретарь полиции. Присядьте.

Штадтрат раскурил сигару.

— Я знаю ваших уважаемых родителей и знаю вас. Тем не менее я решаюсь сказать: я не удивился бы, если бы мне пришлось беседовать с вами по делу об обвинении вас в государственной измене. Вы понимаете, о чем я говорю?

Штадтрат помолчал.

— Очевидно, вы сознаете всю тяжесть вашего проступка. Я говорю не о том, что произошло сегодня. Это естественное следствие всего вашего предшествующего поведения. Я говорю... Вы понимаете, о чем я говорю, фрейлейн?

Штадтрат шумно выпустил из носу желтый дым и протянул руку к делу, лежавшему в глубине пустыни.

— В распоряжении полиции уже давно имеются сведения о ваших сношениях с русским.

Он вскинул сухие, бесцветные глаза и остановил их на Мари.

— Вы слышите? О ваших сношениях с русским.

Штадтрат крепко затянулся сигарой.

— Ваше молчание, фрейлейн, прежде всего невежливо. В этом я вижу плоды общения с этим, как его...

Штадтрат перелистал дело.

— Его фамилия... Вы намерены отвечать?.. Я говорю так только потому, что уважаю ваших родителей, прежде всего — вашу мать, фрау Урбах. Иначе я нашел бы средства заставить вас вести себя с официальным лицом, как это подобает...

Штадтрат понизил и смягчил голос:

— Неужели вы не понимаете, что ваше поведение невозможно? Подумайте, фрейлейн, в какое положение вы ставите своих родителей! Ваша мать, фрау Урбах, — всеми почитаемая особа, принята при дворе его величества, кавалер орденов, почетный член союзов. Ваш брат... Но о вашем брате пишут в газетах как о национальном герое! Он — единственный офицер во всем Бишофсберге, получивший орден pour le merite! Единственный в Бишофсберге! Он отличился под Верденом! Он вошел одним из первых в Мобеж! Подумайте! И вдруг... Нет, это недостойно, это отвратительно! По долгу службы я должен... Но позвольте, неужели в вас не говорит совесть? Неужели вы не чувствуете раскаяния?

Штадтрат отодвинулся от стола, воскликнул:

— Но ведь это чудовищно, чу-до-вищно!

Потом встал, прошелся по кабинету, снова сел и заговорил однотонно:

— Я требую, чтобы вы ответили мне: признаете ли вы, что совершили порочащий честь германской женщины и честь вашего дома проступок, и обещаете ли вы мне, как представителю власти, впредь не совершать ничего подобного? Отвечайте... Что значит это молчание? Послушайте, вы!..

Штадтрат стукнул кулаком по столу и прокричал:

— Вы, девчонка! Как вы смеете молчать, когда я требую ответа? Как вы смеете? Я проучу вас, я арестую вас, я опубликую ваше имя, я опозорю вас! Вас выгонят из дому, вас выгонят из города, на вас пальцами,— слышите! — пальцами будут показывать, вы! Пальцами, пальцами!

Штадтрат забегал вдоль расцвеченного окна. По лицу его — сжавшемуся, как кулак, жилистому и гладкому — заметались пестрые огни стекол. Он вопил:

— Вы думаете, я пощажу вас? Вы думаете, я потерплю, чтобы негодная девчонка, запятнавшая свою семью, безнаказанно позорила честь германской женщины? Я отважу вас таскаться по проклятым русским, черт побери! Ведь вы... знаете, кто вы? Вы проститутка, вы хуже проститутки, которая патриотичнее вас и не позволит себе...

И вдруг точно поток битого, оглушительно звенящего стекла обрушился на штадтрата:

— Молчать! Слышите, молчать!

Он почти упал в кресло и остолбенел.

А Мари, прямая, вытянувшаяся, словно охваченная стальной формой, отчетливыми шагами пошла к двери, открыла ее, прошла коридорами, залом, где у конторок маячил секретарь полиции, приемной комнатой — на улицу. И там, не сгибаясь, все такая же отчетливая, с поднятой головой, мимо людей, как будто над людьми, не таясь —

впервые за эти годы, не таясь,— прямо через площадь к низкой двери с резьбой барокко, и дальше, по лестнице, выше, выше, ни разу —

— ни разу не оглянувшись —

в дверь, подле которой так билось сердце.

В кабинете штадтрата, вдунутый незримым деликатным духом, показался секретарь полиции.

— Герр штадтрат?

Штадтрат встрепенулся, схватил лежавшее под рукой дело, положил его на середину стола — на запад от стакана с карандашами,— сказал:

— Я отпустил ее пока, герр секретарь. Сейчас я просмотрю газеты.

И секретарь растаял неслышно, как небольшой клубочек пару на морозе. А штадтрат прочел:

Опусти 10 пфеннигов —
увидишь войну!

В Берлине в пассаже театра «Метрополь» есть панорама-автомат. Французики в синих сюртуках и красных штанишках защищают крепость. Против них, по траншеям и окопам, рассыпались серые карапузы. Прелесть, ей-богу! Особенно если подумать, что всякий прохожий может легко убедиться, как, собственно, мила мировая война. Впрочем, что же это был бы за автомат, если бы он не сулил гораздо больших наслаждений? Наверху у него отверстие. О, как оно жаждет никеля!
Над отверстием надпись:

Опусти 10 пфеннигов —
увидишь войну!

В Берлине позаботятся обо всех! За десять пфеннигов каждый может иметь собственную небольшую войну. Брось в отверстие маленькую никелевую монетку (на худой конец, монетка может быть и железной) — в один миг, как говорят берлинцы, заработает лавочка: пушки захлопают своими пробками, солдаты примутся колоть, рубить, стрелять,— прямо восторг! Не успеешь оглянуться — все французы перебиты, захвачены в плен, а немцы вступают в крепость. А потом — что же это был бы за автомат? — все становится по своим местам. Приятно, что эта история всегда может начаться сызнова. Опусти одну денежку — сразу загремят орудия, солдаты примутся колоть, рубить... а в конце концов — все как было прежде. И так дальше, пока не выйдет весь никель. Так было, так могло бы быть долго. В Париже, наверно, тоже есть такой автомат, потому что во время войны хороший вкус интернационален. Только там все, конечно, наоборот: там расстреливают и берут в плен немцев, а потом все становится по своим местам.

Недавно один солдат, приехав с фронта, проходил берлинским пассажем. Он осмотрел автомат и, так как привык на фронте к крепкому слову, выругался. Но так как, кроме того, он был журналистом, стало быть, по профессии своей человеком любопытным, да еще вздумал написать что-нибудь по этому поводу для газеты, то он и бросил в автомат никелевую монетку.

И случилось чудо! Сражение... не началось. Пушки безмолвствовали, солдаты не думали ни колоть, ни рубить, ни стрелять. Тряска, пинки. Ничто не шевельнулось. Автомат был сломан.

Какой-то прохожий, радовавшийся бесплатному зрелищу и глубоко обманутый в своих ожиданиях, хотел во что бы то ни стало

позвать швейцара. Он настаивал на своей маленькой, оплаченной другим, войне, он хотел непременно видеть кровь! Но опустивший монетку отклонил это.

Ибо хотя он и был журналистом, стало быть, человеком, по своей профессии не верящим в чудо, все же от пристального всматривания показалось ему, будто бы французы и немцы посмотрели друг на друга совсем дружелюбно.

— Оставьте,— проговорил он серьезно,— когда-нибудь должно же это случиться?

Сказал «прощайте» и ушел.

Штадтрат свернул газету, позвонил.

Вошел служитель.

— Вот что,— сказал штадтрат,— этой газеты,— видите? — вот этой газеты мне больше не подавайте.

ГЛАВА О ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМНАДЦАТОМ

ДОРОГА

Старый взбесившийся пес, глодавший в беспамятстве самого себя, при последнем издыхании повалился на землю. Сухим языком он начал зализывать раны на своих ляжках и окровавленной мордой вправлял в распоротый живот выпавшие внутренности.

И вокруг пса курился ладан, и колокольцы кадильниц переливались над его ушами, и умильные патеры, кардиналы, ксендзы шествовали в чинном согласии, и раввины лопотали свои тысячелетние заклинанья, и ангельские голоса оглашали застывший воздух:

и на земле мир...
в человецех благоволение...

А пес южал от предсмертной боли, и слепые глаза его были застланы мутной слезой.

Так встретили люди мир.

Он пришел неожиданно, хотя его ждали каждую минуту, днем и ночью, в бодрствовании и во сне. Он принес с собою все, что мог принести после Антверпена, Марны, Шампани, после Триеста, Карпат и Мазурских болот. Он был так же мягкосердечен, как Верден, и так же великодушен, как Брест-Литовск.

Но он кончал собою одни сроки и открывал другие. Падали последние листки календаря, сброшюрованного выстрелом в Сараеве, и наступал час прощания и разлук.

Для Андрея он наступил незадолго до мира, когда ему объявили, что можно возвратиться на родину. Он был горек — этот час,— он был весь пронизан тоскою, как степной ветер — полынным духом. Но он таил в себе неуловимую свежесть, как духота степного ветра таит волнующую прохладу моря.

Почему нельзя говорить о чувствах трогательных и

наивных, как детский лепет? Кто наложил запрет на нежные вздохи, на незабудки, на чистый, теплый поцелуй? Кто осмелился сказать, что чувствительность пошлее жестокости, в то время как влюбленный шепот мы слышим реже, чем стон убитого?..

Мари прощалась с Андреем.

Они сидели, обнявшись, в комнате, которая стала для них из тюрьмы волей, и покинуть ее навсегда было так же жутко, как думать о разлуке.

Они смотрели остановившимися глазами на изученные вещи, и все расплывалось перед ними в какой-то пустоте, как будущее, которое им предстояло.

И чтобы отпугнуть от себя самое страшное, они повторяли друг другу непонятные, непонятые слова:

— Конечно, мы встретимся.

— Конечно, Мари! Ведь все идет как нельзя лучше.

— Я не сомневаюсь ни на минуту, Андрей.

— Я уверен, Мари, я совершенно уверен!

Потом их лица касались горячими щеками, пальцы перебирали запутанные волосы, и притихшая комната повторяла их сдержанное согласное дыханье.

— Ты напиши с дороги.

— Непременно, непременно.

— Как только приедешь.

— Как только приеду.

Глубоко под открытым окном плескалась одинокая струйка фонтана — старого, позеленевшего, источенного водой и раскрошенного временем. Звон воды отзывался в дальних углах площади и был томительно ровен и тосклив.

— Я приеду тотчас, как ты устроишься.

— Я устроюсь скоро, очень скоро, Мари.

— Ну, как ты думаешь, с полгода или...

— Что ты, Мари! Месяца два, самое большее...

— Значит, через два месяца можно собираться?

— Ты должна быть готова, Мари, каждый день. Ведь это быстро уладится, я сообщу тебе телеграммой.

— Телеграммой?

— Конечно!

— Я буду всегда готова...

И опять они молча смотрели перед собой, и давно знакомые вещи пропадали в пустоте, и руки ощупывали и теребили цветы, брошенные между ног на диване.

И вдруг Мари сорвалась с дивана, повернулась ли-

цом к Андрею, зажала в ладонях его голову и коротко сказала:

— Пора!

Андрей потянулся к ней, обнял ее, хотел подняться, но не удержался и уронил ее на себя. И так они не двигались несколько минут: Мари — зажав в ладонях его лицо, он — схватив ее изогнутое тело застывшими большими руками.

Потом он разжал руки, высвободил голову и заглянул ей в глаза. Она, казалось, не видела его. Он произнес придушенно:

— Мари, может быть... может быть, мне лучше не уезжать... остаться с тобой?

Она оттолкнулась от Андрея с такой силой, точно хотела встряхнуть его, и в ее взгляде мгновенно переметнулись испуг и радость.

— Андрей,— почти вскрикнула она,— ты так долго ждал этого часа!

— О да... Бесконечно долго! Но, Ма-ри! Уйти от тебя...

— Как уйти? — перебила она.— Ведь мы встретимся очень скоро...

— Конечно, я болтаю вздор,— быстро сказал он и задвигался, заторопился, как будто сразу приспело время куда-то спешить.

— Конечно, вздор. Малодушие. Ты понимаешь, в эту минуту мне почудилось, что мы... что я никогда...

Он взглянул на Мари.

Веки ее были туго сжаты, и блесткая ниточка свинцом спаяла ресницы.

Он кинулся к ней.

— Мари-и!

Схватил ее на руки, отнес и положил на диван, лег с ней рядом, хотел поцеловать ее, но голова его упала на ее лицо, и слезы их — быстрые, торопливые — смешались.

Помятые цветы падали с дивана, и медленно летели за ними на пол отдельные оторвавшиеся лепестки.

Пауль Геннинг вошел шумнее, чем всегда, и голос его был громче обыкновенного.

— Должен вам сказать, Андреас, меня поражает ваше постоянство. Но ничего не вечно в этом лучшем из

миров, будь он сто раз... Andere Städtchen — andere Mädchen[1], как говорится... Найдете другую.

— Бросьте, герр Генниг...

— Расходясь в политическом смысле, мы, натурально, должны расходиться и в женском вопросе, ха-ха!.. Но скажу вам, Андреас, мне немножко грустно, что вы уезжаете. Кого я буду травить? И, кроме того, на свете становится беспокойней и беспокойней.

— Вы считали, что все благополучно развивается.

— Андреас, Андреас! Во-первых, вы уезжаете, и я не имею оснований скрывать от вас... ну да, что я в некотором отношении разделяю ваши взгляды. Во-вторых, я вижу, что...

Генниг крякнул и ударил себя по ляжкам.

— Будем говорить прямо! Наш патриотизм — накладная штука! Черт его побери — это, конечно, импонирует. Но...

— Мне он отвратителен.

— Любовь к народу...

— Не любовью к народу. Я вам говорил об этом сотню раз. Не любовью к своему народу, а ненавистью к чужим.

— Этого я никогда не пойму. Но я уважаю вашу точку зрения. Хотя она непрактична. Вы убедитесь, что ненавидеть кого-нибудь — потребность человеческого бытия. Но я уважаю... Я уважаю вас, Андреас. Вы уже сложили вещи? Все богатство? Ха-ха, церковная мышь, Андреас, что?

— Да, я готов.

Пауль Генниг вздохнул.

— Провожать вообще нехорошо. Встречать лучше. Он отвернулся и вдруг прорычал с такой силой, что на столе зазвенел графин:

— Когда эта комната останется пустой, куда я, к дьяволу, пойду поговорить о политике? У меня мурашки бегают по спине!

Он умолк на минуту, побарабанил ногами по полу и вынул из кармана газету.

— И как раз теперь, когда становится беспокойно. Раньше этого не было. Раньше было по-другому. Мы должны продержаться — и мы продержимся, мы, немцы! О! Вот что было раньше. Сейчас начали хныкать.

— Я твержу вам это добрых два года.

---

[1] Что ни новый городок, то новые девушки *(нем.)*.

— Ер-рунда, Андреас! Вы такой же слепец, как я. Вы твердите... Я вам лучше прочту...

Герр Генниг развернул газету и подвинулся к лампе.

— Я прочту объявление, самое простое, по тридцать пфеннигов за строчку нонпарели, как пишут газетчики. Слушайте:

Немецкий солдат из хорошей семьи, потерявший на войне ногу и вследствие этого брошенный своей невестой, ищет в спутницы жизни товарища по несчастью. Настойчиво просят дам с недостающими или поврежденными нижними конечностями, но с добрым сердцем и хорошим характером, проникнуться состраданием к разбитой благородной душе в изувеченном теле и с полным доверием и с указанием семейного положения и состояния здоровья обратиться по шифру Е. 8155 в отдел объявлений «Утренней газеты Бишофсберга».

Герр Генниг выдержал торжественную паузу и поднялся, протягивая руку с газетой и потрясая ею в величественном гневе:

— Грандиозное мировое событие воистину многообразно новыми формами жизни. Изувеченный воин, изменница-невеста, неизвестная хромоножка, которая должна облегчить страдания несчастного и смягчить жестокость вероломства,— какая неисчерпаемая материя для способного драматурга!

Он застыл с развернутой газетой над головой.

— Это пустяк, герр Генниг,— сказал Андрей.

— Это меня тронуло. Я человек с сердцем, Андреас, я понимаю тонкие чувства. Я ни разу не говорил вам, что из моей памяти не выходит monsieur Перси. Он был безвредный человек и играл на гармонике, а его взяли и заперли в цитадель. Это трогательно. Политика — я слишком хорошо понимаю. Но, кроме политики, есть человеческое «можно» и человеческое «нельзя». Мы начали хныкать, значит, мы дошли до человеческого «нельзя»...

Андрей подошел к Геннигу и взял его руку.

— Мне пора идти. До свидания, герр Генниг. Благодарю вас за все, благодарю вас. Мне тоже грустно расставаться с вами.

Он потянул Геннига к окну. Глядя на площадь, они постояли молча.

— Четыре года здесь, два — там, три — еще где-нибудь,— так слагается жизнь. Нам всегда кажется, что вот-вот мы начнем жить по-настоящему, вот только что-то переждать, куда-то дойти. А потом оглянемся — оказы-

вается, мы давно уже под горой, давно все прошло. Оказывается, здесь,— не сердитесь на мои слова, герр Генниг,— здесь, в этой тюрьме, я жил по-настоящему. И теперь я оставляю родного человека.

— Я знаю, Андреас. Желаю вам снова встретиться с ним. До свиданья.

Герр Генниг вдруг поперхнулся, стал лицом к стене и закашлялся.

— Пр-рроклятие... этакий кашель и... хрипота... Гха-гха-а! Вчера должен был в своей партии взять верхнее Е — сорвался, гха-а!..

Андрей пошел к столу, надел шляпу, сумку — за спину, взял чемодан и огляделся. На полу около дивана валялись завядшие, раздавленные цветы. Он быстро нагнулся, поднял один из них и сунул в карман.

— От нее? — спросил герр Генниг.

— Да,— ответил Андрей,— от нее. Всего хорошего, герр Генниг!

В маленьком польском местечке, на стертой войною русской границе, составлялся эшелон из больных и раненых пленных. Из лагерей и лазаретов вычесывали негодных для работы людей и гнали сюда не спеша, как гонят гурты усталой скотины.

Дни тянулись долгие, хмурые, и люди изнывали от гудков, от ленивого лязга железа на путях, от ожиданья. Что может быть тоскливей товарного вагона, отцепленного от состава и брошенного на запасной ветке в тупике? Прокопченные паровозы допотопной конструкции толкали целыми днями по разъезду вагоны, перекатывали с места на место, соединяли и расцепляли, и сотни глаз безразлично ползли следом за вагонами, как флюгера по ветру.

Тоска взбалтывалась изредка приездом новой партии пленных. Тогда начинались долгие расспросы, потом — издевка:

— Ишь ты, раскатились! Подай им сразу Расею! Нет, ты, братишка, покорми сперва польскую вошку, а потом посмотрим. Может, ты до Расеи окочуришься?

— Это ты сюда попал, как на запоины. Не успел чихнуть — ан у немца на ферме. А назад — шалишь!..

— А ты как попал, на лафете, что ль?

— Вместе нам с тобой, браток, харю били!

— До Расеи далеко, не доскачешь. Кругом теперь немецкие владения, поляк нынче под немцем ходит.

— Паршивая эта места. Сквальмерщица, одно слово. Сидим тут три недели — никакого движенья.

Понемногу примирялись, привыкали друг к другу, ждали новых партий.

Раза два в неделю прогоняли с востока толпы поляков и евреев — оборванных, грязных, забранных штыками конвоя, как решеткой. Сквозь решетку видны были затравленные глаза и челюсти, которые вечно двигались, точно жевали жвачку.

— Почернел совсем народишка, подгнил.

— Этим теперь каюк, братишки. Гонят их в самую Рейну, уголь копать, в шахту. Шахта там глубиной двадцать верст, целый день ехать. Жар там, в Рейне в этой, такой, что яйца печь можно. Очень понятно, потому уголь все время горит.

— Наших, которых угнали туда, чтой-то не видно.

— Каюк! Потому невозможно — огонь.

— Врешь ты, парнишка, я сам в шахте был, ничего такого нету.

— Ты где был? Где? Может, ты у нас на Дону был? А я тебе говорю про Рейну. Француз у немца шахты забрал, а немцу без угля каюк. Вот он и ушел в землю, в Рейну. На такое дело своего брата он ставить жалеет, а гонит туда всяких пролетариев, нашу публику тоже, если не калечная. Я, братишка, верно говорю!

Те, которых гнали с востока, дрожали, точно от стужи, жалко смотрели, как пленные жуют вареные бураки, и вместе с ними двигали челюстями, облизывали сухие губы. Но их не держали подолгу и угоняли дальше на запад.

В партии, прибывшей в день отъезда эшелона, были Андрей и Федор Лепендин.

Андрея и с ним троих гражданских пленных встретили молчаньем.

Лепендин сразу освоился, засновал между калек, нашел земляка.

— Нас-то? Нас? — говорил он, поскрипывая своим лукошком и стуча уключинками. — Нас сразу двинут, помяни мое слово!

— Разве тебя двинут, голосистого. А мы тут почитай месяц по полу мызгаемся.

— Помяни мое слово! Сразу! Конец, браток, нашей

юдоли, кончено! Было, да кобыла раздавила. Теперь приедем мы домой, земли у нас вдосталь, какую хочешь, такую и бери. Кому лугов надо, кому леса, кому под пахоту — сколько надобно, по справедливости. Работай, живи, хозяйствуй, сук тебе в ноздрю!

— Да на кой тебе, безногому, земля-то?

— От дура! Да как же ты сказать так можешь, на что земля? Ты крестьянин иль мастеровой какой?

— Мы пензенски.

— Толстопятый! Сразу видать. Как же теперь без земли крестьянину?

— А как же ты на заднице пахать-то будешь, без ног?

— От дура! Зачем мне пахать!

Лепендин затеребил своего земляка:

— Скажи ему, толстопятому, что́ у нас в Саньшине, в Ручьях, скажи!

— Мы семидольски,— сказал земляк,— у нас больше ягода, сады, огород тоже, ну и пахота мал-мала...

— Эх! — схватился за голову Лепендин.— Эх, брат! Какая у нас сила ягоды! Вишняка у нас — прямо туча! Сливы, там, торона — свиньи не жрут, а на грядках, на грядках, брат, красно все от земляниги, а землянига — во, в кулак! Вихтория там всякая, скороспелка — и-и-и! А яблок этих самых — всю зиму лопаем, и мочим, и сушим — никак не справиться, до чего много! Базар у нас в Семидоле, так смотреть страшно: куда это человек может столько яблок употребить?

— А какой яблок! — заволновался земляк.— Яблок тоже яблоку рознь. У нас яблок — ударь его мал-мала́, а на ём чуть пятнышко; положи на божницу — он с этим пятнышком так и прозимует.

— Не сгниет? — спросил лупоглазый парнишка.

— Ни боже мой, никогда не сгниет! — подхватил Лепендин и понесся: — Яблок прямо железный, нипочем! Ну, да ведь и сорта у нас! Царский там шип или сквозное, боровинка, апорт.

— Баргамот есть? — спросил парнишка.

— Баргамот-дулю у нас не едят. Это вроде бурака, в месиво больше употребляют.

— Нам бы здесь баргамоту подмешали,— засмеялся кто-то.

— Здесь подмешают!

Парнишка грустно вздохнул.

— А наши места степные, жаркие, все палит.

— Жара, если мал-мала́, тоже на пользу,— отозвался семидолец.

— Ничего, браток, не тоскуй, валяй к нам, на грядки,— сказал Лепендин.— Земли теперь вволю, сам выбирай, сколько влезет. Не нравится — ушел. Понравилось — употребляй подо что желаешь. Я, скажем, без ног остался через войну. Зато я к огороду приспособлен. Работа тяжола, баба и та не выносит. А мне что? У меня рука на пол-аршина в землю ушла, а я спины не согнул. Лафа!

— Ишь веселый!

— А что плакать? Эх, милый, домой едем, на волю вольную, крестьянскую!

— Ктой-то с вашей партией, стрюцкие-то?

— Цивильные.

— Господа?

«Как сказать? — подумал Лепендин.— Образованные, это верно. Однако ничего...»

— У нас, говорят, теперь их нету.

— Не то чтобы не было, ну а к крестьянству не касаются.

— Та-ак.

Лепендин привез с собою удачу: к вечеру составили эшелон, приступили к посадке.

Рядом с Андреем устроился громадный бородач в овчинном полушубке и шапке. Он был нескладен в необычном своем одеянье, среди потрепанных гимнастерок и фуражек. Волосы его и мощная русая борода завивались спиральками, как сосновая стружка, лицо было странно маленьким, в этой гуще волос, прозрачные веки наполовину затягивали горящие черные глазки. Мужик был очень высок, и плечи его катились широкими отлогостями, но он с трудом держался на ногах и сразу, как вошел в вагон, вытянулся на лавке, подложив под голову полушубок и спрятав под него шапку.

— Хворый, что ль? — спросил Лепендин, когда разместились и он закачался по вагону, осматривая соседей и заводя разговор.

Мужик, вздыхая, поднял плоскую грудь, она заскрипела, как изодранные мехи, и он показал на нее пальцем.

— А-а,— сказал Лепендин,— грудью хвораешь, понимаю...

— Кровью харкаю,— проговорил мужик тоненьким

голоском, какого нельзя было ждать от его роста, плеч, буйной богатырской бороды.

— Ни-че-го! — беззаботно протянул Лепендин.— Это у тебя от неволи. Как приедешь домой, так живо пройдет. Ты как попал-то?

— На работу взяли, на плоты.

— Откуда взяли?

— С родины, из-под Минска, хозяйство там у меня.

— Изверги, господи, твоя воля! От хозяйства!

Мужик осторожно покашлял, не открывая рта, потом опустил тонкие, как у курицы, веки.

— Ему нужен покой,— сказал Андрей.

— Покой он лю-бит! — раздалось насмешливо.

Мужик беспокойно поправил овчину и опять осторожно покашлял.

За спинами собравшихся вокруг Лепендина солдат Андрей рассмотрел скуластое, точно сбитое из камней лицо. Острая прямая черта рассекала его лоб.

— Он ради покоя к немцу нанялся на работу. А немец ему деньги не заплатил, вот он и мается.

Мужик, не открывая глаз, проговорил:

— Хозяйство разорили, как тут подняться?

— Ты за свое хозяйство черту душу продашь.

Лепендин растолкал солдат.

— Пусти-ка, братцы, я на него посмотрю, кто такой будет, который про хозяйство так говорит... А, вот ты какой. Из мастеровых, видно. Как ты можешь про хозяйство говорить, скажи на милость?

Скуластый прищурился на Лепендина и потер руки.

— А почему мне не говорить?

— Как же за хозяйство не маяться? Мужику без хозяйства разве прожить?

— Ты постой, не ерепенься, послушай, что скажу. По-разному можно на хозяйство смотреть. В России крестьянин свое хозяйство сразу справил: работал весь век на господ, а потом смекнул, что ежели работа его, стало быть, и хозяйство ему принадлежит, никому другому. Взял да и прирезал господские земли к своим наделам, и стало все хозяйство крестьянским. Вот этакое хозяйство стоющее.

— Правильно! — отдалось где-то позади.

Кругом все притихло. Солдаты осматривали скуластого подозрительно,— он был, видно, чужим среди них — крепкий, сбитый из камня, в пиджачке и в куцем кар-

тузе на затылке. Никто не приметил, с какой партией он пришел и когда влился в эшелон. А скуластый скользил прищуренным взором по головам солдат, и, как мерка, укорачивалась и удлинялась на его лбу острая поперечная черта.

— Стоющее хозяйство то, от которого всему крестьянству польза. А от которого ему вред — за такое держаться нечего. Вот этого мужика по человечеству жалко — больной он, чахоточный, одним словом. Однако и досада на него берет. По доброй воле нанялся к немцу, чтобы деньжонок подкопить, латы на портки поставить. А у нас в России портки даром раздают — всем хватит! Ему бы податься туда, где люди по-новому жить начали, а он в кабалу ушел, копеечку сколотить. Не верит, что у нас теперь все крестьянское добро задарма раздается.

— Задарма! — усомнился кто-то.— Больно ты прыткий!

— А ты что, не слыхал?

— Слыхать слыхали, да ты там был, что ль? Больно раздаешь-то все!

Скуластый подмигнул и потер руки.

— Был иль не был, кому какое дело, ну а кое-что знаю...

Его зажали в плотную скобку плеч, грудей и рук, и десятки глаз бегали за его вертким взглядом. Он вдруг рассмеялся.

— Зовут этого мужика — Киселем, дядя Кисель. Пощупал я его, а он и правда хлюпкий!

Больной завозился и поправил под головой овчину.

Кое-кто из солдат засмеялся.

— Жалеете вы его, ребятки, напрасно. Жалость не поможет, не такое теперь время. Вас тоже пожалеть надо — кто больной, кто безрукий, у кого ног нету. Мы должны сами себя пожалеть.

Семидолец перебил его:

— Ты зубы-то не заговаривай, мил человек, мы сами с усами. Ты, мал-мала́, скажи, что тебе про Расею известно?

— Про Россию? Мы... можно.

Скуластый мотнул головой и сказал тихо:

— Пойдем-ка вон туда, там попросторней.

Он вынырнул из скобки теснившихся вокруг него тел и — ловкий, верткий — метнулся в пустой угол вагона.

Остроплечие, зыбкие, изуродованные солдаты повалили за ним, натыкаясь на лавки и стены.

Лепендин сидел неподвижно в своем лукошке.

Дядя Кисель приоткрыл веки, горящими глазками блеснул на Андрея, на Лепендина и покашлял.

— Что, правду говорят,— спросил он тихо,— на родине большие деньги все стали иметь?

— Деньги стали дешевые, верно,— сказал Андрей.

Дядя Кисель провел по овчине тонкими пальцами и снова закрыл глаза.

Лепендин вдруг стукнул уключинами по полу, подтянулся на руках и зло сказал:

— Небось тебе за твой полушубок сразу тыщу отвалят!

Раскачал туловище, пересел, опять с силой ударил уключинами по полу и двинулся к солдатам, примолкшим в углу.

Насколько хватало глазу, поле было засыпано людьми и узлами. Грузный гомон тяжело подымался над разъездом. Поезда пробирались ощупью и на стрелках подолгу мешкали, пробуя рельсы, как люди — топкую дорогу. От костров стлался над головами реденький едкий дымок.

В сосновой рощице были разбиты лагеря. За проволокой, сорванной с заграждений и намотанной на стволы, слонялись солдаты в деревянных башмаках, громыхавших по земле, точно бочонки.

В поселке, по еврейским конурам и лавочкам, сновали ртутными шариками кургузые фигурки, то рассыпаясь, то скатываясь голова к голове, плечо к плечу.

— Вы на юг? Никогда не посоветовал бы.

— Но почему, почему? Я говорю вам — золотое дно, золотое дно.

— Что идет?

— Сахарин Фальберга.

— Никогда не поверю! Фальберг идет в Москве.

— Но вот вам человек, вот вам живой человек из Киева...

— Вы можете в Москве в два дня сделать дело, честное слово! Вы верите мне? Вы верите?

— Надо принять в расчет дорогу!

— Дорога, дорога, дорога — заладили про дорогу! Теперь везде одинаково, можете мне поверить. Я сделал сорок тысяч верст.

— Надо иметь риск.

— В Москве имеет риск каждый.

— Вы куда?

— В Варшаву.

— Как там ост-марка?

В старых окопах, заросших травою, ютились люди, похожие на цыган, — с детьми, со старухами, с лужеными мисками и битой посудой.

В землянке кричала роженица, под телегой на трех колесах бредил тифозный, над ним — в соломе — играли чумазые двухлетки-девочки.

Полураздетая женщина, с грудями, как пустые мешки, обирала на своем тряпье насекомых. Безногий солдат запекал в золе картошку и суковатой хворостиной отгонял ребятишек.

Люди роились вокруг костров жалкими выводками; и на земле, изрезанной окопами, взрытой разрывами снарядов, — загаженной, оскверненной земле, рождались, умирали, любили, в тоске и злобе взыскали новой, чистой земли.

С востока, из тумана рассветов и сумерек, ощупью приходили поезда, набитые пленными, глаза которых в надежде и тоске устремлялись на запад, домой, на родину. В ловко сшитых русских гимнастерках, круглолицые, как будто все еще пахнущие сибирским кержачьим хлебом, пленные немцы пробирались толпою в карантинные бараки.

С запада, из другого плена, тащились толпы изможденных русских солдат, с глазами на восток, на свою родину, домой. Их тоже отводили в бараки, по другую сторону разъезда, за высокую ограду.

Но, минуя проволоку, заборы и загородки, люди сходились лицом к лицу, и молва о востоке, молва о западе, молва о горе, нужде и надеждах стлалась невесомым костровым дымком.

Когда перед Андреем, в окне вагона, развернулась эта человеческая пажить, его кто-то толкнул. Он обернулся. Позади него стоял скуластый парень в куцем картузе на затылке. Лоб его был гладок, черта исчезла, глаза живо горели, и рот подергивался довольным смешком.

— Это заварили мы! — сказал он, кивнув на муравейник и потирая руки.

От него веяло свежестью крепко поспавшего чело-

века, и он упруго потягивался, хрустя суставами угловатых рук.

— Славная получилась опара. Ишь как пузырится! Я так думаю,— сказал он, сдвинув брови,— побольше бы этаких котлов.

И опять, туго потирая руки, пояснил:

— Братается народишка.

Потом Андрей видел, как на поле он скользнул в кучку людей, посновал там, вынырнул, перебежал к другой кучке, к третьей. Вслед ему оборачивались то со смехом, то молчаливо. Он засевал в толпе какие-то небывалые мысли и был похож на соринку в бутылке с водой, которую взболтнули: вот быстро шнырнет, вот остановится, вот снова двинется, как от толчка.

Когда переселились в лагерь, дядя Кисель пошел бродить в народ. Здесь обрушилась на него разноречивая молва, точно камни с косогора, и он заметался по полю испуганным зверем.

— Спокойной жизни, дяденька, там нету. Приходит эта самая гвардия — давай лошадь. Крестьянин, сам понимаешь, беззащитный,— дает.

— Мужики у нас нынче вроде разбойников: в каждом дому бомбы держат, в овине — пулемет, при себе всегда ножик. Без этого не проживешь.

— Брось брехню слушать. У меня скотина пала, вот я и ушел. А жизнь приятная, всего вволю.

— Кабы жизнь была возможная, нешто мы на такие мученья пошли бы? Сил никаких не стало.

— Каждый человек сам себе барин. Что желает, то и возьмет. Говорю тебе, поезжай без сомненья, не раскаешься.

Немцы в русских гимнастерках, загадочно улыбаясь, ломано говорили:

— Россия хорошо, Германия хорошо — все хорошо, когда голова.

Кургузый человечек взвизгивал и негодующе размахивал руками.

— Как вы могли уехать? Вы говорите — тяжело, а я вам говорю — Россия кончилась, вся вышла, больше не имеется! В России скоро одни собаки останутся, кости кушать. Никакого дела там сделать нельзя.

Благообразный солдат из ратников усовещивал:

— Земля — божий дар человеку. Поселил тебя господь на русской земле — она тебе мать. Прими от нее

всякую обиду, понеси наказанье. Нет греха больше, как бросить мать свою в юдоли...

В сумерки дядя Кисель вернулся в лагерь, качаясь, точно от ветра. Всю ночь он ерзал на соломе, маялся, как в бреду. Поутру, как только солдаты завозились на нарах, он вышел на середину барака и произнес растяжно:

— Братцы, а братцы! Послушайте меня, братцы. Хворый я человек, а кругом каждый про себя. Совета вашего прошу, куды мне теперь, братцы?

Ему никто не ответил.

Он медленно согнулся, поставил на пол одно колено, за ним другое.

— Христа ради, прошу, братцы, куды мне податься, дайте совет.

Лепендин кашлянул, оглядел нары и сказал:

— Я, братец, смотрел за тобой, пока ехали. Жить тебе осталось недолго, все равно где помирать. А по железке ты место занимаешь, лежишь. В это время которому народу домой надо — может из-за тебя в поезд не попасть...

Не поднимаясь с колен, дядя Кисель спросил:

— Умереть на родной земле, чай, легче, братцы? Умереть-то, а?

Лепендин опять оглядел нары. Никто не отзывался, точно все еще спали.

— Наш тебе совет такой,— сказал Лепендин.— Оставайся тут: потому хорошей смерти человеку нынче нигде нету.

Он поправил под собою лукошко, затянул пояс, отвернулся.

Дядя Кисель постоял еще на коленях, покачиваясь и закрыв глаза. Потом встал, подошел к своей наре, взял из подголовья полушубок, свернул его и начал старательно увязывать веревкой. Кончив это дело, он задумался.

С нар поглядывали за ним пристально, как за чужим. Он стоял неподвижно, наклонив голову, борода его упиралась в грудь пышным валом, руки растопырились, точно он выронил какую-то работу.

На Лепендина вдруг напал кашель.

Тогда дядя Кисель нахлобучил шапку, взвалил на спину полушубок, взял мешочек и качко, по-мужичьи расставляя ноги, пошел к выходу.

Минуты две после того, как закрылась за ним дверь,

было тихо. Потом, один за другим, пленные послезали с нар и гуськом, не глядя друг на друга, покинули барак, миновали лагерные ворота, вышли в поле.

Дядя Кисель колыхался над грудами узлов, скарба, над людьми, затянутыми реденьким костровым дымком. Желтая овчина торчала горбом за его спиной, и он подогнулся под ней, как под непосильной кладью.

Путь он держал назад, в плен.

Скуластый малый шмыгнул откуда-то в кучку солдат, провожавших дядю Киселя глазами, и расколол молчание прочными, как клин, словами:

— Вот какое дело. Я говорю, что кто хочет в одиночку быть, сам по себе,— такой человек в наше время не жилец. Народ теперь зажил миром, по согласию, на равном праве. Этаких людей нам не надо.

И малый махнул рукою туда, где скрылся дядя Кисель.

Лепендин отозвался подголоском:

— Я ему так и объявил: не надо, мол, нам таких, ступай с богом!

Дорога, дорога!

Через трупные ямы, залитые известью, через обрубки тел, ползущие, точно земноводные твари, сквозь вопли, стенанья и стоны; по земле, засеянной смертью,— дорога к жизни.

В вагоне-госпитале, прицепленном к хвосту состава, в худосочные обрезки ног и рук игольно-тонкими шприцами впрыскивали дигален и морфий и в набухшие узлами вены вливали соляные растворы. Пульсы, отбившие положенные удары, наново наполнялись тягучей кровью, губы еще раз начинали шевелиться и опять испускали шепот:

— Сестри-ца, при-еха-ли?..

— Сейчас приедем.

— В ка-кой мы... губер-нии?..

— В Смоленской.

— До Тан-бовской далеча?

— Сейчас, сейчас.

Людям, заполнявшим сверху донизу передние вагоны, не впрыскивали наркоза. Но они качались, как пьяные, словно вдохнув веселящего газу, висли на окнах и навстречу ветру, пахну́вшему житом, гикали несвязные песни. Внезапно проснулось непробудное добро, и друг перед другом люди распахнулись весенними окнами —

пособляли увязывать мешки, делились бураками, уступали лавки недужным и хилым,— со смехом и неуклюжей простотой.

Поезд крался переплетом рельсов, по-змеиному выгибая свои зеленые суставы и заползая в щели между разбитых вагонов. Все медленней становился его ход, все больше нагромождалось по сторонам омертвелых поездов, и вот он стал.

Скуластый парень навалился плечом на Андрея и внятно прошептал:

— Смотри-ка.

В пустом вагоне, стоявшем на соседнем пути, германский солдат, оглядевшись по сторонам, быстро вынул из кармана складной нож, отрезал оконный ремень, скатал его роликом, спрятал вместе с ножом в карман и юркнул из вагона.

— Тэ-эк-с,— протянул скуластый,— на-чи-нается!

Он весь задергался от рассыпчатого неслышного смеха, и его глаза оплелись сеткой тонких, как паутина, морщинок. Но вдруг он выпрямился.

Где-то вдалеке треснул разбитым стеклом короткий выстрел.

Скуластый повернулся к солдатам, снял картуз и громко отчеканил:

— Поздравляю, дорогие товарищи, с благополучным приездом на родину.

Точно от этих складных слов рвануло поезд, и все в вагоне весело посыпалось назад.

Андрей ухватился за локоть скуластого и, падая, взглянул в его лицо. Оно светилось ребячьей радостью, и на нем не было ни тени морщин.

— Вставай, вставай, товарищ,— сказал он, подтягивая Андрея за руки.

И тогда полыхнуло на Андрея каким-то зноем, и он втянул его в себя, как утопающий втягивает воздух, и тут же выдохнул с диким воплем.

И весь вагон подхватил стократно этот вопль, и в десятках вагонов, из сотен грудей прозвенел он катящимся железом, вырвался в окна и двери, смял, сломал, задушил грохот поезда и через груды стали и камня понесся в поля, на просторы.

И в вагоне-госпитале, в хвосте состава, возвращенный к жизни капсулой дигалена шепотом спросил:

— До Тан-бов-ской, сестрица, далеча?

— Сейчас, сейчас.

Отсюда было рукой подать до Тамбовской, близко до Ярославской и недалеко до Омской. Здесь все было досягаемо, просто, легко. Здесь была родина.

Солдаты принюхивались к неуловимым движениям ветерка и, точно верхним чутьем, угадывали родные запахи садов, полей и оврагов.

Постепенно, час за часом, редел вокзал.

Люди подкарауливали случайные поезда, забирались в вагоны, под лавки, на мешки, пристраивались на подножках и сцепах и бежали, бежали в просторы, в поля, в Россию.

И когда Федор Лепендин услышал, откуда тянет ручьевскими садами — боровинкой, царским шипом, анисом, и понял, что теперь сам за себя ответчик, он затянул потуже ремни лукошка и на прочных своих дубовых руках запрыгал к вагону, который брали приступом солдаты.

— Пособите, братцы-товарищи, калеке,— заголосил он, подшибая плечами коленки солдат и протискиваясь к вагону.— Пропустите инвалида, будьте милостивы... безногого, несчастного, братцы-товарищи!

Его кто-то приподнял на ступеньки, и он повалился на площадку, как мешок зерна. Через него стали переступать жесткие ноги.

Андрей смотрел на пленных, метавшихся по путям и платформе. Он старался поймать какой-нибудь взгляд. Но глаза шныряли по сторонам, как люди — по полотну дороги,— придавленные бровями, сокрытые, непонятные. Весенние окна, распахнувшиеся навстречу друг другу при первом вскрике радости, внезапно захлопнулись ставнями на кованых болтах.

Все оставалось позади. Трупные ямы, залитые известью, голод, окрики, приказанья, духота бараков, ржавая колючая проволока и оконные решетки — все, что соединяло людей в смирное стадо.

Люди прошли дорогу, люди выбрались на простор. И каждый зажил с надеждой на новую для себя судьбу — на воле, на родине, в России.

Андрей расслышал за своей спиной унывную песню, пересыпанную хрипами надорванных голосов:

Уж ты, господи, ты, небесный отец,
Сыми с воина колюч-зол венец,
Ты стуши-сгони войну-заботушку,
Вороти мужику хлеб-работушку...

Трое слепцов, положив руки на плечи друг друга, пробирались медленно по платформе. Вела их крохотная девочка, отстраняя худой ручонкой встречных солдат.

Головы слепцов были подняты кверху и с каждым шагом дергались на тонких шеях подбородками вперед. Глаза были открыты и — молочно-белые — безостановочно кружились в грязных, немигающих веках. Взгляд этих людей можно было рассмотреть. Над ним не нависали брови. Но он был пуст.

Андрей вспомнил парк Семи Прудов и слепых итальянцев — с глазами, в которых отражались ветки деревьев, вспомнил Мари, отделенную от него лавиной слепцов.

И вдруг он ясно увидел ее прислонившейся, точно привязанной, к дереву, увидел ее руки, бессильно повисшие над землей, ее закрытые натуго глаза. Он отошел к стене, привалился к ней, и руки его повисли беспомощно, как тогда у Мари.

И теперь, как тогда, Андрея отделяла от Мари только дорога.

БЕЗ ЧЕРНОГО И БЕЛОГО

Конечно, все здесь было чужим.

Когда-то в далекой, далекой Баварии об этом городе учитель географии рассказывал, мягким маятником покачиваясь по классу:

— Он поражает своей дикостью, которую многие путешественники склонны считать красотой. Все противоречия русской жизни, весь хаос воззрений русского народа обнаружился в архитектуре мрачного и наивного Кремля. Итальянское средневековье смешалось в нем с поздней Византией, и эту смесь нелегко разгадать за монгольской пышностью украшений и надстроек. В настоящее время этот памятник варварского быта окружен азиатским базаром и европейскими домами, построенными по германскому образцу германскими инженерами. Москва — родная стихия русского, но цивилизованный иностранец страдает в этом городе от дисгармонии его частей и раздражающей пышности строений. Курт Ван, что вы можете сказать о городе Москве?

Курт Ван вскакивал и говорил:

— Москва поражает цивилизованного путешественника своей дикой красотой.

— Я сказал: своей дикостью, которую многие склонны считать красотой.

Конечно, в этом городе все было чужим — от церковных куполков, похожих на свеклы, до изогнутой лебедем пролетки извозчика.

Но вечерами, в закатный час, нельзя было не бродить до устали по опустелым улицам.

Облупленные колонки домиков, добродушные полульвы-полусобаки у занесенных пылью дверей, извитые восьмерками решетки давно опустошенных подвалов беззлобно смотрели на высившиеся амбарами коробки, протыканные бесчисленными окнами.

Каждый вечер Курт ходил по безлюдным переулкам, и каждый раз они заводили его в сокрытые свои излучины, как тайный подземный ход завлекает в свои повороты. И снова и снова он останавливался от неожиданного сочетанья никем и нигде не повторенных линий.

В этот час затоплял переулки колокольный звон, и безмолвие домов углублялось им до тишины подводного яра. И, как в яру, все начинало казаться смертным, стоячим, точно соминый взор, и багровые от заката церкви чудились утонувшим царством.

Тогда Курт выбирался из переулков и шел туда, откуда видны были кремлевские башни. Они выплывали перед ним сумеречные, каким-то певучим венцом исчезнувшего под землей города, и за их неразгаданной осанкой ему мерещился полузабытый бург, обелиском веков лежащий над Нюрнбергом.

Но Курт знал другую Москву и утонувшему в яру царству отводил только закатный час.

Найдется ли в мире город, который держал бы сотни тысяч пудов провианта — во дворцах, лошадиный фураж — в универсальных магазинах, бочки с цементом — в квартирах фабрикантов и железное сырье — на главной улице?

Все, что удавалось собрать по России для Москвы и прибывало на ее вокзалы, переправлялось в центр города и с величайшими трудностями размещалось по ресторанам, танцевальным залам и купеческим особнякам. В центре города грузы перевешивались, перетряхивались, и, разбитыми на мельчайшие доли — каплями, крупицами,— их развозили по окраинным складам и элеваторам, где было больше мышей, чем товаров и зерна.

С утра по мостовым запутанных улиц, через выбоины

и ямы, переваливались слонами грузовые автомобили, и от их поступи дрожали каменные дома и лопались оконные стекла. По кругу Лубянской площади, от Мясницких ворот и с Покровки, по спуску Театрального проезда и в Третьяковском проломе слоны налетали друг на друга, рыча и встряхивая клади на своих спинах,— и смотреть на них было так — точно переезжала в Москву неизвестная какая-то, погоревшая планета.

И через Театральную площадь, по Моховой и дальше — по Волхонке, по Остоженке — торопились вспугнутые слонами погорельцы неизвестной планеты — с мешками на плечах, бесконечной вереницей — по той части улиц, которую прежде город уступал трамваям.

На Остоженке, близ Крымского моста, вереница вливалась в белый дом, и вокруг этого дома одинокие фигуры погорельцев копошились перед витринами и щитами для плакатов.

На бульваре, подле будки, торговавшей поддельным мылом и уксусной эссенцией, высился стеклянный ящик с моделями человеческих внутренностей, и мелкие буквы объясняли человечеству назначение почек и селезенки.

Из-за чугунной решетки, подскочив на добрую сажень, лицом к военному складу обращался плакат с колонками цифр, и десятки людей исчисляли, насколько общедоступна и могущественна наука новой России.

Новая Россия!

Это она вереницею пришла в белый дом, где еще недавно чинно размещались лицейские мундиры, и — неустанная — заполонила залы, лестницы, чердаки, каморки. И в сутолоке, целыми днями, в белом доме писался первый пункт союзного договора между могущественными сторонами — наукой и Россией. Был этот пункт нескончаемо длинен, так что в канцелярии без передышки работала фаланга машинисток, и во всем доме не было угла, куда не доносился бы грохот ундервудов, как будто починялась железная крыша.

В подвальном этаже неусыпно вертелись ротаторы, и артель печатников обливалась потом над тысячами, сотнями тысяч листов, вещавших о неслыханном союзном договоре.

По коридорам и вестибюлям от грохота ундервудов и запаха ротаторской краски полыхала бодрость; и люди бегали, отуманенные цифрами, которыми мерились наука, счастье, человечество, Россия.

В зале с позолоченной мебелью вдоль стен, по растянутым на паркете холстам прыгали женщины и мужчины. На холстах распластался синекожий человек ростом в два этажа, и за ним громоздились развалины гранитных зданий. Чтоб рассмотреть живопись, художники залезали на складные лестницы, под потолок, и покачивались там, как электромонтеры.

Курт Ван голой по локоть рукою расчерчивал воздух.

— Я говорил! Синий куб надо убрать. Зеленый — уменьшить вдвое. Плечо провалилось. Получился калека. Зачем?

Маленькая женщина на весь зал переводила:

— Зачем получился калека?.. То есть не надо, чтобы получился калека, надо уничтожить синий куб и сделать меньше зеленый. Тогда плечо не будет... плечо станет... понимаете?

Женщины и мужчины зажимали в зубах папиросы и, подобрав чумазые халаты, спускались с лестниц на пол.

Курт носился по холстам с кистью в руке и кричал:

— Товарищ, как сказать по-русски: углубите плоскость лобной кости?

Маленькая женщина переводила:

— Товарищ Ван говорит, что надо сделать энергичный лоб.

Тогда чья-нибудь кисть подбиралась к синекожему человеку и приклеивала на его лоб мазок кобальта.

С темнотой, вытерев руки газетами, спускались вниз, и над селедочными тарелками переводчица, смеясь, рассказывала Курту, как ухитряются по одному обеденному талону получить две порции супу.

Курт тоже смеялся, прожевывая вязкий хлеб, и говорил сквозь смех:

— Необыкновенный народ! Изумительный! Насчет супа смешно. А вообще. Как он посмел все это сделать?

Он обводил глазами уткнувшиеся в тарелки лица и снова смеялся.

— Здесь даже суп пахнет вощанкой и ротатором. Сколько пишут! Изумительный народ!

Он нагибался к соседке и, снизив голос, таинственно произносил:

— За всем тем я вижу большой смысл. Очень большой, здоровый смысл.

Когда-то в Кадашевой слободке ютились царские ткачи — люди столь же терпеливые, как и мастера. Из слободы уходили только в пожары, вынося пожитки и полотно на ближние пустыри. После пожаров строились, починяли станки, садились ткать. На пожарищах валялись стервы, их никто не убирал, и над ними кружило воронье, отдыхая на оголенных печных трубах, обугленных столбах, на новых, непокрытых стрехах. Ткачи считали пожары, стервы, воронье своим уделом, изо дня в день, от зари до зари гнулись над скатертями для царской челяди, горели, строились, обучали детей и внуков ткачеству.

С тех пор Кадашева слобода обросла камнем, на юг от нее вырос город, а память о ткачах истерлась. Но, может быть, внуки внуков их ходили еще ко всенощной в церковь Воскресения, что в Кадашах. Как при тишайшем царе Алексее, пробирались они уличками, осеняя себя крестиками, когда из-за угла вылетала стайка ворон. И — как в забытые времена, после пожаров,— выглядывали кое-где на перекрестках оголенные печные трубы.

В Кадашах, у Канавы бок о бок с богомольцами, может быть последышами царских ткачей, гнездились ломовые извозчики — озорной, тяжелый народ. В полночь они вывозили по Ордынке дохлых лошадей и сваливали падаль в переулке у какого-нибудь подъезда былого купеческого дома. С рассветом на крышу дома, на железный зонт подъезда садилось воронье, каркало, снижалось на стервы, долбило лошадиные черепа крепкими клювами.

Поутру ломовики, растопырив на телегах ноги рогатками, неслись к вокзалам. Сквозь грохот колес и подков они буйно кричали на вереницу людей, тянувшуюся по трамвайным путям:

— Береги-ись!

— Ве-се-лей, сотруд-нич-ки, весе-ле-ей!

— Нно-оо!

— Сотруд-нич-ки!..

Такой увидел Москву Андрей с первого дня, поселившись в Кадашах, и такой возникала она перед ним каждое утро.

Он знал, что в этом городе, где-то неподалеку от сердца его, в узле переулков, над невысоким домом, точно крыльями стервятника, подстерегающего гурты, раз-

вевает концами трехцветное —

schwarz-weiss-rot —

черно-бело-красное —

знамя.

Оно неотступно преследовало Андрея, нависало над ним в тихой прохладе Розенау, врывалось в его бишофсбергскую мансарду и теперь вновь настигло — неумолимое, хищное —

schwarz-weiss-rot.

И вот однажды, свежим полднем, Андрей очутился в переулке, где развевалось это знамя, и вскинул глаза на крышу невысокого дома.

Под флагштоком германского посольства стоял человек и развязывал шнур флага.

Андрей остановился.

Человек спустил флаг, уселся на край крыши, в руке у него что-то блеснуло. В тишине переулка раздался дробный протяжный треск, будто на железную крышу бросили горсть гороху и он посыпался по скату в желоба. Звук повторился раз, другой. Человек поднялся и начал быстро перебирать шнур.

Тогда от трехцветного полотнища, комком лежавшего на крыше, отделилась узкая красная полоса и, как вымпел, задергалась вверх по флагштоку.

На посольской мачте Германии был поднят красный флаг.

Человек подобрал черно-белый остаток флага, скомкал его, сунул под мышку и, присев на корточки, скрылся за коньком крыши.

Во дворе, точно сорвавшись с привязи, заторкал мотор, и в тот же момент за ближним углом ему отозвался другой. Два автомобиля почти столкнулись у ворот. Блестящий, начищенный лимузин выезжал с посольского двора, — и пыльный, помятый торпедо, точно вагонетка шахтера, подлетел к посольству по переулку.

Андрей успел подойти к воротам.

У пыльного автомобиля не отмыкалась дверца, и седоки повыскакивали из машины через борты кузова. Серые куртки германцев и порыжевшие шинели русских вдруг замешались в густую кучу, и нельзя было понять, как могли все эти люди уместиться в одном автомобиле. Дверца блестящей машины медленно открылась, на подножку ступил худощавый гладкий человек.

— Что такое? — спросил он и потянул одной бровью вверх.

Кургузый солдатик, заломив полинявшую бескозырку на затылок, отчетливо объявил по-немецки:

— В Москве из германских пленных образован совет солдатских депутатов Германии.

Гладкий человек опустил бровь.

— Какое мне дело, что образовано в Москве? Прошу дать дорогу моей машине.

— Совет солдатских депутатов Германии в Москве постановил принять все дела посольства бывшей Германской империи.

— Я повторяю, меня не касаются постановления совета, о котором вы говорите.

Гладкий человек легко поднял руку и приказал посольскому солдату, стоявшему под ружьем:

— Расчистите мне дорогу и закройте ворота.

Вместо того чтобы исполнить распоряжение, солдат показал ружьем на крышу.

Гладкий человек медленно поднял голову.

Тогда кто-то из приехавших крикнул:

— Назад!

Гладкого человека протолкнули в дверцу лимузина, захлопнули ее, навалились, как по команде, на радиатор и крылья плечами и вкатили автомобиль назад, во двор. Шофер помогал направлять машину рулем, и по обветренному лицу его скользила чуть приметная кривая улыбка.

Андрей качнулся к солдату под ружьем.

— Что случилось?

Каменный холодный взгляд уперся в Андрея, и тонкие губы старательно выговорили изломанные слова:

— Тофарытш нье снает? Германиа органисофаль ссофет. Германиа Россиа фместье.

Андрей не дослушал солдата. Он смотрел во двор, где перед вышедшим из автомобиля гладким худощавым человеком толпились германские куртки и русские шинели.

Какой-то солдат растолкал толпу, подошел к гладкому человеку и бросил к его ногам черно-белую полосу флага. Гладкий человек не шелохнулся, и материя легла перед ним траурным подножием.

Андрей посмотрел на солдата, который принес и кинул обрезок флага.

— Курт! — вскрикнул он и бросился в ворота.

Солдат вглядывался в него, пока он перебегал двор, потом отступил на шаг и спросил тихо:

— Андрей?

— Курт! Курт!

Тогда солдат рванулся к Андрею, зажал его голову в ровных, прямых своих руках и еще тише проговорил:

— Андрей, милый друг...

— Если бы я просидел это время где-нибудь в мастерской, может быть, мир казался бы мне по-прежнему чем-то цельным, как мы говорили и понимали раньше — человечество, мир, — глядя сверху. А я сидел внизу, под полом, видел, как все это устроено. В общем — театр. Ничего цельного. Человечество — фикция.

Курт раскурил тоненькую прожженную трубочку, вытянул ноги, потом плавно, размеренно продолжал:

— Раньше все было укомплектовано, как маршевая рота. Человек пригнан к человеку, как доска к доске в двери. Теперь все расползлось. Между досок — щели. Слепому видно, что все врозь.

Он засмеялся.

— Ты никогда не пробовал писать?

— Нет, не пробовал, — сказал Андрей.

— Я тоже нет. Но я как-то думал, что романы пишут так же, как строят ящики. Надо, чтобы каждая доска всеми сторонами сошлась с другими досками. Так, по крайней мере, писали романы до войны. Теперь и в романе нельзя, наверно, в одном месте свести больше двух человек разом. Клей не годится, не держит.

— Старый клей? — спросил Андрей.

— Конечно, старый. Через колючую проволоку окопов, как через лупу, это ясно видно. Обо всей этой музыке ты думаешь с содроганием — бомбы, трехлинейки, особенно гаубицы. Но я думаю, если бы не весь этот грохот, мы долго еще не образумились бы. А теперь наша голова ясна и сердце проветрено.

Курт зажег спичку, бережно поднес к трубке, снова раскурил.

— Вот моя история, и вот мои выводы. Те доски, какие еще держатся, надо разъединить, может быть разбить, потому что они искусственно склеены и потому что таким клеем нельзя склеить людей в человечество. А в конце концов в этом наша цель. Согласен?

— Согласен, — отозвался Андрей.

Курт подошел к нему и взял его руку.

— Ну вот. Хорошо. А теперь прошу тебя сказать

мне прямо, что я был скотиной... в Нюрнберге, в трамвае.

Андрей обнял его и рассмеялся.

— Нет, нет! — воскликнул Курт, отстраняясь. — Ты должен мне сказать, что ты тогда думал!

— Мне было страшно. Я чуть не плакал, когда вспоминал тебя... каким ты тогда был...

Курт стукнул себя кулаком по голове.

— А-а-а! А-а-а! Какой я идиот! Иди-и-от!

— Дело не в этом, — остановил его Андрей. — Ты мог думать тогда по-другому.

— Я думал как скотина.

— Сейчас ты думаешь иначе. Но ни тогда, ни сейчас тебя не пугала война. Переменилось ли в тебе что-нибудь? Я остался прежним: мне отвратительно само слово «война».

— Подожди, — произнес Курт, — подожди, подожди. Я понимаю тебя... Но неужели ты допускаешь, что я не задумывался над этим? Есть разные войны! И чем ты уничтожишь войну, если не войной же? Не сопротивлением войне? Ведь нет другого пути, нет, нет, нет!

Он топнул ногой и закричал:

— Кровь, кровь — вот что тебя пугает. И эта вечная опаска, что зло рождает зло. А что ты можешь предложить мне взамен зла? Из меня тянут жилы, по ниточке, без остановки всю жизнь. И мне же предлагают строить эту мою жизнь на добре, потому что — зло рождает зло. Откуда мне взять добро, если кругом — зло? Докажи мне, что злом нельзя добиться добра.

— Этого я не могу доказать.

— Значит, путь один?

— Значит, да.

— Тогда о чем же ты?

— О том, что это страшно и... унизительно, — проговорил Андрей с таким усилием, точно его душили слезы.

Курт сжал его руки.

— Милый, милый друг. Ты действительно не переменился. Я часто вспоминал тебя вот таким — с этой доброй, растерянной улыбкой. Мне было бы даже жалко, если бы ты утратил ее. И, послушай, я — настоящий твой друг, навсегда. Помнишь Нюрнберг, с холма? Я тогда испытал счастье. Ты знаешь, я никогда не жил с женщиной, то есть подолгу и хорошо. Что это за чувство? Если такое, как тогда, на холме, — и всегда такое, постоянно — нужно, наверно, родиться с особым даром, чтобы выдер-

жать. Я говорю о том восторге, помнишь? Это должно изнурять... Ты дополняешь меня. Мне хорошо, когда я знаю, что ты вот такой, милый друг, с твоей растерянной улыбкой. Теперь здесь, в Москве, после всего, что произошло, я хочу, чтобы мы повторили нашу присягу. И чтобы ты забыл то, что нужно забыть.

Андрей притянул Курта к себе, охватил его широкую спину.

— Я помню только одно, Курт: как мы сказали друг другу *навсегда*.

— До самой смерти! — произнес Курт, с какой-то строгой пристальностью вглядываясь в Андрея.

Потом он улыбнулся и, неловко складывая слова, точно чтец, выронивший книгу, добавил:

— Школьническое или не знаю какое в чувстве к тебе у меня. Дружба, мистическое что-то. Но мне не хочется бороться с нежностью к тебе. Хотя подсознательное — смешно.

Он помолчал. Потом выправился и опять заговорил, как по книге:

— Я считаю, что не должно быть чувств, недоступных пониманию. И, конечно, все чувства следует подчинить раз навсегда рассудку. Только в этом случае за бессмысленностью видишь смысл и за страданием — радость.

— Однако вот что, — перебил Курт самого себя. — Я рассказал обо всем, что пережил, а о тебе не знаю ничего. Рассказывай. Я буду молчать. Ни слова больше. Почему ты скучен?

Андрей кивнул головой на окно.

В желтоватых сумерках темнел осыпавшийся Нескучный сад, колебались, словно бумажные, фермы Крымского моста, плыла под него черная Москва-река. И над садом, над мостом, рекою, непроницаемой для глаз плитой, кружила воронья стая.

— Ужасно. Этот призрак заслоняет собою все. Голод! Чтобы переступить через него, нужно быть очень смелым. И что за ним?

— Эх ты, революционер! Стыдно, Андрей.

— Я — революционер? Мне до сих пор совестно пройти мимо нищего, не подав ему милостыни.

— Тем не менее у меня сегодня дрожали руки, когда солдаты в посольстве говорили, какого жару они зададут dem oberen Zehntausend[1] в Германии.

[1] Верхним десяти тысячам, то есть «верхушке» общества *(нем.)*.

— Ах, Курт, Германия... Как мне хотелось бы очутиться сейчас там...

Курт настороженно взглянул на Андрея и сухо проговорил:

— Там тебе нечего делать. Это от усталости или непонимания, что твое место здесь, в России. У меня мелькнула мысль... Послушай. Меня назначают в глушь, эвакуировать пленных, образовать из них совет. Это в Семидоле — заброшенный, забытый угол. Поедем со мной. Там хватит работы, нужной для всех. Поедешь?

— С тобой — да,— ответил Андрей, не отрывая глаз от неподвижной точки где-то в пространстве, за окном.

— Прекрасно, добрая душа! Мы заживем с тобой великолепно, мы сдвинем горы! Брось смотреть на ворон! Смешной человек! Оставайся ночевать, чтобы лишний раз не слышать над головой зловещего карканья. Чудак! И говори же, говори обо всем, с самого начала, живо!

Он затеребил Андрея за плечи, оттащил его от окна и бросился разжигать прокопченную керосинку, расшвыривая попадавшийся под ноги хлам. Комната Курта, здесь, в Москве, на чердаке бывшего лицея, напоминала его нескладную нюрнбергскую мансарду.

И ночью, когда Курт и Андрей, закрывшись шинелями, легли на узкой клеенчатой кушетке, похожей на те, какие стоят в приемных покоях,— московской беззвучной ночью Андрей рассказал своему другу о Мари словами, которые так просто приходили в Нюрнберге.

Он рассказал о встрече зимою на Лауше, и о свиданьях в парке Семи Прудов, и о том, как отпирал дверь своей комнаты в условный час, и как жаркими ночами кралась Мари по променадам.

Он дошел до последней встречи, до обещанья, которое дала Мари в последнюю минуту.

Тогда Курт дотронулся до его груди и так же тихо, как говорил Андрей, почти шепотом, сказал:

— Я понимаю, почему ты хочешь туда.

И так как Андрей затих, спросил, погодя несколько минут:

— Значит, самое большое в твоей жизни за эти годы — любовь?

Андрей сказал:

— Да.

И, погодя опять несколько минут, в застывшей ночи, в темноте, произнес Курт:

— А в моей — ненависть.

ЯГОДЫ

Вводить читателя в заблуждение насчет названия этой главы — нет смысла. Главы, посвященные цветам, не имеют особой связи с описанным в дальнейшем. Всем, конечно, известно, что за цветами наступает пора ягод, и одно сопоставление этих слов может зародить мысль о тенденциозности романа.

Но мы далеки от какой бы то ни было тенденции и, чтобы устранить всякие сомнения на этот счет, сразу приводим документ, побудивший нас столь двусмысленно назвать эту главу и совершенно необходимый для целей, сокрытых от поверхностного глаза.

В разгар лета на столбцах всеми уважаемой «Утренней газеты Бишофсберга» появилось следующее воззвание:

ВСЕ В ЛЕС ПО ЯГОДЫ!
НЕ ДАВАЙТЕ ГИБНУТЬ ДОБРУ!

Германские женщины! Да будет это слово услышано каждой разумной патриоткой. Все должны помочь великому делу!

Наше обращение касается особенно домашних хозяек небольших городов и женских союзов и объединений. Устанавливайте постоянные сношения с деревнями и сельскими общинами, побуждайте тамошних бедных жителей собирать лесные ягоды!

Сельские общины должны позаботиться о том, чтобы, с согласия лесничеств, сбор ягод происходил вполне систематично. Ни в коем случае не возлагайте этого большого дела на одних детей! Следите за тем, чтобы ягоды не счесывались с кустов, а собирались руками. Счесывание вредит будущим урожаям, и, например, черника оправляется после него только через несколько лет. Строгое соблюдение этого совета сбережет также много труда по очистке ягоды от листьев перед варкой.

Система, применяемая для собирания ягод в Фогтланде, кажется нам наиболее целесообразной. Взрослые, опытные и знающие местность женщины руководят там группами детей. Получив от лесничества разрешение на сбор ягод, такие группы рассыпанным строем приступают к работе, снося найденные ягоды в заранее приготовленные корзины. Сбор начинают ранним утром и заканчивают к полудню, до наступления жары. Ягоды продаются затем на вес. Труд оплачивается в зависимости от урожая. Оптовая поставка сберегает время, которое обычно тратится на взвешивание мелких партий. Женщинам-руководительницам выдаются деньги, чтобы, если нужно, они могли поехать по железной дороге вместе с детьми. Это очень много значит — проехать в поезде хотя бы один конец утомительного пути.

Регулируйте спрос и предложение. Но будьте бережны с излишним трудом. Коль скоро покрыта потребность частных хозяйств, лазаретов и пр., отправляйте ягоды кратчайшим и выгоднейшим путем в соседние большие города. Самое лучшее — запродать ягоды какому-нибудь оптовому торговцу или консервной фабрике, так как только соответствующая специальная упаковка гарантирует безукоризненный транспорт.

Помните, что ни одна ягода не должна погибнуть в наших отечественных лесах! Ягодные изделия питательны и дешевы.

Германские патриотки, дело за вами!

С Лауше дул холодный, колкий ветер, по камню и асфальту неслись шумливые хороводы листьев. Стоял ноябрь.

Девятый день его прошел сурово и просто, как все дни до него — в скудости и нужде. Улицы бежали нескончаемым своим бегом, ничто не нарушало устава рабочих часов.

И только на одну минуту и в одном месте — неподалеку от ратуши, в тесном пологом переулке — жизнь дрогнула и приостановилась.

В этом переулке помещалась батальонная кухня, и солдаты, получив пайки, с хлебом и котелками в руках, разбегались по своим отделениям, расквартированным в соседних домах.

Какой-то медлительный солдат, тяжело ступая и раскачиваясь, мрачно смотрел в свой котелок, овеянный сероватым клубом пара. Его обгоняла торопливая, разбитная молодежь, перебрасываясь криками и посвистывая. Солдат шел не спеша. Вдруг он остановился, поднес котелок к лицу, подумал, потом размахнулся и швырнул посуду на дорогу, отрывисто и зычно крикнув:

— А!

И сразу весь переулок замер — молодые солдаты, женщины с детьми на руках. Все посмотрели на котелок, качавшийся на круглом боку, на желтую жижу, заструившуюся между камней, на сероватый парок, подхваченный и рассеянный ветром. Затем взгляды перебежали на солдата и застыли на нем.

Он шагнул на дорогу к пустому котелку, медленно нагнулся, поднял его и так же не спеша и грузно, как прежде, пошел своей дорогой.

Никто не проронил за все это время ни звука, и каждый двинулся своей дорогой молча, как будто ничего не случилось, и переулок начал жить по-прежнему, разве чуть-чуть медленней.

Так прошло девятое ноября в Бишофсберге.

Но на другой день ветер круто переменил направление.

На другой день вдова кавалера Железного креста Марта Бирман из Тейфельсмюле приехала на могилу своего мужа. Она выбрала сухие листья, набившиеся в

капустку, которой была обсажена могильная насыпь, положила на нее вересковый венок и опустилась на колени. Сначала она молилась, потом стала озираться и прочитывать дощечки черных крестов, по-военному ровно выстроившихся на солдатских могилах. Единственный камень высился над строем этих крестов — братский памятник умершим воинам. На камне было высечено:

СПИТЕ СПОКОЙНО, ГЕРОИ!
МЫ БЛАГОДАРНО ПОМНИМ О ВАС!

Марта Бирман прочла эту надпись, повторила ее вслух, и слова отдавались в ней какими-то глухими ударами:

— Мы благодарно помним о вас.

— Мы помним о вас.

— Мы помним.

Она вышла с кладбища и у ворот замедлила шаг, чтобы обдумать, куда ей направиться.

Из города по широкой прямой улице приближалась кучка женщин, одетых в траур. Они держались тесно, посередине дороги, шли стремительно, и ветер подгонял их, вздувая юбки и теребя длинные черные вуали.

Резкий говор женщин скоро долетел до Марты Бирман, но она не уловила ни одной раздельной фразы в том, что донес ветер, и стала ожидать, когда женщины подойдут ближе.

Ветер подхватывал их голоса, бросая вверх, и, точно ветром, поднимались над головами женщин руки, грозили кому-то и вытянутыми пальцами показывали вперед.

Обрывки, куски речей закружились над Мартой Бирман:

— У них все благополучно...

— А у них один ответ, на все один ответ!

— ...конца не видно.

— Все равно!

— Пускай, пускай!

— ...запрятали, благополучно...

— ...спокойствие. А мы что — покойники?

— На запоре, под замком, чтобы никто...

— Убойная скотина.

— Прятать?

— ...тогда увидим...

Марта Бирман ждала, что шумная процессия подойдет к воротам кладбища. Она стояла вытянувшись, как на

привязи, стараясь в ломких фразах поймать какой-нибудь смысл. Но женщины, все ускоряя шаги, двигались мимо кладбища к Бисмарковой аллее. Внезапно из хаоса голосов вылетели ясные слова:

— Эй, божия вдова! Твой муженек лежит, видно, в надежном месте?

Чья-то рука показала на кладбищенские ворота, и опять тот же ясный голос позвал:

— Пойдем-ка с нами воскрешать мертвецов!

И — точно перерезали привязь, не пускавшую Марту Бирман,— она сорвалась и побежала к толпе.

Ее спросил кто-то на ходу:

— Военная вдова?

— Да,— ответила она, задыхаясь от бега и неожиданного волненья,— вдова кавалера Железного креста.

— Несчастная! — раздался голос.

— Пусть они вешают свои кресты собакам! — услышала она.

— Мы идем в больницу, за калеками! — прокричали ей.

— Может быть, наши мужья живы?

— Они держат взаперти калек, чтобы мы их не видели.

— Может быть, они держат там наших мужей?

— Чтобы у нас не портились нервы!

— У нас уже давно нет нервов!

— С тех пор, как у нас отняли мужей...

— Пора кончать войну!

Марта Бирман рванулась вперед, обежала тесную толпу, встала лицом к женщинам и надсадно крикнула:

— Стойте, стойте! Я знаю, что в этой больнице! Женщины, несчастные женщины! Мой муж был тоже солдат. Ему оторвало руки и ноги, он ослеп и оглох, он не узнал меня, когда я пришла к нему, туда, в больницу, перед смертью. Теперь он лежит вон там. Я знаю. Весь дом набит безногими, безрукими. Пусть выпустят их, пусть покажут, пусть!

Ее перебили пронзительные крики:

— По домам раненых!

— На улицу калек! Пусть все видят!

— Мы будем их возить по паркам и театрам!

— Пусть смотрят!

Марта Бирман показала на кладбище:

— Вон там целый город мужчин! Там мой муж,

Альберт. Мой муж. И там написано: «Мы помним о вас, мы помним».

У нее вдруг перекосился рот, и визг ее разодрал все крики:

— Я помню тебя, Альберт! Женщины, женщины!

Ветер рванул и поднял вопли, стенанья, рванул длинные креповые вуали, и женщины в трауре бросились бежать.

За их траурной толпой, закруженной ветром в воронку, неслись в одиночку и кучками женщины, слетевшиеся неведомо откуда, точно листья в разгар листопада.

Ветер дул к аллее Бисмарка.

И когда сквозь оголенные ряды лип, подстриженных под кофейные чашки, многогранным хрусталем засветились окна больницы, женщины-одиночки и кучки женщин слились в сплошное озеро голов, и черными гребнями взмывались над озером креповые вуали.

— Женщины, жен-щи-ны!

Благополучный дом взирал на волнение женщин, слушал их визги и неколебимо приятно показывал свои отштукатуренные стены под кирпично-красной черепицей крыши.

Женщины сгрудились в подъезде, и тяжелая, как храмовые врата, дверь плавно и широко растворилась.

Какой-то человек в блистательно-белом халате, выбежав навстречу толпе, прокричал с отчаянием:

— Пощадите раненых, ра-не-ных, безумные!

И в ответ ему сотня голосов закидала надрывно:

— Мы пощадим!

— Мы знаем!

— Пощадите нас!

— Пощадим!

— Пощадим!

Куда исчезли запретительные надписи, параграфы, разделы и пункты? Кто попрятал четко урисованные дощечки с постановлениями, приказами и выписками из правил? Где пропали люди в белом, долгом которых было блюсти параграфы, постановления и порядок?

В коридоры, пронизанные сиянием начищенного бетона, белых потолков и стен, ворвались женщины в черном. С ними влетело в палаты и залы уличное беснованье, и впереди них, над ними, удесятеренные простором коридоров, неслись слезные вопли Марты Бирман:

— Я по-о-мню, Альберт! Я помню!

И потом:

— Вот здесь лежал мой муж, мой муж, женщины!

И снова:

— Я по-мню, Альберт, я помню!

Тогда емкие мужские голоса замешались в стенания женщин:

— Вынесите нас на улицу!

— Покажите нас людям!

— Несите меня в кресле,— пусть посмотрят, что такое война! Вот, вот, смотрите, что такое война!

— Возьмите всех, кого можно поднять с постели!

И какой-то обмотанный бинтами чурбан гулко орал сквозь черную дыру, зиявшую в марле там, где мог быть рот:

— Покажите меня, я умею ходить! Покажите меня, я хожу!

В распахнутых халатах, в бинтах, бандажах, с гипсовыми перевязками, на клюках и палках раненые ковыляли и прыгали из палаты в палату, созывая:

— Кто может — на площадь, в город!

— Кто может — поднимайся!

А из палат отвечали этому зову немолчные стоны и проклятья.

И вот толпа женщин с визгом и воем подняла над головами кресло и двинулась к выходу. В кресле на подушке полулежал человек с толсто забинтованным задом. Подножка кресла была открыта и пуста. Левая рука калеки висела привязанной за шею. Правой он слабо помахивал, то показывая на свое утолщенное перевязкой туловище, то грозя кому-то в пространство.

Перед фасадом больницы шествие долго колебалось, обрастая толпой. Женщины выкатывали на улицу кресла, коляски, стулья, усаживали в них раненых, и раненые размахивали костылями и что-то выкрикивали неслышными хрипами. Молодой солдат, скинув с одного плеча мундир, поднял поблескивавшую никелем и лаком руку, и следом за ним раненые, державшиеся без помощи женщин, заголили стальные, картонные, кожаные руки, и патенты заторкали, заскрипели, заныли своими пружинами и рычагами.

И тогда толпа взвыла неистовым разноголосым воем и, подняв на плечи калек, с креслами, стульями, носилками и протезами в руках, тронулась по аллее Бисмарка и

дальше — по улице мимо кладбища, и дальше — на площадь ратуши.

И впереди толпы, со взмытой ветром крепoвой вуалью, как с флагом, шествовала вдова кавалера Железного креста Марта Бирман из Тейфельсмюле.

Это был странный день.

«Утренняя газета Бишофсберга» неожиданно утратила присущее ей красноречие и с большим трудом, как сильно заикающийся человек, пробормотала что-то о волнениях в имперской столице. Редактор жарко высказывался за необходимость повышения почтового тарифа, и фельетонист описывал героическую защиту Камеруна колониальными войсками. Весь остаток номера был заполнен божественными пустяками.

Фрау Урбах, усталая от утреннего благотворения (по утрам она увязывала пакетики с сигарами для больных и раненых), присела перед окном, выходившим на площадь. Часам к двум вокруг ратуши начал собираться народ, и на выступы здания, на фонари и трамвайные столбы полезли мальчишки. Фрау Урбах спросила у горничной, что могло означать такое оживление. И так как горничная ничего не знала, она решила:

— Наверное, какая-нибудь победа.— И заметила недовольно: — Вечная история: власти узнают о событиях после всех. За всю войну ратуша ни разу не вывесила вовремя флагов...

Площадь мерно заполнялась народом, сыпавшимся изо всех улиц, дверей и ворот. Толпа становилась густой, и люди обращались лицом к улице, которой фрау Урбах не было видно.

Все, что произошло затем, развернулось с удивительной, почти невообразимой быстротой.

Откуда-то налетела стайка газетчиков, рассыпалась по площади, и быстрые, звонкоголосые продавцы засновали в толпе. Народ колыхнулся. Маленькие белые листочки заплескались над головами и побежали по рукам. Раскаты придушенного гула покатились из конца в конец площади.

Фрау Урбах позвала горничную:

— Сбегайте скорее вниз и купите телеграмму. Произошло что-нибудь исключительное!

И когда захлопнулась дверь, она произнесла самой себе, что с нею случалось очень редко:

— Может быть, мир?

В это время толпа подалась к улице, которой не видно было фрау Урбах и, скучившись там, отринула назад под напором плотной, сбитой из человеческих тел стены. Поверх этой стены колыхались кресла с непонятными комьями на них, которые шевелили какими-то подобиями голов и рук. Вдруг все запуталось в вихре бумажных листков, шляп, палок, зонтиков.

В комнату вбежала горничная и испуганно протянула фрау Урбах помятый листок.

Черным по белому, даже не просто черным, а иссиня-черным, на листке стояло слово:

Революция.

И не где-нибудь в России или в Китае — в чем не было бы ничего необычного, а

в Германии,

что было уже не только необычно, но даже

сверхъестественно.

Листок был экстренно выпущен социал-демократической газеткой.

На правой его колонке сообщалось об отречении и бегстве императора. На левой — о провозглашении республики. Внизу, через обе колонки, протянулась надпись, смысл которой был ничтожен по сравнению с бегством императора и провозглашением республики.

Но слова прыгали в глазах фрау Урбах, и смысл их путался. Она соединяла кусочки одного сообщения с обрывками другого и восклицаниями третьего. Получался как раз тот сумбур, который должен был объяснить происшедшее, но не объяснял его: отречение... выборы... республика... собрание... конец... учреждение... бегство... мир...

Ее глаза задержались случайно на строках о выборах в ландтаг, или в какой-то новый рейхстаг, или в какое-то конституционное собрание — разве это важно? В этом рассыпанном наборе слов, в этой болтовне она прочла слово — Урбах. И потому, что все время, пока листок дрожал у ней в руках, она думала об одной себе, о своем мнении, о своем будущем, внезапно она стала не только видеть, но и понимать. И она осмысленно прочла:

...наш комитет выставит в числе прочих кандидатуру члена партии Урбаха из Лауше, в течение двадцати лет поддерживавшего

социал-демократическое движение не словом, а делом. Мы не должны забывать, что член партии Урбах из Лауше, никогда не проявлявший себя общественно, сделал для...

Фрау Урбах откинулась на спинку кресла и закрыла глаза руками. Помятый листок соскользнул на пол.

Вот оно, возмездие... Его нельзя предупредить, его нельзя избегнуть, возмездие знает свой час.

Теперь, только теперь — к концу жизни — становится понятным этот человек, его таинственные проекты, спрятанные в шкафах, его запертая библиотека, его необъяснимые отлучки из дому. Все это делалось за спиной фрау Урбах, в ее доме, на ее деньги.

Теперь, только теперь становится понятной ее дочь — его дочь, дочь Урбаха — Мари, с вульгарными поступками, с упрямством и плебейским своеволием. Теперь поверишь темным слухам, которые свились вокруг Мари. От этой девчонки можно ожидать всего. Ведь она — дочь Урбаха! В ней нет ни одной кровинки фон Фрейлебен!

Теперь понятно все. Возмездие...

О, это опозоренное имя — фон Фрейлебен! Как могла она решиться загрязнить кличкой Урбаха честь и достоинство своего первенца, единственного, последнего ее крови, ее гордость — Генриха Адольфа?

Бежать! Бежать, как император... отречься от дома... от Урбаха. Конец... возмездие...

Фрау Урбах приподнялась, чтобы приказать укладывать вещи, чтобы собраться и уехать. Надо было спешить. Она выпрямилась, как стальная полоса, оправила платье, взяла в руку палочку с резиновым наконечником.

В этот момент вошла горничная, подала фрау Урбах телеграмму и повернулась, чтобы уйти.

— Погодите, вы мне сейчас понадобитесь,— сказала фрау Урбах и, как деловой человек, привычно вскрыла и развернула телеграмму. Текст ее был краток:

Обер-лейтенант Генрих Адольф Урбах 1 ноября в бою под Анкошем пал геройской смертью.

Адъютант штаба полка.

Фрау Урбах пропорола телеграмму ногтями, медленно согнулась и села в кресло. Потом она дернулась всем телом, точно ее что-то ударило снизу, и выкинула вперед больную ногу в шагреневом башмаке.

В ее глазах, обращенных к окну, на секунду отразилась мелькающая суета площади, и она осталась неподвижной.

Это была толпа.

Демонстрации, которые устраивались союзами и обществами Бишофсберга, демонстрации с лампионами и оркестрами равнялись в шеренги, роты, батальоны, и дети шествовали игрушечными полками, и женщины — сомкнутым строем, точно в турнгалле. Но это была толпа.

Дети и женщины, солдаты и бюргеры, калеки, нищие, мусорщики, рабочие, модистки, выбежавшие из мастерских, и батраки, приехавшие с ферм, неслись среди домов пущенной по ветру колодой карт.

Над ними не развевалось ни одного флага, и ни одна труба не созывала их к маршу, но какое-то невидимое, радостное и страшное знамя влекло их по площадям, променадам и улицам.

Мирные люди, из которых тысячи знали друг друга в лицо и сотни распивали за одним столом свою утреннюю кружку пива,— вдруг обернулись париями, и перед ними захлопывали двери, замыкали магазины, прятали базарные лотки, корзины и тележки.

Какой-то бюргер, все еще веря в силу установленных вещей, как отец еще верит в свою власть, когда сын впервые безбоязненно выкажет непослушание,— какой-то бюргер, заперев свою табачную лавочку, вывесил на двери картонку с объявлением:

ЗДЕСЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ.

В самом деле, не могли же люди, проснувшись утром десятого ноября, сойти с ума! И если они неслись по дороге и тротуарам без видимого смысла, то, конечно, только потому, что ни на дороге, ни на тротуарах не было написано:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАРУШАТЬ
НОРМАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ.

Из-за такой непредусмотрительности муниципалитета уличное движение оказалось нарушенным настолько, что всех пешеходов, куда бы они ни направлялись, поворачивало в одну сторону и, точно опавшие листья, несло к цитадели.

И вот суровая, рыхлая, как старый генерал, цитадель открылась глазам толпы. Поседевшая крыша ее была насуплена, и застегнутыми на все запоры стояли ворота.

Толпа замедлила свой бег, толпа почти остановилась.

Но толпу собрали женщины, и голоса их были пронзительней сигнального рожка.

— Женщины! Сюда прячут немецких солдат, которые не хотят идти в мясорубку!

Сигнал ударился о крышу цитадели и, отскочив, упал в толпу.

Его проглотил раскатистый и гулкий бас:

— Солдаты! Здесь сидят ваши друзья!

Пауль Геннинг, подняв над головами зонт, гневно указал им на решетчатые окна, вырвался из толпы и побежал через площадь, не опуская зонта. Тогда какой-то молодой солдатик, обернувшись к толпе, весело скомандовал:

— Ро-та! Вперед, за капитаном! *В зонты* цитадель!

На эту команду из толпы выбежали солдаты — зеленая молодежь еще не обученного набора, с расплывшимися от смеха лицами. Они облепили жужжащим роем командира и кинулись к воротам цитадели, следом за величественным, торжественным Паулем Геннигом.

Бежать было весело, как в недавнем детстве, когда в цитадели развешивался фураж и она беззлобно смотрела на ребячьи шалости вокруг своих стен.

Подбежав ко входу, солдаты принялись стучать в ворота кулаками, с криками, свистом и смехом. Глаза Пауля Геннига метали искры, грудь часто и высоко подымалась,— на голову выше солдат, он озирал их почти вдохновенно и размеренно бил зонтом по воротам. Он был похож на учителя, окруженного озорными школьниками,— в черном одеянии, волосатый и гневный среди серых курток безусых веселых солдат.

Может быть, все события перед цитаделью так и окончились бы этим школьным буйством, если бы спустя минуту в воротах не распахнулась калитка.

Это было так неожиданно, что солдаты, точно от взрыва, отпрянули назад.

Калитку заслонил массивный офицерский монумент.

Он словно ушел в землю ногами, будто сверху что-то ударило его по плечам, и вперил белый взор в пространство над бескозырками солдат. Нижняя квадратная челюсть его вдруг отвалилась, затянутый живот дрогнул, и сиреноподобный вой повис над площадью:

— Смир-но-о-о!

Но в этот миг передний вал толпы, бежавшей к цитадели, накатился на солдат, подмыл их и бросил на офицера. Монумент оказался вовсе не так прочно врытым в землю: зажатый людьми, он громоздко повернулся вокруг своей оси, и его отвалили в сторону. В давке он попытал-

ся расстегнуть кобуру револьвера, по его руке ударили чем-то острым, он огрузнел, размяк, и толпа повалила его себе под ноги, как мешок.

Пауль Генниг нагнул голову, чтобы войти в калитку, когда мимо него проскользнула юркая девушка. Под натиском солдат он ввалился за ней в калитку и тут же почувствовал, как тонкая рука охватила его шею и потянула книзу. Сквозь ропот толпы за воротами он расслышал прерывистый голос:

— Послушайте, Генниг! Мы должны освободить monsieur Перси!

В бледном свете, который то закрывали собой, то пропускали в калитку люди, он уловил черты знакомого лица.

— Фрейлейн Мари? Вы, вы здесь?

— Надо открыть ворота! — крикнула Мари.

Кто-то загремел засовами, кто-то закричал: «Ключи от камер! Где ключи от камер?» Кто-то вдалеке затопал по каменным плитам, убегая в темноту. А в калитку не переставая сыпались люди, как матросы в шлюпку под ружейным огнем,— быстрые и одинаковые.

И вот ворота тяжеловесно развели свои створы, и вместе со светом в цитадель полился густой гудящий человеческий поток.

Солдаты, ворвавшиеся в цитадель первыми, волей-неволей продвигались вперед по запутанным темным переходам каменного котла. Где-то в глубине этого котла, бурлившего придушенными голосами, то взлетал, то падал железный звон, точно рвали на части огромную связку ключей. Потом из распахнувшейся двери плеснуло на толпу ярким светом, и тут же один за другим зазвенели замки. Камеры открывались опытной рукой.

Когда из первой раскрывшейся клетки неуверенно вышел человек, молодой дребезжащий голос прокричал:

— Ур-рра-а!

Толпа мгновенно подхватила крик. И с этой секунды, пока отпирались камеры, по коридорам и лестницам крепости непрестанно перекатывался многоголосый рокот:

— Ур-р-а-а!

Толпа забиралась все выше и выше, все глубже заводили ее переплетавшиеся переходы цитадели, но передняя кучка людей, отмыкавших двери, таяла с каждым новым поворотом коридоров: вместе с освобожденными пленниками народ устремлялся на площадь.

Мари, Пауль Геннииг и три-четыре солдата дошли до узкого тупика под крышей здания.

Тюремщик отпер дверь ловко и привычно: замки были повсюду одного образца, новые, как всё в цитадели, кроме камня стен и полов.

— Последняя,— произнес тюремщик.

— Теперь вы можете просить о государственной пенсии,— заметил Пауль Генниг.

— Может быть, вы похлопочете за меня? — отозвался тюремщик.

Мари вгляделась в человека, стоявшего посреди камеры.

— Выходите, вы свободны! — крикнул один из солдат.

— Ур-ра! — поддержал его другой.

Полумрак тупика обрезал этот возглас, как ножом. Здесь было тихо, и казалось, что потолок медленно опускался на головы. Все смолкло.

— Это не он! — сказала Мари.

— Я говорю вам,— сказал тюремщик,— заключенного по имени Перси у нас не значилось.

Солдаты вывели человека из камеры под руки.

— Перси? — вдруг тихо спросил он.

— Да, мы ищем бельгийца Перси, которого посадили сюда в третьем году,— сказал Пауль Генниг.

— А я вам говорю, что у нас такого не было! Кому же здесь знать? — оскорбился тюремщик.

— Это не совсем точно,— так же тихо проговорил человек из камеры.— Monsieur Перси — бельгийский гражданин: я знал его. Он содержался здесь недели две, потом исчез. Он был против войны.

— Они убили его, Генниг! — воскликнула Мари.

— Весьма вероятно,— сказал человек из камеры.— Он был против войны и, кроме того, иностранец.

— Ах, чер-р-рт! — прорычал Пауль Генниг.

— Что-нибудь случилось? Может быть, кончилась война?

Мари кинулась к человеку из камеры:

— Вы мастер Майер из Нюрнберга?

Немного помедлив, человек из камеры посторонился. Тупой свет высокого оконца, разлинованный решеткой, лег на лицо Мари, и он взглянул на нее искоса.

— Совершенно верно. Я мастер Майер из Нюрнберга, враг народа. Я против войны.

— Мастер Майер...

Голос Мари надломился, она докончила чуть слышно:

— Пойдемте,— и мягко взяла Майера под руку.

В темноте, в затихших каменных лабиринтах Майер спросил:

— Что это означает? Я не знаю вас, фрейлейн.

— Мне рассказал о вас Андрей Старцов.

— Русак и хороший малый,— прогудел в затылок Майера Пауль Генниг.

Уличный свет ослепил мастера Майера, и — может быть, от света, может быть, от пестрой сутолоки людей — он схватился за голову, закрыл глаза и стал.

Пауль Генниг с осторожностью развел руки Майера. Тогда он ответил:

— Андрей Старцов, я помню. Он был тоже против войны?

— Ах, он... такой... он такой...— начала Мари, запыхавшись и сжимая локоть Майера,— он так любил вас, мастер Майер!

У Пауля Геннига выступили слезы. Он раскашлялся, заглушив каких-то певцов, налаживавших незнакомую песню.

— Андреас — малый с головой, я его всегда понимал,— растроганно сказал он.

Мари кинула ему улыбку заговорщицы.

— Андрей был бы сейчас с нами, Генниг.

Среди снующего, неугомонного народа она стояла ясная, счастливая и, как деревцо, легкая.

Пауль Генниг смерил ее гордым, поощряющим взглядом, высморкался и закашлял еще громче.

— Куда хотелось бы вам пойти, мастер Майер? — спросила Мари.

Мастер Майер осмотрел площадь. Над озером колыхавшихся голов старыми глазами он различил потертую надпись:

Bauernschenke[1].

Он пожевал губами, точно закусывая поудобней чубук, седоватая щетинка бороды зашевелилась, поползла вверх по щекам, он обдал теплой улыбкой Мари, Пауля Геннига, и слова его были так же теплы и тихи:

— Если говорить о моем желании, то я выпил бы кружку темного... Теперь, кажется, самый раз?

---

[1] Крестьянская пивная *(нем.)*.

И он потрогал карман вязаной своей куртки, откуда раньше через живот у него бежала цепочка.

Настало время сказать последнее прости городу Бишофсбергу. Он будет еще не раз упомянут, но мы уже не прикоснемся усталыми ногами к его намытым мостовым, не увидим его тесных, малолюдных улиц, не услышим сонного вызванивания часов на ратуше:

Son-ne,
Son-ne,
Son-ne!..

Мы расстаемся с ним полные грусти — с этим единственным видением розовой девушки, поутру окунувшейся в речку.

Мы помним скатерки газового света, разостланные вокруг уличных фонарей, и весенние шорохи парка Семи Прудов, и заснеженную, тонущую в подмороженном запахе смолы вершину Лауше. Мы помним даже беззлобную тетку Мейер, охраняющую общественную уборную подле полиции. Долго ли еще она будет вязать свой неизменный чулок?

В Бишофсберге мы оставляем с любовью мастера Майера, который был против войны. Он был последним, кому подарил свой короткий привет monsieur Перси: bonjour, bonjour, bonjour! В Бишофсберге, конечно, все еще громыхает и рокочет бас казначея Общества друзей хорового пения Пауля Геннига. Мы не знаем, вышел ли он из социал-демократической партии, и потому говорим о нем очень сдержанно, хотя питаем к нему симпатию за его внимание к героям романа.

Но будем честны.

Нам глубоко безынтересна участь секретаря полиции и даже участь полицейского здания, нам безразличны редактор «Утренней газеты Бишофсберга», парикмахерский подмастерье Эрих, старшая сестра Нейман, или майор Бидау, или его величество король саксонский. Все это — мелочь, налезающая во всякий роман, как мухи — в сладкий чай.

Мы с облегчением думаем, что о тайном социалисте Урбахе нам придется сказать всего один раз. Мы не сочувствуем ему, потому что он женился на хромой аристократке с незаконным сыном, чтобы помогать дрянной политической партии.

Наконец, только из одних эгоистических соображе-

ний, касающихся композиции романа, мы возвращаемся к фрау Урбах, урожденной фон Фрейлебен. Она не умерла, ее разбил паралич; и она лежала в спальной комнате, когда в доме Урбах произошел случай, припасенный к концу этой главы.

Мимо этих людей, вперед, вперед!

Но город!

Прости, если неловкое слово заставило страдать твое самолюбие. Прости!

Ты достоин воспеваний, как всякий город, построенный человеческой рукой и возлюбленный человеческим сердцем.

Ты прочен.

В тебе живут люди. Ты верен им.

Ты бросился вместе с ними искать новые дороги.

И ты не наделал ошибок больше, чем их совершили Рим, или Афины, или Париж.

Ты — скромный, безвестный Бишофсберг. Прости...

Вечером десятого ноября содержатель кабачка, ухитрившийся проторговать без перерыва целый день, преспокойно поглаживал свои четырнадцать волос на глянцевом приплюснутом черепе. Как табачник, запретивший делать революцию около своего магазина, он верил в прочность существующих вещей. В его ресторации попрежнему висел автограф князя Отто фон Бисмарка, которым железный канцлер благодарил Münchnerbrauerei[1] за присланный бочонок темного пива. В его ресторации по-прежнему фыркали пивные краны и стоял неуемный шум. Он мало вслушивался в этот шум, это было привычно для него, он беседовал с завсегдатаем кабачка.

— Я ему сказал: что же изменилось, голубок? Вот ты вышел на одной ноге из госпиталя, помахал клюкой против ратуши, побезобразничал в цитадели. А в конце концов вернулся опять ночевать в госпиталь. Он мне вопит свое: погодите, изменится! Что же, говорю, изменится? Ведь нога-то у тебя не вырастет?..

Круглый стол посредине кабачка был залеплен солдатами. Вспотевшие, красные, они расстегнули воротники и куртки. Ах, наконец, наконец-то можно было расстегнуть воротники и куртки! Голоса были хриплы, но солдаты не переставали спорить.

— Как! — угрожающе кричал веснушчатый новобра-

---

[1] Мюнхенскую пивоварню *(нем.)*.

нец.— Солдаты сразу оказались ни при чем? Все дело в руках партий?

— Одни ждут директив из резиденции...

— Резиденций теперь нет!

— Урр-рра-а!

— ...директив из столицы, другие целый день совещаются, третьи...

— К черту партии!

— Позвольте, позвольте же,— стучал по столу ландштурмист в очках.

— Надо уяснить себе характер переворота. Что это? Народное восстание? Сословная революция? Классовая борьба?

— Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова...

— Солдатский бунт!

— Солдаты хотят мира!

Кто-то ввернул из уголка:

— Как только солдат захотел мира, он перестал быть солдатом. Солдат должен хотеть войны.

— До-лой войну!

— До-о-ло-о-о!

— Дело наполовину сделано! Ратуша в наших руках, цитадель тоже, повсюду расставлены наши посты. За чем же дело?

Кабачок вдруг стих.

И в секундной этой тишине раздался неожиданно высокий голос:

— Дело за властью, которая будет управлять вашими постами, ратушей, городом. Дело за властью солдат.

Головы потянулись к выходной двери, откуда доносился голос.

— Я как будто знаю эту девчонку,— погладив лысину, сказал содержатель «Bauernschenke».

Мари стояла на стуле — тонкая, натянутая, как тетива. Лицо ее было запрокинуто вверх, волосы разметались, чуть поднятая рука дрожала.

В английском журнале, запрещенном для чтения в пансионе мисс Рони, когда-то был помещен снимок с суфражистки, произносящей речь на митинге в Гайд-парке. Лицо суфражистки было запрокинуто вверх, волосы разметались, и вся она была прямой и тонкой, как тетива.

Но, Мари, у этой ораторши Гайд-парка, наверно, не дрожала чуть поднятая рука, и, Мари,— неужели теперь,

в этот час, можно было думать об иллюстрированных журналах?

— Верно! — вырвалось у веснушчатого новобранца.

— Мы понимаем, что дело за властью... — начал ландштурмист в очках, но тут же захлебнулся в крутой волне безудержных стонов:

— Солдатская власть!

— Солдатский совет!

— Совет, совет!

И на спаде волны, отчаянно выкарабкиваясь из шума, захоркал чей-то голос:

— Но как, как, как?

Тогда Мари, будто поймав все время ускользавшее слово, подняла руку вровень с плечом и прокричала:

— Това-ри-щи! Я прихожу сюда в третий раз и слышу, как вы толчетесь на одном месте. Надо дорожить каждой минутой. Надо договориться. Я предлагаю для этого перейти в другое помещение. Кто хочет взять на себя честь учреждения в Бишофсберге солдатского совета — пойдемте за мной!

Ее почти выбросило на улицу тараном грудей, плеч и рук. И в новой волне стонов, от которой задребезжало окно, она различила только один припев, давно забытый, волнующий и бесшабашный:

— Эх, хороши девочки в Саксонии!

Несколько солдат дошли с нею до дому.

Она привела их в гостиную фрау Урбах. Она выдвинула на середину комнаты широкий стол, принесла бумагу, чернила и перья. Она сняла со стены дубовую доску с двустишием:

WIR STEHEN IN OST UND WEST
WIE FELS UND EICHE FEST

Она написала на обороте доски — бумажкой, скатанной в трубочку и намоченной чернилами:

Провизорный Совет
Солдатских Депутатов
г. Бишофсберга.

Она спустилась вниз и привесила доску у входной двери на улице.

И когда пятеро солдат, разместившись за столом, начали высчитывать, какое число депутатов должны послать в совет расквартированные в Бишофсберге части,

Мари стояла у окна, в углу гостиной,— неслышная, как тень.

И с каждой минутой, убегавшей в новую отныне историю Бишофсберга, голоса солдат становились прочней, и слова — короче, и смысл их — проще.

В это время медленно открылась дверь, и, облаченный в черное пальто, с туго скрученным зонтиком в руке, вошел в гостиную бюргер. Он снял котелок, остановился, обозрел стены, карнизы, окна. Потом, не сгибаясь, подошел к столу, но стал не вплотную, а поодаль, на расстоянии, которое не могло уронить его очевидного достоинства. Куда он смотрел — нельзя было понять.

— Вы — совет? — произнесли его одеревенелые губы.

— Да,— ответили ему.

— У ратуши кем-то расставлены солдатские посты. От желающих пройти в здание они требуют пропусков совета. Никто в городе не знает, где находится этот совет. Я искал его целый час. Отсюда я заключаю, что у совета нет административного уменья.

— Совет только что организовался.

— Значит, в то время, когда у ратуши требовались пропуска совета, никакого совета в городе не существовало?

— Солдаты проявляют революционную инициативу.

— Но вы — совет?

— Да.

— Дайте мне пропуск в ратушу.

Солдаты переглянулись.

Бюргер был неподвижен, и глаза его смотрели неизвестно куда.

Тогда от окна, в углу гостиной, оторвалась неслышная тень.

— Я знаю — кто это,— сказала Мари.— Это герр штадтрат. Мне кажется, ему можно дать пропуск, если он скажет, что ему нужно в ратуше.

Одеревенелые губы произнесли:

— До изменения конституции власть в городе сохраняет муниципалитет. Если власть захватили силой, то на ответственности муниципалитета лежит еще городское хозяйство. Мне нужно быть в ратуше: вечером я рассматриваю бумаги хозяйственного отдела.

— Я напишу,— сказал один из солдат.

Он оторвал листочек бумаги и набросал несколько слов, подперев их жирным росчерком. Пропуск пошел

вокруг стола, отяжеляясь подписями. Когда последняя была наложена, сделавший ее заявил:

— Хорошо бы... какой-нибудь штемпель.

— Штемпель? — воскликнула Мари и выбежала из гостиной.

Вернувшись, она взяла пропуск и с силой стукнула по бумажке деревянным грифом, слева от росчерков. На пропуске оттиснулись четыре фиолетовых слова:

EX LIBRIS
MARI URBACH[1]

Герр штадтрат принял пропуск в свой кабинет из рук Мари, не сгибаясь дошел до двери и надел котелок.

Мари побежала за ним, часто, как девочка, перебирая ногами. Ей захотелось взглянуть, как он будет спускаться с лестницы.

Но в передней, за дверью, она увидела отца. Она остановилась.

Герр Урбах смотрел на нее, как будто не узнавая.

— Ты что? — спросила Мари.

— Знаешь, Мари? Твоя мать тяжело заболела. У нее паралич.

Мари молчала.

— И твой брат убит в бою...

— Да, — ответила Мари, — мне говорила об этом горничная.

Она постояла секунду неподвижно, потом повернулась, вошла в гостиную и плотно прикрыла за собою дверь.

НАРОДНОСТЬ ФИНСКОГО ПЛЕМЕНИ

Вот отрывки записей обер-лейтенанта саксонской армии фон цур Мюлен-Шенау, которые он вел в русском плену. Разрозненная тетрадь с этими записями была найдена спустя много времени после семидольских событий. Плохие, вероятно самодельные, чернила расплылись, бумага промокла. Сохранившиеся страницы удалось восстановить и перевести почти полностью.

19 февраля.

Семена кипрея, полученные от искусственного опыления, дали первые всходы. Фрей ходит гордый и счастливый.

[1] Из книг Мари Урбах *(лат.)*.

27 февраля.

Сегодня год.

За это время ни одного письма с родины. Я писал всем, кого мог вспомнить.

Теперь, когда Мари так безнадежно далека, мысль о ней сжимает меня тоской. На фронте этого не было. Оттуда все представлялось простым: война оканчивается, я возвращаюсь в Шенау, женюсь.

Я думаю о своем роде, о его и своей судьбе, и женитьба на Мари становится для меня потребностью. Это удивительное существо дало мне почувствовать, что в нем спасенье моего рода. У нас было пять ветвей, все мужские. Четыре из них прекратились при моей жизни, на моей памяти. Я — последняя. Женитьба должна произойти по каким-то особенным основаниям, чтобы в роде снова появилась воля к жизни. У меня сейчас воля к доживанию. Я не вижу, для чего мне жить. Картины? А что дальше? Все во мне, в том отрезке жизни, который мне положен. С ним кончается все. Я не повторяюсь, не живу, а доживаю, промериваю положенный отрезок. Я должен хотеть, чтобы в будущем передо мной простирались века — точно так, как они лежат позади меня в прошлом. Я должен хотеть повториться.

Фрей не перестает твердить о физиологии. Мне неприятно думать о Мари, когда в уме вертятся такие термины. Мои пращуры любили сначала по праву брачной ночи, потом — за деньги. Едва ли кто-нибудь из них любил своих жен. Жены были в стороне, на их обязанности лежало продолжение рода. Род возникал в стороне от основной жизни пращуров. Если бы они любили по линии рода, он был бы крепок, и я жил бы сейчас вперед на сотни лет, а не доживал бы свой отрезок.

В этом я уверен.

Фрей говорит о том же такими словами: надо полюбить, жениться, произвести детей, и тогда все станет понятно само собой.

Мари носит в себе волю к повторяемости, продолжению. Я закрываю глаза и вижу ее, какой она была последний раз в Шенау. Я готов кричать — так меня раздражает это.

30 апреля.

В лагере объявлено, что мы можем беспрепятственно селиться в деревнях и наниматься к крестьянам по соглашению.

...приезжал какой-то солдат из города, было устроено собрание. Солдат говорил о мире и о том, что будто бы Россия...

16 июня.

Нас держит здесь, конечно, не власть. Власти давно не стало. Держат непроходимые дороги. Фрей мрачен. Когда перебирались в Пичеур, с воза скатился ящик с гербарием, попал под колесо. Больше ста листов гербария смяты и поломаны. Фрей избил возницу-мордвина, я ничем не мог...

...тридцать семь верст (40 километров) до Семидола. По сравнению с лагерем — ближе на двадцать три версты; но в этом мало отрадного. Из города выехать нельзя, поезда не ходят. Об обмене никто ничего не слышал, и не знают, куда направлять пленных. Говорят, там скопилось больше тысячи человек и живут милостыней. Я тоже живу милостыней. Фрей находит, что нужно поближе присматриваться к мордве. В ней наше спасение. Спасение?

...не видели ни одной печатной строки. Фрей забросил свою морфологию, все время молчит.

Вчера приехал в Пичеур продовольственный отряд. На завтра созван сход, будет собираться хлеб для городов. Мордва совсем перепугалась, прячется по избам.

28 июня.

Мордва относится ко мне с непонятным почтением. Вчера приходила знахарка-мордвинка, принесла молока, позвала на молян. Уходя, поклонилась в ноги. Фрей просил записать:

Каринь-Паз — лесной бог, хранитель липы и лыка для лаптей (обуви).

Калма-азыр-ава — защитница погоста, охраняющая ворота кладбища.

Юртава — богиня очага, оборотень,— то кошка, то заяц.

«Может быть, пригодится»,— сказал Фрей.

29 июня.

С восходом солнца мордвины уводили свои семьи за село. К нам зашла знахарка. Мы отправились в путь. В пути были два часа десять минут. Сначала шли полем, потом лесом, оврагами. Овраги здесь страшные. Не зная местности, легко заблудиться. Народ собрался в трущобе,

у родника, бьющего на полметра вверх. Вода в роднике необыкновенная — ледяная, желтая от железа. Камни, по которым бежит ручей, покрыты коричневым налетом, как от ржавчины. Родник бьет всю зиму. Народ сидел семьями, каждый двор — кольцом. В глубине трущобы, за родником горели четыре костра. Посередине каждого кольца людей стояли горшки с кашей, принесенные из Пичеура. Когда нас заметили, взволновались, стали оглядываться. Знахарка побежала по кругу, что-то сообщая шепотом. После этого успокоились, одобрительно закивали нам головами. Фрей подсел к кружку, где были почти одни старики. Я сел с ним рядом. Вскоре наступила тишина. Старейший прочитал перед родником молитву. Ее повторили старшие в каждом кругу. После этого из глубины трущобы вывели четырех баранов. Старшие отправились к кострам, начали напевать заклинанья. Потом закололи баранов, сняли шкуры, уселись вокруг костров, стали жарить мясо. Старейший не переставал молиться. В это время пришел русский поп. Его встретили с почтением. Он был, видимо, доволен, не мешкая развернул свой узелок, надел пышное золоченое облаченье и приступил к русскому молебну тотчас, как мордвин-старейший сказал ему, что мордовский молян окончен. Обрядовые отличия молебна от моляна незначительны. Это любопытный тип миссионера — русский поп, мирно уживающийся с язычеством.

Фрей рассказал мне, что поп, так же как мордвин-старейший, молился о дожде и благополучии. Фрей говорит по-русски не лучше мордвы, объясняется смешно, но его отлично понимают. По окончании обрядов между семьями разделили мясо. Был розлит в глиняные плошки пуре — пьяный напиток, сваренный из меда. Первым выпил старейший. За ним поднесли почему-то мне, потом — попу. Поп, выпивая, посмотрел на меня и поднял плошку. Пуре очень крепок — я почувствовал опьянение с первых глотков, может быть потому, что полтора года ничего не пил. Пуре подавалось только мужчинам. Часть мяса и горшки с кашей женщины унесли с собой на загоны, где пища и была съедена. Мы вернулись в самый зной. Фрей шел со стариками. Я — один, впереди.

Молян называют «Бабань гаша».

...я уже привык жить в каком-то седьмом веке. По утрам нам приносят в глиняной посуде кислое молоко и хлеб. От нас ничего не берут. На мне рубаха из холста,

расшитая желтыми крестиками. Говорят, ее вышивала пичеурская красавица. Я ее не видел. Я вообще не видел здесь красивых. Когда думаешь о них — задыхаешься, а как только посмотришь вокруг — все проходит.

Фрей рассказал, что в селе посажена за прялку девушка лет двенадцати, прясть суровую нитку длиною в окружность села. Этой ниткой в полночь она обнесет Пичеур, чтобы оградить его от заразы. Пряха должна быть непременно целомудренна. Пока она прядет, к ней допускают одних старух. Иначе нитка не будет иметь силы.

Из города к нам занесли тиф.

После рассказа Фрея не мог заснуть целую ночь.

7 сентября.

Все движется? Нет. Все стоит. Вырваться из проклятого...

...не доберешься даже вплавь. За целую неделю мы вышли из своей конуры всего один раз. Ходили собирать на дубках чернильные орешки. Фрей все еще на что-то надеется, говорит, что если мордва кормит нас...

10 ноября.

Я застал Россию в революции. Другой я ее не знаю. Но, на мой взгляд, она и не была другой. Я думаю о миллионах километров, которые лежат таким пластом, как Пичеур. Седьмой век. С ноября выпадают снега. Люди прячутся в берлоги, спят полгода. Если это — революция, то что же было до нее? Фрей говорит, что России мы не видали. По-моему — наоборот. То, что мы видим,— и есть Россия: снег, бездорожье, сон. Здесь — овраги, дальше — степи, еще дальше — пустыня, в другом конце — леса, болота, мох. Среди этого первобытного величия — поселения, названные городами, и кое-где поля. Эти пласты пригодны для колонизации. Колония должна еще пройти путь просвещенной тирании. Тогда, может быть, перед ней откроется будущее. Здесь нужны феодалы, а не социалисты. (Нужны ли вообще где-нибудь социалисты?) Феодалы принудят научиться разумному труду. Другого средства заставить сажать кукурузу там, где выгорает от зноя рожь, нет. В городах уже началась гражданская война... что революция...

...снег, только снег. Боже мой!

Ночью проснулся в изнеможении. Опять Мари, живая, теплая. Ради того, чтобы увидеть ее...

20 декабря.

С первой санной оказией из города пришел слух, будто бы Германия подписала перемирие и его величество кайзер бежал. Какой вздор! И какими ничтожными негодяями должны быть люди, распространившие эту клевету! Отвратительно думать.

Фрей стал хмур и молчалив до крайности. Я сосчитал: сегодня он сказал семь слов — доброе утро, опять снег, да, покойной ночи. Спит он всегда крепко, без снов. Уже неделя, как он опять углубился в свою морфологию, сидит над лупой. Я помогаю ему разводить болотные растения в горшках. Пробовал рисовать углем. Уголь мордва обжигает великолепно. Но нет бумаги.

Я провозился два дня на дворе, расчищая снег.

...неизвестно — откуда. Один из них баварец, другой чех. Фрей уговорил баварца сходить в город, разузнать обо всем. Обещал за это всю зиму кормить. Баварец ушел. Фрей провожал его за село. Вечером он вдруг разговорился и рассказал наконец о своем плане, который показался мне фантастичным. Предпосылки, однако, верны. Мордва хочет истолковать для себя всю так называемую революцию как национальное освобождение. Никакого освобождения ожидать, конечно, нельзя. Но симпатии мордвы на стороне нерусских народностей. Мы, ведущие войну с русскими, легче всего найдем общий язык с мордвой, хотя бы и русский язык Фрея. У нас общий враг. Фрей успел многое сделать. Нас действительно кормят недаром, и я теперь понимаю, почему мордва смотрит на меня с благоговением. Пичеур подготовлен. Если бы рассказать Мари, она не поверила бы. Это из «Тысячи и одной ночи». Фрей, браво!

Вечер Сильвестра.

В прошлом году, в лагере, Фрей загадывал, где и как встретим мы новый, 1919 год. Где — мы почти угадали: от лагеря мы ушли на двадцать четыре километра и попрежнему отделены от мира снежной пустыней. Но как могли мы думать, что нашу страну ожидает такой позор! Германия, родина! Какие силы могли тебя сломить?

Утром вернулся из Семидола баварец. Это правда, что его величество кайзер покинул отечество. Германия — республика. У власти шайка каких-то неведомых парламентариев. Перемирие позорно. Армия, флот, офицерский корпус сдались на милость противника. Его величество

король саксонский... Нет, я не могу! Фрей, железный, непоколебимый Фрей, рыдал...

...Смерть — вот единственное наше слово. Мы поклялись под Новый год — я, Фрей, баварец и чех,— поклялись на оружии, что мы не простим позора нашей родины. Пусть будет так.

Баварец принес из города шесть револьверов. Фрей торжественно вручил мне лучший из них. Баварец — бравый, толковый солдат, у него три ранения, кавалер Железного креста. Чех мне не очень нравится, но Фрей ручается за него. Кроме оружия и газет, баварец принес следующие сведения: в Семидоле находится совет германских солдат-большевиков, занимающийся агитацией среди пленных, которых он должен эвакуировать на родину. Лагерь для пленных переполнен. Свирепствует тиф. Пленные продолжают прибывать, а отправка их почти невозможна, так как дороги бездействуют и гражданская война в разгаре. Все это благоприятствует нам. Чехи пробиваются в Сибирь, чтобы окружным путем, на американских и японских судах, попасть на родину. Изменниками были — изменниками и останутся.

Днем мордвины принесли двух убитых волков и положили к моим ногам. Звери прекрасные. Я принял их, приказал унести и снять шкуру. Когда мордвины ушли, Фрей пожал мою руку.

— Так хорошо,— сказал он.— Ты должен помнить, кто ты для этих людей.

О, эти люди до сих пор не потеряли инстинкта воинственных варваров. Может быть, в их легендах все еще витает призрак угорского повелителя, громившего русских князьков? Этот инстинкт можно потревожить. В конце концов один род маркграфов фон цур Мюлен-Шенау стоит всей княжеской истории мордвы!

Фрей прав. Все дело во времени и в сроках.

ГЛАВА ВТОРАЯ О ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОМ, КОТОРАЯ ПРЕДШЕСТВУЕТ ПЕРВОЙ

СУББОТА В СЕМИДОЛЕ

В «Крестном календаре» Гатцука перед словом «Семидол» топорщилась на тонкой талии рюмочка, и над нею висел почтовый рожок.

И правда — в станционном буфете Семидола водилась даже нежинская рябиновая, а почтово-телеграфная контора содержала по штатам девять чиновников и семь почтарей.

На российском просторе было раскидано таких Семидолов великое множество. Все они были похожи друг на друга, как куры, и жизнь в них шла по-куриному — от зари до зари, с нашеста на нашест.

Семидольцы бродили по пыльным, мягким, как перины, улицам и прогнившим панелям, кормились, клохтали, выводили цыплят, с опаской посматривали наверх, откуда валятся все беды, и бежали без оглядки, как только раздавался воинственный трепет петушиного крыла. Петухи, как положено, топтали семидольцев, блюли их нравственность, бились смертным боем за свои приходы.

Чтобы отличить в Семидоле наступавшие новые времена от давно прошедших, надо, бывало, прожить в нем не меньше человеческой жизни. В этом случае наблюдательный глаз замечал, что на Монастырской улице поставлен новый фонарный столб, да развалился палисадник против земской управы, да выкрашена заново пожарная каланча.

Но если в мирное стояние Семидола врывалось какое-нибудь событие, то оно проносилось разяще быстро. Так благоденствие птичьего двора сменяется кромешным адом, когда в его пределы влетит оголтелый пес.

Нам трудно устоять перед соблазном ретроспективного описания города, в былое время похожего на птичий двор. Что может быть умилительней клохтанья наседки,

трогательней писка желтоперого выводка или вдохновенней петушиного призыва? Но мы твердо помним, что этот идиллистический курятник погубил немало русских романистов.

Вот почему мы начинаем свое повествование прямо с того дня, когда над птичьим двором прокатились первые раскаты всполоха и в вышину, откуда валятся все беды, взлетело выдранное из хвоста перо. Вскоре такие перья заклубились над Семидолом непроглядными тучами, а через пять дней — всего через пять дней — воздух стал снова прозрачен.

Товарищ Голосов — молодой человек, и стоит ли говорить о том, что в его годы незазорно показаться на улице рука об руку с девушкой?

Но товарищ Голосов — председатель исполкома, и зовут его в Семидоле — городским головой. Пристало ли голове волочиться за юбками? Да и как связать появление председателя исполкома на улице с поповной Риточкой? Правда, Риточка — делопроизводитель исполкома и, таким образом, приобщена к труду. Правда, зовут Риточку товарищем Тверецкой. Но семидольцы — народ дотошный, до сплетен падок и охоч,— поди вдолби им в головы, что Семен Иваныч Голосов — оратор и противник частной собственности — в известном отношении ничем не отличен от любого семидольца, достигшего двадцати двух лет.

Ну их к черту!

По городу надо ходить быстро, припечатывая подошвы к утоптанным панелям, подергивая и теребя верхнюю губу, сморщив на лбу шишку и глядя вперед по меньшей мере на полверсты. А когда встречные кланяются — отвечать стремительно и кратко:

— Здр-расте, товарищ!

И нестись дальше, глядя прямо перед собой на полверсты.

Если же ехать в тарантасе, то не иначе, как сжав крепко зубы, засунув руки в карманы и впившись глазами в кучерскую спину. Тогда всем ясно, что товарищ Голосов спешит по неотложному делу государственной важности, а не катается на советских лошадях без необходимости.

Но кем надо быть, чтобы, увидев товарища Голосова

в субботу после занятий в исполкомском тарантасе, бок о бок с поповной Тверецкой, подумать о государственной важности занятиях?

Разумеется, все дело тут в несознательности семидольских обывателей, которые на второй год революции все еще глубочайше убеждены, что весна противоречит Коммунистическому манифесту, а любовь — самая настоящая, самая пахучая, с катаньем на лодках, короткими объятиями в кустах, солеными поцелуями у калиток,— такая любовь отменена на каком-то съезде.

Впрочем, если бы обыватели думали иначе...

Ну их к черту!

Товарищ Голосов так и сказал, прикрыв улыбку круглой ладонькой:

— Ну их к черту! Поеду с Покисеном...

Андрей нахмурился.

— Ты как будто нарочно стараешься делать так, чтобы я оставался наедине...

— С товарищем Тверецкой? — подхватил Голосов.— Ерунда! Ты же видишь, что иначе не выходит?! И потом...— Голосов потеребил верхнюю губу.— Надо быть немного почеловечней, Старцов. Неужели ты не замечаешь?

— Не твое дело.

— В моих интересах сохранить трудоспособность делопроизводителя исполкома. Товарищ Тверецкая начала путать бумажки. Я позвал ее, стал спрашивать, у нее забегали глаза, а в глазах — Андрей Старцов.

— Я понимаю,— сказал Андрей, улыбнувшись,— в твои годы чувствуют себя неловко, если влюбляются.

— Ерунда!

— Ничуть. Ты валишь с больной головы на здоровую. По субботам тебя как будто подменяют. Это от предчувствия свиданья. Ведь и сегодня ты едешь в Старые Ручьи, чтобы...

— Брось! За кого ты меня принимаешь? Я еду подыскать помещенье для детского дома.

— Да что ты говоришь? Для детского дома? На зиму глядя?

— Да, да, для зимнего детского дома,— прикрикнул Голосов,— и потом, мне нужно испробовать новый маузер.

— И для этого поехать за десять верст?

Лицо товарища Голосова почерствело, он приготовил-

ся сказать что-то жесткое, но вдруг рука его дернулась ко рту, и бойкий смешок скользнул на Андрея, не успев спрятаться в ладоньке.

— Для этого поедешь, пожалуй, верст за сто...

Он круто повернулся и зашагал через двор, одергивая рубаху и крича в открытые окна двухэтажного дома:

— Няня! Обедать!

И, как всегда, Андрей застыл на минуту при ясном крике — няня!

В дверях Голосов обернулся.

— Значит, приедешь?

— Приеду.

— Ну, то-то!

Это — весь разговор Андрея с Голосовым во дворе редакции семидольских «Известий».

Вечер был тих, и, подрумяненное, падало за монастырь небо. Похожая на яичную скорлупу телега с хрустом перекатилась через железнодорожный переезд. Товарищ Покисен сидел на соломе в середине деревянного кузовка, вытянув ноги и держа на весу детский кинематограф. Голосов перекинул одну ногу через передок, другую поджал под себя, как настоящий — о да, настоящий! — бывалый возница.

Перед тем плыли они по неукатанным улицам в хрустящей скорлупе, не спеша разминая сухие кочки грязи и волоча за собой ленивый желтовато-прозрачный половичок пыли.

Покисен сквозь золотые очки строго озирал тесовые домишки и полусгнившие мудреные куполки толстых верей. При всяком толчке он подымал над головой кинематограф, опасливо и осторожно, точно вез дароносицу. Голосов сердито щелкал языком и покручивал в воздухе концом веревочных вожжей.

И было со стороны, для тех, кто не знал председателей в лицо (а находились в Семидоле и такие): вот едут товарищи землемеры в Саньшинскую волость резать наделы. Для тех же, кто знал: непременно придумали исполкомщики новую агитацию за Баварию или — чур-чуру! — за полное уравнение с почвою крестопоклонского базара на предмет устройства какой-нибудь дошкольной площадки.

Так тихо и чинно плыли два председателя мимо распахнутых крашеных ставен, водоразборных кранов, заби-

тых наглухо бакалейных лавок, по хрупким дощатым мостам и мягким, как перина, улицам.

Тихо и чинно — до железнодорожного переезда.

А после него товарищ Голосов подобрал в телегу ногу и осмотрелся.

Из-за крутой насыпи полотна выглядывали круглые, как у цирка, крыши дорожных мастерских. Позади них крепкой зеленой заплатой прилип к небу соборный купол. У самого переезда высоко торчала закопченная сторожка, и вправо от нее, вдоль песчаной подошвы насыпи, точно лагерные палатки, тянулись штабеля решетчатых серых щитов.

По сторонам дороги лежали вперемежку обстриженные наголо прямоугольники полей. Еще неубранные, долговязые подсолнухи тут и там забегали в оголенные полосы редкими почернелыми веснушками.

Впереди виднелась темная полоса саньшинского леса.

— Поедем, Покисен?

Голосов поднялся, сбросил фуражку, раскидав солому, установил одну ногу в кузове, другой уперся в передок. Покисен подмял под себя пук соломы, нацелился через очки на Голосова, сказал, точно пытая:

— Поедем, Сема...

Тогда Голосов натянул вожжи.

От железнодорожного переезда до гущи фруктовых садов Саньшинской волости вился крутыми поворотами ручьевский проселок. В повороте — излучинка, в излучинке — петля, и петля бежит неровно — изогнулась тонкой змейкой: надо объехать всякую выбоину, обойти уступ, увернуться от камня.

Но не Семену Голосову объезжать, обходить да увертываться, Семен Голосов приучил себя ходить прямо и на ходьбу иль переезд не тратить много времени, потому что всякая дорога, даже самая совершенная, даже воздушная,— всякая дорога — пустая трата времени.

И разве не распалит дыханья, разве не одурманит, не подожжет встречный ветер, что свищет в уши, треплет и рвет волосы, бьет, точно жгутом, в оголенную грудь?

Плотно влегла кобылка в мокрую кошму хомута, весело отплясывает на взмыленной спине ее увитая медяшками шлея, нет-нет словно обухом гакнет копыто по передку,— а Сема хлещет поджарую по быстрым ляжкам раз за разом, все чаще, чаще, все сильнее. Ноги у Семы

будто вправлены ступнями в телегу и на толчках мягко пружинят в коленках. Рубаха у Семы выбилась из-под пояса, пузырится красными шарами за спиной, и волосы зализаны ветром на затылок гладко, точно частым гребнем.

Через рытвины, колеи, по выбоинам и кочкам, то по кузов в долговязых подсолнухах, то в рыжем клубе пыли, ямами, пригорками, быльем,— прямо, все прямо, встречу ветру, с свистом, грохотом, гиком:

— Сема! Сем-ка, Семка-у! Держи, черт, держи!

Но ходят вожжи по крупу и бокам поджарой кобылки, и вот взметнула она мордой, мягким раздутым храпом отвалила на спину дугу, пошла в опор.

— Сема! Сем-ка! Чер-рт!

Недаром выездил кобылку пожарный вестовой. Недаром смотреть на него было страшно, когда ночью, вопя от жути не своим голосом, с керосиновым факелом за спиной, носился он по городу.

— Сема, ч-че-ерт!

Не остановить.

Тогда растянулся товарищ Покисен во всю телегу, поднял над головой обеими руками кинематограф и вдруг высоким, пронзительным, как звон жестяного листа, голосом запел песню. Слова ее были просты, но никто, кроме Покисена, не знал их. И так же прост был напев ее, и никто, кроме Покисена, не знал напева.

Эй, ле-леле,
Эй, ле-леле,
Эй, ле,
Эй, ле,
Эй, ле-ле.

Голосов отпустил вожжи, присел на корточки. Обернув круглое пушистое лицо к Покисену, смотрел в небо. Так неслись они еще с версту. Будто пружиной сжималась и разжималась в галопе взмыленная кобылка. Из стороны в сторону перекидывало телегу, и она громыхала, как мешок, набитый железным ломом.

Жестяными всхлипами пронзал округу Покисен. И не разобрать было, слушал ли Голосов песню иль думал о чем-нибудь своем, раскачиваясь на корточках.

Эй, ле-леле,
Эй, ле-леле,
Эй, ле,
Эй, ле,
Эй, ле-ле.

И когда остановились у въезда в ручьевские сады и стали оправлять расхлябавшуюся мокрую упряжку, Голосов спросил:

— Это ты по-фински?

Покисен улыбнулся, как ребенок.

Тогда Голосов улыбнулся тоже.

— А что, у вас оперы есть?

Покисен подумал, потом просто сказал:

— Дурак.

Ручьевские сады раскинулись на сотни десятин. Тесно прижались они друг к другу тугими, обмазанными глиной плетнями и через плетни подавали друг другу мохнатые руки вишняка и слив. У каждой избы был сад, и ко всякому саду вела дорога, по которой могла проехать телега, чиркая осями по торчавшим из плетней прутьям. Когда на дорогах встречались возы, мужики смекали, кому ближе до садовых ворот, пятили лошадей назад, заносили телегу в ворота и так распутывались. Только одна дорога — широкая, трактовая — прорезала сады, и вела она от полей, сквозь Старые Ручьи, в Саньшино.

Люди жили тут давно, отцы отцов и отцы дедов садили здесь черное дерево и китайку, царский шип и бергамот, а горький торон щетинился здесь путаными зарослями с незапамятных времен.

Напоить вдосталь стодесятинные гущи яблонь, вишен да всякой другой крупной и малой росли можно было только круговой порукой. И сады жили братьями. Узкие дороги меж плетней с весенних ден до заморозков лежали под болотцами, и нигде не жилось так привольно ужам да лягвам, как на этих дорогах. От сада к саду протягивались в воздухе желоба, ползли по земле канавки, и по вечерам, когда смолкали шорохи работы, торопливая капель вызванивала веселые частушки, сыплясь с желобов на деревья. Сотни десятин — кудрявых, густых, расцвеченных — сотни десятин, убранных рукою человека, слушали тогда воду.

Голосов и Покисен въехали в Ручьи по тракту. Но впереди бежало стадо овец, поднимая непроглядный столб пыли, нужно было свернуть в сады, чтобы не задохнуться.

Тут почти по обоймы проваливались в колеях колеса. Подковы чавкали в размятой и жирной, как кулага, гря-

зи. Дуга раздвигала податливый переплет вишен. Широкими ладонями хлопали по осям лопухи. Какой-то желоб сажен десять тянулся вдоль дороги, и, пока проезжали этот кусок, на спину лошади и в телегу рушился крупный холодный дождь. Лошадь вскинула морду, шумно раздула бока, отфыркнулась, пошла тихо. Голосов растер на лице капли воды, взглянул на Покисена и, словно сконфуженный, сказал:

— Хорошо...

— Председателю исполкома на правах дачника? — спросил Покисен.

Потом молчали, прислушиваясь к журчанью, переплеску и звону струек и капель.

На даче старший сын Покисена — остроплечий, сухой мальчуган — ползал вокруг кинематографа, щупал и трогал винтики, колесики, вертел ручку. В кухне, у русской печи, жена Покисена ломала хворост и мурлыкала песенку на языке, которого в Старых Ручьях никто не понимал и никто никогда не слышал.

И на том же непонятном языке товарищ Покисен вполголоса напевал трехмесячному своему сыну о том, о чем в Старых Ручьях никто не знал.

О том, что скоро, очень скоро, когда победит социальная революция и партия скажет:

— Товарищ Покисен, вы послужили революции, располагайте своей свободой,— вот тогда он отвезет маленького Отти на озеро Хэпо-Ярви.

— О, Хэпо-Ярви! Отти, крошечный Отти, ты еще не вдыхал его горклого запаха, еще не жмурился навстречу острому его ветру. Отти, крошечный Отти, ты еще не видел, как ветер Хэпо-Ярви скренил на север мачтовые сосны, и твоих маленьких ушей не коснулся свист поднятого с дюн песка.

— О, Хэпо-Ярви! Нигде не бежит так быстро конь, как по льду Хэпо-Ярви, и нигде не катятся так лыжи, как по склону его береговых гор.

— И как умеет Хэпо-Ярви молчать! И как кричит, ревет и свищет Хэпо-Ярви, когда буря идет со шхер!

— А какие качели, Отти, какие качели расставили храбрые люди на берегу Хэпо-Ярви — качели такой вышины, что сердце готово выскочить из груди, когда они взовьются над водой. А песни, какие песни поют люди на этих качелях по ночам, когда луна смотрит на дно Хэпо-Ярви! Отти, крошечный Отти, слушай:

Эй, ле-леле,
Эй, ле-леле,
Эй, ле,
Эй, ле,
Эй, ле-ле.

Высокие, тонкие вскрики пробежали по верхушкам яблонь, зарылись в гущу сада, пропали. Покисен прижал к груди укутанного кружевами Отти и смолк.

Жене, которая пришла кормить ребенка, он шепнул:

— Я рассказал ему про Хэпо-Ярви.

И она чуть слышно поблагодарила:

— О, ты!

Воздух стянуло студью заморозка, какая выпадает октябрем, после тихого дня, отогретого солнцем. От этой студи и оттого, что хотелось уже посидеть по-зимнему — в пахучей тесноте, вокруг огня, — окна дачи зарыли наглухо.

Военный летчик Щепов — худой, обтянутый фуфайкой, в узких зашнурованных до колен сапогах — ходил мимо стола. Героиня семидольского театра следила за ним из уголка большими, засоренными карандашом глазами. Ее все звали по имени и отчеству — Клавдия Васильевна, — и Щепов посмеивался над ней: какая популярность!

Рита забралась на диван и не шевелилась.

— У вас воспаленное воображение, — говорил Щепов, обрезая слова короткими шагами. — И ваша лихорадочность — от боязни, что вы ошибаетесь. Какая, к черту, в Семидоле революция? Четыре маслобойки и одна мельница. Пролетариат?

— Ты ничего не понимаешь! — кричал Голосов, подскакивая на стуле. — Наша задача...

— Дай я кончу. Вот вы — что ни на есть ответственные большевики — уехали в субботу из города. Знаете, что там осталось? Если не считать военкома, остался в неприкосновенном целомудрии Семидол царя Гороха. Весь город пополз ко всенощной, к Покрову пресвятой богородицы. В исполкоме дежурная сторожиха вяжет варежки, у особого отдела заснул красноармеец, а заведующий народным образованием рубит в корыте капусту для пирога. Ладно еще, что вы печатаете «Известия» на бутылочной бумаге. Она хоть и плохо, а раскуривается. Вот вам и революция.

— Наше дело — привлекать к себе новые кадры...

— Пошел к черту с этими словами! Я говорю тебе, что здесь за кадры.

— Виноват,— вступился Покисен,— если я вас точно понимаю, вы говорите, что Семидол контрреволюционен? Ну, а борьба с контрреволюцией разве не та же...

— Да какая здесь, к черту, контрреволюция? Болото с лягушками, больше ничего. Квакали раньше, квакают теперь.

Щепов остановился, скрестив руки. Взгляд его был блесток от веселого задора, голос — отточен и упруг.

— Посмотреть на вас со стороны — восьмидесятники! Сема для пущего сходства даже волосы отрастил. Собрались вечерком у приятеля, распиваем положенные уставом напитки, хозяйка хвастается грибками и маринадами...

— О-о-о! — воскликнула жена Покисена, и от негодования ее лицо окаменело больше обыкновенного.

— А восьмидесятники истекают по́том в принципиальной дискуссии.

Голосов вскочил, точно уколотый. Руки его запрыгали по пояску. Он собирал полы рубашки сборочками за спиной, обтягивая живот и бока, и назади у него получался хвостик, подпрыгивавший от малейшего движения, как у трясогузки.

— Ерунда! — гаркнул он, топнув ногой.— Вот такие, как ты да вот как Старцов, это вы разводите болтовню, потому что вы рохли, тюфяки. Для нас все ясно, мы знаем, чего хотим, и в любом болоте найдем что делать. Дай нам самых сонных лягушек, мы из них сделаем то, что нам надо. А если из них ничего сделать нельзя — уничтожим, да, уничтожим их. Болота нам не нужно! Это вы — Щеповы, Старцовы — крутитесь вечно в мнимой принципиальности, все хотите примирить идеальное с действительным. Мы знаем, что примирить нельзя, можно только подчинить. И мы находим в себе силы подчинять! Мы не оглядываемся, не боимся, что́ вы про нас скажете, и нам все равно, какими мы представляемся воображению Щеповых. Восьмидесятники? Наплевать! Мы не боимся есть маринады и ездить на дачу. А вы лизнули вареньице и сейчас же задумались: а имеет ли революционер право лизать варенье в то время, когда... и поехало! вот откуда у вас чувство превосходства! Смеешься? Я же по носу твоему вижу, что ты думаешь: нам-де очевидны противоречия, в которых погрязли большевики, и наше

рыльце чистенькое. Плевать мы хотели в ваше рыльце! Думайте что угодно! Обойдемся без интеллигенции с ее патентом на непорочное мышление. Это не то что — спецы, у которых есть знание и которые...

Голосов остановился, обвел всех нахмуренным взором, гаркнул:

— Ерунда! — и сел.

— Целая декларация,— сказал Щепов.

Покисен поправил очки.

— В вас еще сохранился юмор, Щепов? Не оттого ли, что Голосов оставил открытый ход для вылазки? На вашем лице превосходство интеллигента сменилось превосходством спеца.

— Ну, а вы-то, вы,— неожиданно закричал все время молчавший Андрей,— разве вы не та же интеллигенция?

— Не те же недоучившиеся студенты? — ввернул Щепов.

— Поехало! Кровь от крови и плоть от плоти! Брось! — отмахнулся Голосов.

Он снова привскочил, сощурился на Щепова и тихонько спросил:

— А верно говорят, будто бы летчик может уронить самолет так, что аппарат разлетится к чертовой матери, а сам он останется целехонек?

— К чему ты?

— Нет, нет, ответь на вопрос прямо!

Щепов развел руками.

— Теоретически...

— Нет, нет, не теоретически! — наступал Голосов.

— С известными системами такие случаи бывали. От падения на крыло пилота выбрасывает вон, иногда шагов на двадцать, машина переваливается на пропеллер, сминает его, иногда мнет и другое крыло. Вообще... Но это смешно! Уронить аппарат нарочно!

Щепов потянулся — высокий, худой,— подперев пальцами костлявых рук тесовый потолок.

— Рискованно? — спросил Голосов, пряча в ладоньку неприметный смешок.

— Я тебя понимаю,— глухо проговорил Щепов.— Риск, однако, заключался бы не столько в умышленном падении, сколько в объяснении, которое оно потребовало бы. В аварии должна быть ясность.

Он прислушался к последним словам — как они расчертили воздух вровень с его головой — и повторил:

— В аварии должна быть ясность.

— Но ведь здесь на сто верст кругом никто, кроме тебя, не смыслит в аэропланах,— ты можешь объяснить любую аварию как захочешь,— сказал Голосов в ладоньку.

Щепов тяжело уставился на него и молчал. Все вдруг стихли, перехватив дыханье и глядя куда-то между летчиком и Голосовым.

— Вот скучно! — пугливо вздохнула Клавдия Васильевна.

Тогда лицо Щепова быстро разгладилось и посветлело.

— Занятный ты человек, Сема...

Голосов встал, сборчатый хвостик его рубашки хлопотливо оттопырился и задрожал, он тряхнул своими космами.

— С вами в самом деле скучища. Я пойду пробовать маузер. Кто со мной? Рита, пошли!

Товарищ Тверецкая тихо перевела глаза на Андрея. Он сидел сгорбившись, поочередно распуская и собирая морщинку между бровей, точно припоминал что-то непрестанно ускользавшее и смутное.

Голос кинулся к двери, выдавив из себя с брезгливой болью:

— Ах, ну тащите вашего Старцова!

Рита спросила:

— Хотите, Старцов?

Он молча поднялся.

Вероятно, ему было все равно — идти куда-нибудь или остаться.

С ним случается это часто. Внезапно он как будто глохнет, и тогда слышит только то, что происходит внутри него. Усилия, которые нужно сделать, чтобы не закричать в такие минуты от страха, изменяют его до неузнаваемости. Его лицо коробится, как пергамент от воды, он повторяет какие-то давно заученные движения, не замечая их, как бывает с контуженными. Он подчиняется всему, к чему его побуждают извне, не противясь и не соглашаясь, хотя сознание его по-прежнему живо. Он не может оторваться от единственной, непередаваемой, громадной какой-то мысли, однажды поразившей его мозг.

Он идет рядом с маленькой, жмущейся к нему Ритой. Она взяла его под руку, и он локтем ощущает мяг-

кую теплоту ее груди и — за нею — беспокойное торканье сердца.

Голосов шагает спереди, разводя руками встречные ветки. Ночь непроглядна, заросли торона и вишняка густы и колючи, но Голосов упрямо пробивается чащей вперед и вперед, в холодную темень.

— Тише, Голосов! — говорит Рита. — Не бросайте так веток, вы исхлестали мне все лицо.

— А на что у вас руки? Отцепитесь от Старцова и не отставайте, идите скорей.

— Нас двое, нам трудней идти.

— Тогда черт с вами! — кричит Голосов и — упругий, изогнутый — бросается в сторону, ломит и мнет непролазные заросли, потом прыгает через гряды кустарника, ничего не видя, бормоча что-то досадное и жаркое, как бред.

Рита выводит Старцова из чащи торона в редкий строй яблонь, и они нащупывают ногами рыхлые лунки округ коротких стволов. Андрей медлителен и все так же послушен вкрадчивым движениям Риты. Она прикасается к нему почти всем телом, он слышит, как дрожит ее бедро, как разгибается твердое колено.

— Вам холодно?

— Да.

Она прижимается плечом к его лопатке, часто вздрагивает и замедляет шаг.

Андрей вслушивается в рассыпанные слова Риты и долго не понимает их. Они долетают издалека, как звон и всплески капели поливных желобов, и, так же как капель, обступают вкрадчиво и мягко.

— Вы испытали это? — вдруг слышит он.

— Я?

— Да, вы испытали?

— Что?

— Когда оба чувствуют одно и то же, совсем одинаково, так что ни раздумывания, ничего нет, а только одно... Вы знаете это?

— Да.

— Это случается раз в жизни?

— Что?

— О чем вы всегда думаете? — слышит он снова. — Почему судьба толкает меня туда, где я ничего не ищу? Голосов не дает мне покоя. Это всегда так бывает, а? Я ничего не понимаю. Я только знаю, жизнь — малень-

кий кусочек. Очень маленький. Его жалко, если он так пройдет...

Рита спотыкается, падает, тянет Андрея за собой на землю. Он хочет ее поднять, она противится. Он садится рядом с нею.

Здесь опять начинается гуща торона, и его терпкий дух стоит плотной душащей толщей. На земле еще больше колется холод, на земле он крепок и жгуч, на земле сильнее и слаще человеческое тепло.

— Раз в жизни. Я только этого хочу, Андрей... У меня в груди все прожжено этим, вот здесь.

Она берет его руку и с силой вминает его согнутые пальцы в свою грудь.

— Холодно, холодно! — бормочет Рита.

Андрей слышит, как стучат ее зубы, как вся она содрогается от озноба, как в стуке зубов прерывается горячее бормотание:

— Ведь я не задумываюсь... Чего же вы... чего же, Андрей...

Потом терпкие, как тороновый дух, волосы оплетают его уши, шею, щеки, его движения сковывает дрожь, холод становится нестерпимым, и зубы так же рвут невнятный шепот, как бормотанье Риты:

— Кто задумывается? Разве можно, когда... Такой холод... земля... Рита...

Он оторвался от единственной, непередаваемой своей мысли, он оттолкнул ее от себя, он заново видит то, что перед ним, вблизи него, вместе с ним. Да и была ли у него какая-нибудь мысль? Не плыло ли перед его губами горячее, влажное, мягкое кольцо, ускользавшее вот уже целый год — больше года! — в тот самый момент, когда он готов был прикоснуться к нему сухим, воспаленным ртом? Наяву и во сне это мягкое, влажное кольцо маячит где-то в пространстве маленькой красной мишенью, и теперь — даже теперь, в непроглядной темени ночи — Андрей различает жаркую его красноту.

— Холод... Мари... целый год... Рита!

Кольцо подплывает ближе и ближе к воспаленному сухому рту, растекается по губам, спирает горло духотою, и сквозь духоту едва слышно выкарабкиваются бессмысленные, но такие человечьи слова:

— Ну же... ну! Ах, ты... ты, ты!

И в эту минуту, в другом конце сада, может быть, в другом саду, в зарослях терпкого торона, прикрытый не-

досягаемой чернотой неба, стоял товарищ Голосов лицом вверх, к звездам. Звезды лили на землю холодное серебро — отчетливо круглые и большие. Голосов глядел в них пристально, словно они отражали события, которые надо было рассмотреть.

Вдруг он вздрогнул, вытянул из кармана маузер, навел длинный ствол в самую яркую и самую большую звезду, процедил сквозь зубы:

— Ах, ты... ты, ты!

И вместе с последним «ты» нажал на спуск.

Выстрел распорол тишину и покатился над садами.

— Гук-а-а-а!

Голосов, не торопясь, выпустил весь магазин в звезды. Маузер работал исправно.

Мужики валили в темноте густо и уверенно. Места были хорошо известны, каждый кустик узнавался на ощупь.

Впереди всех, мягко и быстро переставляя руки, скакал в своем лукошке Лепендин. Когда зарыжели деревья, освещенные окнами дачи, он спросил, обернув голову к мужикам:

— В окно постучим иль в дверь?

— Там увидим.

К дому подошли тихо, стали в малиннике, против окон.

— Ну-ка, который подлиньше, смотри,— сказал Лепендин.

К оранжевому стеклу приблизилась черная круглая голова. Мужики ждали молча, не шевелясь.

— Один ходит поджарый. Очкастый сидит с барыней,— сказала голова.

— А председатель тут? — спросил тоненький голосок из кустов.

— Из товарищей тут двое. Да еще две барыни.

— Председатель — коротыга такой, долгогривый,— тута?

— Председатель должен быть тоже. Стучи,— сказал Лепендин.

На стекле показалась крючковатая рука, окно трижды тихо звенькнуло. Подождали.

— Не слышат,— проговорила голова и обернулась к кустам.

— Может, поутру прийти?

— Чего поутру, дело такое, стучи сильней! — крикнул Лепендин.

Рука снова поднялась к стеклу, окно зазвенькало тревожней, и тут же и рука и голова шарахнулись в темноту.

В комнате к окну подошел человек, сверкнул золотыми очками, распахнул раму, вгляделся в ночь.

— Семка, это ты? — спросил он.

Мужики молчали.

— Старцов? — снова спросил человек и, немного подождав, повернулся к темноте спиной.

— Семка, наверно, дурачится.

Тогда в кустах несмело закашляли.

Человек в очках бросился к подоконнику и прокричал:

— Кто здесь?

— Г-ха, к-ха... мы, товарищ, так что-о...

— Кто «мы»?

— Товарищи хрестьяне, стало быть, ручьевские, граждане вообще.

— В чем дело, товарищи?

Лепендин качнулся к свету и, звонко откашлявшись, заявил:

– Мы к товарищу председателю, желаем объявить товарищу председателю результацию схода.

— С вами, товарищи, говорит Покисен, председатель...

Его перебили из темноты:

— Эт-то мы зна-аем! Только желание наше говорить с председателем Голосовым.

— Голосова сейчас здесь нет, он ушел.

По кустам прокатился глухой смех.

— Это вы, товарищ, изволили сказать несправедливо. Они находятся совместно с вами. Как они сюда ехали, мы их хорошо видали.

— Вот чудаки! — воскликнул Покисен. — Что же, я вам врать, что ли, буду? Голосов вышел в сад. Где я вам его возьму?

— Воля ваша, конечно, однако...

— Сход принял решенье окончательное, чтобы...

— Что такое? — проговорил Покисен, высовываясь в окно. — Ни черта не видно. Много вас тут?

— Хва-атит! — довольно протянул кто-то в стороне.

К окну подошел Щепов, резко бросил в темноту:

— Да в чем же дело?

В кустах забурлило:

— Пускай скажет Федор...

— Федор!

— Объяви, чтобы без обиняка...

— Шпарь, как давеча...

— Товарищи! — прокричал Покисен раздельно, точно на митинге, и вытянулся, опершись пальцами на подоконник.— Товарищи, если вы хотите говорить с председателем исполкома, то приходите завтра утром. Он сейчас вышел. Мы пробудем здесь до завтрашнего вечера. Но вы можете заявить мне о решении схода, о котором говорите, я передам товарищу Голосову. Только сейчас дело ночное, темное, я даже не вижу, кто со мной говорит. Лучше приходите завтра.

— Дело те-емное, эт-то правильно! — опять протянул кто-то в стороне.

В кустах вновь забурлило.

— Федор, объясни ему, чтобы он не путался...

Откуда-то снизу, точно из-под земли, зазвенел размашистый голос:

— Как вы, товарищ, обратились к нам с речью, мы желаем довести до вас про положение, в котором состоит хрестьянство нашей местности. Очень известно, новый закон в корень отменил разверстку и всякие поборы с гражданов рабочего хрестьянского классу. Этот самый закон которые товарищи не знают, которые прячут и скрывают от гласности. Так что сход Саньшинской волости, бедняки и прочие хрестьяне постановили, чтобы потребовать от председателя Голосова оглашение закона и чтобы разверстку отменить в корень, а также продотряды убрать приказом. Между прочим...

— Стойте, товарищи, или кто там? — крикнул Покисен.— Дело, я вижу, у вас серьезное, сразу не разберешь. Я вам могу сказать одно. Закон о хлебной разверстке никем не отменен и в настоящий момент отменен быть не может. Советская рабоче-крестьянская власть...

Из темноты рухнул в окно многоголосый ропот, изрезанный острыми вскриками:

— Слы-ха-ли!

— На полозу подъехал!

— Ладно прятать председателя!

Покисен закричал изо всех сил:

— Вы с ума сошли? Вам говорят русским языком:

Голосов ушел. Какого черта мы будем болтать в темноте, когда...

— По-стой, по-сто-ой, товарищ! — провопил Лепендин. — Тута все в своем уме и в разуме. С миром надо говорить сурьезно, мир — тебе не сполком. Ты послушай, какое дело. Местность у нас не хлебная, занятие больше огородное, садовое тоже. Лиха в нашем хозяйстве хоть отбавляй, бедность, морковь одна да картошка. Хлеба мы сами не видим. А с нас требуют хлебом. Как быть теперь? Земля, выходит, вольная, хрестьянская, а между прочим хрестьянин...

Щепов отстранил Покисена, взялся за оконные рамы и крикнул:

— Давайте-ка, землячки, отложим разговор до завтра.

Ему навстречу рванулся гулкий галдеж. Он хотел захлопнуть окно, но с обеих сторон в рамы вцепились толстые, крепкие пальцы.

— Это что же? — прокричал он резким своим, точеным голосом. — Насилие?

Покисен сказал жене непонятное слово. Она отозвалась по-русски:

— Я заперла.

— А это как они желают, — заорал кто-то в темноте.

И сразу черные растворенные в ночи кусты шелохнулись, двинулись к окнам, и в мутном свете, падавшем в темень из окон, засветились десятки неподвижных глаз.

— Сход наказал востребовать новый закон, чтобы не прятали, и, значит, продотряды снять.

В задней комнате запищал маленький Отти, к нему бросилась жена Покисена. Клавдия Васильевна схватила Щепова за локоть и пробормотала:

— Алексей, мужики... они нас...

— Перестань! — обернулся Щепов и показал кивком на диван.

Покисен прислушивался к писку ребенка, лицо его каменело, он уставился в окно потупевшим взглядом, потом твердо шагнул вперед:

— Граждане крестьяне! Обращаюсь к вам последний раз. Предлагаю немедленно разойтись по домам, а завтра утром прийти сюда для обсуждения ваших вопросов с товарищем Голосовым.

Из-за галдежа, с новой силой рванувшегося в окно, вынырнул пронзительный голосок:

— Покеда не выдашь закона — не уйдем!

— Не уй-де-о-ом!

Щепов дернулся в темный угол комнаты, схватил прислоненный к стене кинематограф, поднес его к окну и принялся устанавливать аппарат объективом наружу, в сад.

— Молчи,— шепнул он Покисену.

Галдеж начал спадать. В темноте как будто засветилось больше глаз, все они застыли на руках Щепова, проворно бегавших по аппарату. Стало слышно отчетливо металлическое потрескивание колеса для ленты. Движения Щепова были сосредоточенны и ловки.

Из сада робко спросили:

— Эт-то что ты налаживаешь, товарищ?

Щепов помедлил с ответом.

— Это, землячки, беспроволочный телеграф. Слыхали? Вот-от. На всякий случай с городом снестись.

— На что тебе, товарищ, надобно?

— Как сказать...— мямлил Щепов.— Может понадобиться... Отрядик какой-нибудь вытребовать... или что...

Тишину вдруг взорвало смехом — раскатистым, звонким, и десятки глаз опустились к земле. Смеялся Лепендин, постукивая деревянными уключинами и хлопая ими мужиков по ляжкам:

— На-сме-шил, от насмеши-ил, товарищ! Да какой же это телеграф? Да у нас на фронте из этакой машины живых людей казали!

— Картины, выходит?

— Ну так и есть — картины. От чудак!

Кто-то засмеялся, кое-кто загудел:

— Запужать хотят...

— Обманом думают...

Потом голоса помрачнели, приглохли, и упрямая угроза поднялась к окну:

— Все одно не выпустим.

Маленький Отти, точно расслышав эту угрозу, вскрикнул и залился плачем. Покисен бросился к окну, сунул руку в карман.

— Рас-сх-ходис-сь, говорю, с-слы-шите?

Тогда в ответ резнуло криком:

— Петуха, что ль, пустить по дачке, а?

Клавдия Васильевна взвизгнула и зажала лицо руками.

— Алексей!

— Молчи!

— А-а-а, та-ак? Вы та-ак? — завопил Покисен, высовываясь в темноту.

И вдруг издалека донесся отрывистый удар, и стянутую заморозками ночь распорол гулкий стон:

— Гук-а-а-а!

И через секунду — еще:

— Гук-а-а-а!

И снова — три, четыре... еще, еще... точно откуда-то с тылу, из города, наступали стрелки.

Чуть освещенные кусты задергались, что-то черное метнулось в сторону от окна, потом все стало.

— Гук-а-а-а!

Покисен вслушался в утихавший плач маленького Отти, вытер лоб и сказал:

— Молодец, Сема, вовремя!

Он поправил очки, нацелился на Щепова, улыбнулся.

— Н-да... Революции у нас, пожалуй, еще нет. Ну, а контрреволюция, как здесь говорят, мал-мала́ имеется.

КОНЕЦ ЛЕПЕНДИНА

В город въехали глухой ночью — как переселенцы — с пожитками на телегах, с плачущим ребенком, усталые от тряски и темноты. Дачу бросили незапертой.

Голосов проводил семью Покисена, заехал на пожарный двор, сдал лошадь и пошел домо́й. В сенях, когда его впустила нянька, он, как всегда, спросил:

— Ничего нет?

— Телеграмма, что ль,— шамкнула старуха.

В большой комнате, заставленной купеческой мебелью, всегда горела лампочка, и свет от нее робко таял в углах, как от лампады.

Раскрывая телеграмму, Голосов скользнул глазами по адресу:

Вне очереди Семидол председателю исполкома копия председателю особотдела копия военкому.

Он поднес исписанный карандашом бланк к свету.

Непроверенным сведениям районе села Пичеур Семидольского уезда направлению Семидола движется банда бывших пленных германцев чехословаков которым примкнула кулаческая часть мордовского населения также вооруженные дезертиры точка бандой руководит герман-

ский офицер агитирующий за выход мордвы из советской федерации точка агитация может найти почву среди малосознательного элемента связи недовольством кулаков разверсткой точка предписываю первое получением сего образовать ревтройку второе немедленно выяснить на месте положение третье принять военно-революционные меры необходимые ликвидации банды четвертое впредь до распоряжения сообщать действия ревтройки телеграфно каждые два часа точка возможный мятеж должен быть корне подавлен силами Семидола под личной ответственностью членов ревтройки точка председатель губисполкома.

Голосов стоял неподвижно.

Комната притаилась, по старинке убранная прожившей в этом доме полжизни нянькой. Здесь все было чинно, и упорство, с которым держались цветочные горшки, чехлы на мебели, лепные амурчики на стенах, было необычайно даже для Семидола.

— Так! — проговорил Голосов и одернул рубашку.

Он бросил телеграмму на стол, потяжелевшей поступью прошел по темному коридору, нащупал в тупике узкую дверь каморки и спросил:

— Няня, вы спите?

— Чего вам?

— Сходите за метранпажем.

— Это чего еще?

— Ну, в типографию, за этим, как его?..

— Да знаю, как его! Чего это, на ночь-то глядя, приспичило?

— Сходите сейчас же.

— Нету на вас угомону, господи, твоя воля!

Голосов угрожающе промычал что-то неразборчивое и досадное, но за угрозой нянька расслышала знакомый, неловкий, чуть стыдливый смешок и примиренно спросила:

— Дверь-то за мной кто запрет?

— Ладно!

Голосов зажег настольную лампу, придвинул к себе нарезанную полосками бумагу, примостился к столу бочком — словно на минутку, — закурил папиросу и начал писать. На глаза его свисли кленовым листом прямые, слипшиеся пряди волос. Рука бегала по бумаге быстро, заползая в конце строчек кверху, точно стараясь нанизать

все строчки на верхний уголок полоски. Он грыз мундштук папиросы, выплевывал на стол мокрые бумажные ошметки, потом щелчками сшибал их со стола на пол.

Через четверть часа в комнату вошли Покисен и военком.

Голосов мельком взглянул на них, и рука его еще поспешней побежала в верхний уголок полоски.

— Получил? — спросил Покисен.

— Да. Я сейчас кончу.

— Что это?

— К крестьянам.

— Правильно,— сказал военком, отдуваясь. Он был грузен, широкоспин, красное лицо его было облеплено темными веснушками, как кулич — изюмом.

Голосов бросил карандаш, отодвинул исчерканные полоски бумаги, сказал:

— Готово. Все понятно, товарищи?

— Непонятно, каким путем губисполком узнал об этой истории раньше нас? Конфуз! — сказал военком.

— После того, что сегодня произошло на даче...— начал Покисен.

— Объявляю заседание ревтройки открытым,— перебил Голосов чужим тоном и потрогал верхнюю губу.— Товарища Покисена прошу секретарствовать. Предлагаю такой порядок: ответ губисполкому, организация разведки и вопрос о боеспособности гарнизона, вопрос об использовании содержащихся в лагере военнопленных, потом о партийной мобилизации, о воззваниях, потом обо всем, что выяснится во время решения этих вопросов. Принято?

— Насчет пленных это ты хорошо, только это назад. Сначала о партийцах,— заявил военком.

— Согласен. Принято? Первый вопрос. Предлагаю такой текст: ревтройка образована, о принятых мерах телеграфируем через час. Согласны?

— Я привел вестового, он там в сенях.

— Это к чему? — спросил Голосов.

— К тому, что ведь телеграмма по воздуху не полетит на почту-то, и вообще связь,— ответил военком и отдулся так, что на столе разлетелись бумажки.

Он вышел и возвратился с вестовым.

— Дальше,— сказал Голосов, передав красноармейцу телеграмму.— Предлагаю наметить план военных действий на ближайшие сутки и высказаться вообще о военных ресурсах Семидола.

Военком напыжился, густая краснота сравняла его веснушки в сплошное темное пятно, его сжала одышка, точно он взял одним духом девятиэтажную лестницу.

— Ресурсы известные, конечно, товарищи... Сводный полк... человек семьсот... гарнизонная рота... В полку можно набрать штыков полтораста... Однако... амуниция... и сапоги... этого нет... Да-а... И к тому же обученье только что началось...

— Конкретно, товарищ, что вы можете выставить сегодня в семь утра?

— Это ты мне?

— Ну да, тебе.

— Какого же черта выкаешь? В семь утра... В семь утра полурота из гарнизона... готова к маршу... к полудню отряд из сводного... Другая полурота несет службу по городу... Вообще, я предлагаю объявить... военное положение...

— Предложение военкома принято? Дальше...

Через час комната была закрыта, в коридоре раздавались сдавленные голоса, за окном лошадиные копыта выбивали пыльную перину улицы да где-то во дворе повизгивала блоком и хлопала расхлябанная калитка.

Нянька внесла начищенный самовар и расписные толстые чашки.

Члены ревтройки сидели на прежних местах за столом, голова к голове.

Военком ухал в одышке:

— У-ясните... товарищи... Парк... не подведомствен военкому! Парк... подчинен...

— Ерунда! — отмахивался Голосов.

— Ответственность перед центром,— задыхался военком.

— Не надо забывать другой ответственности. Ерунда! Раз целесообразно, значит, можно. Я настаиваю.

— Но тогда гарантии!

— Какие гарантии? У него ничего нет.

— Тогда заложников.

— Опять двадцать пять! Говорю тебе, что у Щепова нет никого и ничего. Что с него взять? Мы должны рискнуть.

— Рискнуть Щеповым... согласен... но... а...аппаратом... как мы можем рисковать а...аппаратом?

Покисен объявил твердо:

— Я в Щепове уверен.

— Ерунда! — крикнул Голосов.— Я не уверен ни в ком из спецов. Но у нас есть власть, и он не дурак.

Тогда военком спохватился и, весь содрогаясь в поимке воздуха, задышал:

— Позвольте... а-а эта... а...артистка-а, как ее... которая со Щеповым...

— Ну?

— Заложницей...

Покисен прыснул смехом:

— Тогда... тогда, если бы понадобились гарантии от Семена, надо было бы взять заложницей Риту — ха-ха! Риту Тверецкую.

Голосов вскочил, стул под ним с громом откатился в сторону, он уперся воспаленными глазами в Покисена.

— Брось шутки! Ее можно было бы взять, если бы понадобились гарантии от Андрея Старцова.

Он поднял стул, сел и упрямым холодным голосом отчеканил:

— Я принимаю предложение военкома. Щепов — спец. По отношению к нему это правильная мера. Товарищ Покисен, напишите ордер на немедленный арест Клавдии Васильевны. Военкому поручается установить время отправления Щепова и определить задание воздушной разведки.

И еще через час, когда уже не переставая визжала во дворе калитка и по коридору плавал неуемный говор, председатель германского совета солдатских депутатов в Семидоле Курт Ван сидел четвертым за столом в комнате бывшего купеческого дома.

Курта слушали терпеливо, подолгу ожидая, когда он подберет и выговорит русское слово. Зажмурившись, он переводил в уме с немецкого, и на лбу его надулась толстая жила.

— Я не держу... не считаю... рациональ... сделать разведку... с немецкий пленный... Для пленный я не могу... быть поручатель... я держу возможно... набирать компания доброволец... рота доброволец, если исполком будет давать оружья... После организовать еще сегодня... митинг в лагер... Но говорить митинг я не буду... Митинг будет говорить Андрей Старцов... это... рациональ...

— Ерунда! — воскликнул Голосов.— Старцов рохля.

— Что называется рохля?

— Ну — тряпка, размазня... Вообще, интеллигент.

Курт покачал головой.

— Вас неизвестно, что в лагер... настроение в лагер... я нахожу, должен говорить русский, не германец... Андрей Старцов.

— Вы уверены, что его выступление принесет нам пользу?

— Я друг Андрей Старцов. Я могу... быть поручатель для него...

Голосов протянул Курту руку:

— Итак, вы даете слово содействовать?

— Я большевик,— ответил Курт и поднялся.

Полурота гарнизона выступила из Семидола в семь с половиною утра. Ее проводил густой колокольный звон, потому что было воскресенье и Семидол — как при царе Горохе — начинал праздник молитвой.

В семь с половиной утра из ручьевских дворов, по обросшим лопухами дорожкам, меж плетней и частоколов пробирались к тракту расцвеченные бабы. Кое-кто выехал к обедне на лошадях, напихав в телегу ребятишек и молодух с грудными младенцами. По тракту закружились клубочки пыли, запестрели пятна сарафанов и рубах. Но на полпути к Саньшину, когда из-за голого холма показался бирюзовый куполок колокольни, ручьевские богомольцы замешкались. Навстречу им по тракту трусил отряд вооруженных верховых. Видно было, как за спинами всадников подпрыгивали винтовки. Телега, ехавшая впереди ручьевцев, останавливаясь, осторожно сползла с тракта на поле, потом решительно обернулась назад. Через две-три минуты все повозки катились обратно в Ручьи, тарахтя кузовами и поднимая столбы пыли. Мужики нахлестывали что было мочи своих кобылок. Только безответные и бесстрашные бабы реденькими расцвеченными кучками продолжали свой путь к бирюзовому куполку колокольни. Кто-то из перетрусивших мужиков — может быть, с первой наткнувшейся на отряд телеги — пустил с царских времен невспомянутое словцо:

— Каратели!

И оно завертелось в клубах пыли, обрастая беспокойством, смятением, страхом.

В Ручьях кому-то пришло в голову спросить:

— Это откуда в Саньшине взялись каратели?

Но страх не уступил:

— Что они, дураки, что ли, из Семидола-то ехать? Обошли.

— Обошли!

И пошло через плетни и частоколы:

— Обошли!

— Обошли!

— Каратели!

Старые Ручьи притаились. Ребятишек загнали в избы, ворота и ставни замкнули.

Конный отряд въехал в Ручьи шагом и остановился на тракте посередине деревни. Верховые были одеты по-разному — кто в чем, и напоминали сразу и мужиков и солдат, точь-в-точь как красноармейцы сводного полка, которых ручьевцы видывали в Семидоле. Спешившись, они собрались вокруг командира, похожего на офицера, но в невиданной сборной форме. Он долго что-то объяснял им, показывая рукою на дороги, уходившие с тракта в сады, потом они опять вскочили на лошадей, разбились попарно, и сады поглотили их своею пышной паветвью.

Командир тронул шагом по тракту на Семидол в сопровождении горстки солдат.

И вдруг где-то в самой гуще садов треснул выстрел.

Мгновенно ему отозвался другой, и по всей округе, застревая в зарослах, рассыпался отрывистый, торопливый винтовочный треск. Вспугнутые, неприученные к стрельбе лошади носили седоков без пути и дороги, подминая под себя изгороди и перескакивая через канавы. Не разобрать было, откуда шла пальба, и верховые отвечали на нее без толку, в воздух, в чащу торона и вишняка.

Собравшись на тракте, они дали несколько залпов по садам и растянувшейся бестолковой кавалькадой умчались назад в Саньшино.

Полурота семидольского гарнизона, не отвечая на залпы, отошла от Старых Ручьев по направлению к городу и заняла позицию на отлогих холмах, лицом к ручьевским садам.

Старые Ручьи замерли и лежали не дыша до тех пор, пока солнце не взобралось на полдень. Небо к этому времени стало прозрачно, осенний день отстаивался после крепкого утренника. И тогда в тишину и ясность полдня ворвалось дикое топанье копыт, и по деревне, от избы к избе, по садам, от ворот к воротам, по путаным дорожкам и тропам пронеслась смертельная тревога.

Какие-то перепуганные мужики подбегали к затаившимся избам, колотили кулаками в ворота и ставни, вы-

крикивали сполошные слова, бежали дальше. В избах подымался истошный бабий вой, ребятишки подхватывали его подголосками, на дворах то появлялись, то пропадали суетливые, шустрые девки. В одиночку, пригнувшись к земле, держась плетней и кустов, пробирались деревней мужики.

Сход собрался за Ручьями, на облысевшем пространстве, где от заброшенных садов торчали одинокие деревья дичка да иссушенный с железными шипами крыжовник полз злыми плетьми по низинкам.

На возвышенности, в стороне от Саньшинского проселка, застланного подорожником, спешилась кучка людей, одетых в смурые мордовские чапаны. Посреди кучки на упавшей яблоне сидел человек в мордовском праздничном наряде — лицом непохожий на мордвина, светлоглазый, выбритый. Рядом с ним маячила серая выгоревшая куртка солдата. Оседланных лошадей держали под уздцы поодаль.

Сход ручьевских мужиков окружили и затянули в кольцо верховые солдаты, невдалеке от возвышенности, на которой расположился наряженный мордвином человек. Верховыми командовал офицер в невиданной форме.

— Кто будет говорить от схода? — рявкнул усатый солдат, подбоченясь и шевеля кривой саблей.

— Выходи вперед, живо!

Из толпы мужиков, тесно сбившейся в кучу, вылез неуверенно низкорослый бородач с зарытыми в бровях глазками. Солдат надвинулся на него.

— Сопро-тив-ляться-а-а?!

Бородач переступил с ноги на ногу и замигал глазками.

— Сопро-тив-ляться-а-а?!

Солдат приподнял саблю, цепочка портупеи угрожающе звякнула по железным ножнам.

— С боль-ше-ви-ка-ами?!

Бородач качнулся к солдату и тоненьким голоском обрадованно подхватил:

— Завсегда, товарищ, с большевиками, беспременно, это у нас...

— А-а, беспременно?

— Беспременно, товарищ, как один человек — вся деревня, стало, с большевиками...

Тогда солдат, подняв саблю и потрясая ею над головою бородача, завопил:

— Выдавай зачинщика! Кто зачинщик? Ты зачинщик? Говори — ты?

— Товарищ дорогой, дай слово сказать, как у нас это самое дело...

— А-а, то-ва-рищ?!

С проселка, вертко выбрасывая вперед туловище на быстрых прочных руках, катился к сходу Лепендин. Он пронырнул между ног лошадей, обступивших мужиков, и подскочил к бородачу.

Усатый солдат, побагровев и вытянув шею, наступал на толпу.

— Скрывать зачинщика? Сопротивляться?

Вдруг мужики заволновались, закашляли, несколько рук мотнулось к солдату, кое-кто снял и опять нахлобучил картуз.

— Что мнетесь? Онемели? — крикнул солдат.

Тогда сразу из десятка глоток вывалилось на солдата неуклюжее слово:

— Лепендин...

— Лепендин все...

— Федор, он объяснит, стало, как...

— Лепендин...

Солдат притих и спросил:

— Который?

Головы и руки показали на Лепендина. Его вытаращенные глаза испуганно перескочили с солдата на толпу. Мужики не глядели на него, и лица их почудились ему одинаковыми, как струганые доски.

У солдата отвалилась и повисла нижняя челюсть, он остолбенело смотрел на торчавший из земли человеческий обрубок.

На щеках Лепендина сквозь загар выступили зеленовато-желтые пятна, лицо порябело, и голова еще больше, чем всегда, стала похожей на дыню.

— Эх! — крякнул он, еще раз растерянно оглянув мужиков.

Потом тряхнул головой и обернулся к солдату:

— От, товарищ, какое дело. Как нам, изволите сами видеть...

Но солдат от первого его слова пришел в себя.

Он ткнул Лепендина ногою в грудь, и тот опрокинулся на землю, как круглодонная бадейка.

— Погоди, — произнес молчавший до того офицер в невиданной форме. Он повернул лошадь и поскакал к

возвышенности, где на упавшей яблоне сидел человек, наряженный мордвином. Человек встал ему навстречу, подошел к лошади, постоял около стремени и вернулся к поваленному дереву. Офицер прискакал к сходу.

— Веди! — сказал он усатому солдату.

Лепендин все еще лежал опрокинутой бадейкой. Солдат двинулся к нему и ударил его саблей. Он перевалился со спины на живот, согнул в локтях руки, упрочил в земле свои уключинки, приподнялся и сел.

— Ползи, мразь! — крикнул солдат.

Лепендин наклонился и переставил руки. Но прежде чем пересесть на шаг вперед, он еще раз обернулся к мужикам, и опять лица их показались ему стругаными досками.

— Пошел!

На возвышенности Лепендин сидел против светлоглазого выбритого человека, наряженного мордвином. Он видел, как непокойно шевелился чуть приоткрытый рот человека, слышал его гладкий голос, но ни его слов, ни слов других каких-то людей в смурых чапанах, которые кричали на него и требовали ответов, он не разбирал. Он только улыбался виновато и переминал по земле уключинками, стараясь поудобней сесть.

Солдат в серой выгоревшей куртке и тот, усатый, который подгонял Лепендина, пока он взбирался на пригорок, быстро ушли в сторону. На Лепендина все еще кричали, и гомон говоров был по-прежнему неразборчив и смутен, и Лепендин продолжал готовно и виновато улыбаться, когда солдаты возвратились. Люди в чапанах дали им дорогу, и Лепендин рассмотрел позади людей на одинокой корявой яблоне свисавшую с сука веревку. Наряженный мордвином человек стремительно поднялся с поваленного дерева, поднял руку вровень с своим плечом, вытянутым пальцем показал на яблоню и выкрикнул цепкое слово.

Тогда Лепендин качнулся и завопил:

— Братушки-и! Ведь это — не-емцы! Братуш-ки!

Он упал на бок и покатился под гору, к мужикам. Но его задержали ногами и, схватив за руки, поволокли к яблоне.

Тогда он начал бить своими уключинками по рукам и коленям людей, которые его тащили. Уключины вышибли у него ножнами. Он стал кусаться и — в отчаянье — визжать. Но люди волокли его без остановок, с

силой отдирая от крыжовника, когда железные шипы впивались в его одежду и в его тело.

— Бра-туш-ки-и!

Лукошко, которое служило Лепендину прочным, удобным башмаком, отодралось от его коротких культей и тащилось на ремне, следом за туловищем, оставляя на кустах тряпичную требуху.

— Братуш-ки-и!

Лепендина приволокли к яблоне, веревку передвинули поближе к стволу, чтобы сук не отломился от тяжести, и с минуту не видно было, что делали люди, нагнувшиеся под суком.

— Бра-туш...

Потом под их головами заколыхался несуразный обрубок, и длинные руки, приткнутые к нему, дернувшись раз-другой в стороны, вдруг выпрямились вдоль туловища и сжались в кулаки, как будто Лепендин в последний раз захотел упереться руками в землю.

Человек, наряженный мордвином, медленно погрозил пальцем сначала на повешенного, потом на сход, неслышно стоявший под пригорком в кольце конного отряда.

Тогда в толпе мужиков чуть слышно кто-то вздохнул:

— Пронеси, господи... А Федор все одно калечный...

— Эх, паря! Какая у нас сила ягоды! Вишняка у нас — прямо туча! Сливы там, торона — свиньи не жрут! А на грядках, на грядках, паря, красно все от земляниги, а землянига — вот, в кулак! Вихтория там всякая, скороспелка — и-и-и-и! А яблок этих самых — всю зиму лопаем,— и мочим, и солим, и сушим, никак не справиться, до чего много! Базар у нас...

Да, да, Лепендин. Всего этого в Старых Ручьях до сих пор вволю...

Самое страшное — остановиться на каком-нибудь лице, увидеть чужие глаза. Самое страшное — вдруг почувствовать, что толпа состоит из множества непохожих друг на друга людей и что каждый человек — непримиримый враг чужой мысли и ненавистник чужого слова. Тогда — позор.

Смотреть надо поверх голов, слушать — только свои слова и не любоваться ими, а кидать их с ожесточением, чтоб они не мешали мысли. Тогда — победа.

Вот как сейчас, наедине, в закрытой комнате,— победа! Андрей отыскал все слова, какие нужно, чтобы измученных солдат побудить снова взяться за ружье. Андрей построил речь. Он изучил ее. Она взвесил силу каждой паузы. Он знает, где и как поднимет руку, где остановится и где даст волю неудержным словам. Андрей готов.

Но в лагерном тесовом бараке — не толпа, а множество людей. У каждого свои глаза, и над глазами хмуро нависают полинялые, простреленные бескозырки. Глаза подозрительны, глаза усталы и пусты. Что притаилось за этой пустотой? Холодный мрак блиндажей и сладковатый угар госпиталей, вывороченные из разрыхленного мяса белые кости, капающая с колючек проволоки кровь и затхлая, стоячая сырость окопов. Чем изумишь такие глаза? Они видели все, они знают все, им ничего не надо, им пусто, им бесконечно пусто в этом мире. Мир блиндажей, окопов и госпиталей не придумал еще слов, которые заполнили бы пустоту таких глаз, и ничто в этом мире не снимет неподвижности с обветренных кровавым ветром лиц.

Вот они скучились в низком тесовом бараке — затверделые, отточенные на станке войны лица. Сотни разнокалиберных трубок воткнуты в их зажатые рты, и желтоватые, сизые, синие струйки, отрываясь от лиц, утолщают дымовую завесу над бескозырками. Завеса сбита из запаха тлеющего вишневого листа, и кажется, что где-то поблизости палят сады.

Пленные попыхивают своими трубками и лениво расступаются перед Андреем. Он торопится дойти до скамьи, с которой Курт объявил бараку, что будет говорить русский.

Будет говорить русский? Не все ли равно? Пусть. Наверное, будет болтать о революции и о братстве народов. Черта с два, братство! Не могут вывести тифозных вшей, и вот уже полгода, как каждый день обещают отправить на родину. Впрочем, пусть. Можно послушать. Иногда русские несут такой вздор, что смешно. А смеяться доводится редко, это надо ценить. Пусть.

Слова эти на уме у кривого солдата, стоящего как раз против Андрея. Он бронзоволиц, и тяжелое веко его здорового глаза то медленно опускается, то поспешно взлетает наверх, точно он хочет подмигнуть и всякий раз раздумывает.

Только бы не забыть начала речи, Андрей! Только бы

не увидеть чужого глаза, который вот-вот подмигнет, чтобы напомнить, что за его пустотой — блиндажи и госпитали, окопы и проволока. А что за трепетным испугом в глазах Андрея? Он будет призывать к войне? А видел ли он хоть один блиндаж? Валялся ли с разорванной коленкой на койке госпиталя? Хоть одну ночь проспал ли он в окопе? Может быть, он резал ножницами загражденья, когда их поливали свинцом? Он будет призывать к войне?

И вот в притихшем бараке, под дымовой завесой, пахнущей жженым листом, несется ободряющий голос:

— Тише, вы, бедные дьяволы! Не слышно, что там говорит этот русский...

Кажется, солдаты рассмеялись? Что это? Кто-то теребит Андрея за ногу. Разве он давно взобрался на скамью? Как начиналась хорошо заученная речь? Бронзоволицый солдат как будто подмигнул своим пустым глазом? Что это он жует? Галету или печенье? Австрийское печенье.

— Австрийское печенье,— тихо говорит Андрей.

— Лакомая штука! — отзывается какой-то солдат.

И снова смех. Смеяться доводится редко, это надо ценить.

— Австрийское печенье,— громче произносит Андрей.

Курт что-то говорит быстро и сдавленно. Андрей нацеживает полную грудь дыма: завеса стелется вровень с его головой; стоя на скамье, он подпирает ее, как вершина горы — облака.

— Недавно, товарищи, вам роздали посылки, накопившиеся в совете, потому что нельзя было разыскать пленных, которым они были присланы. Больше всего таких посылок пришло из Австрии. Я вспомнил сейчас об этом, потому что тут один товарищ жует австрийское печенье. Австрийцы — большие мастера делать печенья.

— Положим, у нас, в Саксонии...— заметил какой-то солдат.

— Заткни рот, кофейная гуща! — посоветовал ему другой.

— Я вспомнил историю одного австрийского печенья и хочу рассказать ее вам. В здешнем совете работало несколько пленных. Во время отдыха они сварили себе кофе. Им была выдана со склада посылка, адресованная какому-то Шмидту. Они разделили ее между собой. И вот одному пленному попало такое жесткое печенье, что он чуть не сломал себе зубы. Печенье раскрошилось, а перекусить его солдат не мог. Тогда он размочил его в кофе,

и в тесте обнаружился запеченный кружочек из двух жестянок, вроде медальона. Солдат раскрыл медальон ножом и нашел в нем письмо. Я сохранил это письмо. Вот оно, как было, в жестяном медальоне, который немного заржавел. Я прочту вам письмо. Вот.

Милый Густав!

Уже шесть месяцев от тебя нет никаких известий, и Лизбет говорит, что может случиться, что тебя уже нет больше в живых. Но я не хочу этому верить. Густав, ведь без тебя мне нечем будет жить. На прошлой неделе вернулся из плена Генрих Менерт, у него отрезали по плечо руку, и он рассказывал, что в Сибири вовсе не так страшно, что летом даже очень жарко и что хлеба в России все еще много. Он говорит, что хорошо, что ты попал в Россию, так как плен сохранит тебя для нас, а на фронте дело кончилось бы хуже. Я толькс молю бога, чтобы скорее кончилась война, потому что стало тяжело. Милый Густав. Я все думаю, какой ты найдешь нашу деревеньку, когда вернешься. У мельника Томаса старший сын убит, а младший Пауль пришел с фронта слепым, он перестал работать, так что мы ездим молоть в Люкендорф. Слава богу, это приходится делать теперь очень редко, а то наш Серый перед пасхой пал, и теперь из-за каждого пустяка надо нанимать лошадь. Этой весной мы не сеяли из-за Серого и еще потому, что отец не вставал с постели. Сегодня духов день, а вчера, на троицу, во время мессы, сошла с ума тетушка Анна. Перед этим ее портрет напечатали в нашей газете — по случаю того, что ее шестого сына Ганса так же убили на фронте, как пятерых, а у ней всего и было, что шестеро, о чем я тебе два раза писала, не знаю, получил ли. Она помешалась, как раз когда патер говорил, что тетушка Анна отдала на алтарь отечества все, что ей дал господь, и вся деревня плакала. Прости меня, милый Густав, я тоже плакала о тебе и о твоем душевно любимом брате Августе, про которого я писала тебе, что он ранен в грудь, и об отце, что он так и не дождался твоего возвращенья. Лизбет говорит...

Но в этом месте чтения сквозь немоту барака прорвался к Андрею дребезжащий голос:

— Значит, отца похоронили?

Андрей замолк.

— Может быть, Август тоже умер? — резче и выше задребезжал голос.

Какая-то рука с вывернутыми длинными пальцами тянулась над головами пленных к Андрею.

— Дайте сюда письмо! Ведь это пишет Эльза!

— Это пишет Эльза, — сказал Андрей. — Вот здесь подписано: Эльза.

Трубочные дымки гуще и торопливей заструились от бескозырок к завесе под крышей. Пленные навалились на скамью, вдруг сросшись в безликую выжидающую толпу.

И тогда что-то холодное полыхнуло Андрею в спину — от затылка до пят, — и он вспомнил заученную свою речь, вспомнил по-новому, такой, какой она ему никогда не приходила на ум. И, не видя лиц, ни пустоты за несчетными глазами, ни дымовой завесы, ни барака, а только окунаясь в полыхавший откуда-то необъяснимый холод, Андрей с ожесточенной злобой к словам, которые мешали мысли, кричал поверх голов в простреленных безкозырках, кричал о том, что надо сделать, чтобы потерянные письма не искали тщетно потерянных по свету Шмидтов...

Потом Андрей и Курт в бесшумных сумерках стояли на дворе барака, ожидая ответа пленных. И когда совсем стемнело, дверь барака раскрылась. К Андрею подошел солдат и пыхнул на него табаком из вишневого листа. Трубка осветила его бронзоволицую одноглазую голову. Он коротко сказал:

— Можете передать своему совету: пленные решили поддержать большевиков.

ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ

Самовар не сходил со стола. Трубу воткнули длинным коленом в камин, корзинка углей стояла рядом с посудой, клейкой и захватанной грязными пальцами. Чай заваривали попеременно в двух трактирных чайниках и пили густой, черный, как йод. Кончалась вторая ночь без сна и отдыха.

У Голосова набухли веки, зрачки по-кошачьи расширились, но поблекли, и взгляд был непослушен и вял. Он держал голову руками, уткнув локти в стол, и мутно уставился в глаза Покисена.

— Пойду я! — хрипло сказал он.

Покисен был бледен, синие жилки на его висках бились тревожно, он через силу говорил спокойно:

— На твоей шее город и уезд. Военком ничего в этих делах не смыслит. На тебе газета, на тебе все. Пойду я.

— Нет, я.

— Я знаю, что ты осел. В обычное время — это хорошее качество. Теперь нужен расчет. Пойду я.

— Это мы увидим.

— Увидим!

— Иду я.

— Нет, я.

Мутный взор близится к золотым очкам с жирными стеклами. Сквозь жирные стекла холодят белые глаза. Лица сближаются медленно и непоколебимо, лица упрямы и мрачны, лица тверды, как камни.

— Я!

— Нет, я.

— Чего вы... словно бараны? — просопел военком, ввалившись в комнату.

Он по-прежнему отдувался, пыхтел и лоснился от пота, говорил, задыхаясь и ловя подолгу ртом воздух. Он устал раз навсегда в жизни, и никакая новая усталость, ни работа, ни бессонные ночи не могли изменить его вида.

— Через час отряд будет готов к маршруту,— сказал он, нацеживая чаю.— Рота сводного ожидает его у Старых Ручьев. Задание — к десяти утра овладеть Саньшином.

Он отхлебнул чаю и обернулся.

Голосов и Покисен не двигались. Налитые кровью лбы их почти соприкасались друг с другом, губы беззвучно дергались, в выпяченных глазах стыло желтое пятно лампы.

— Ф-фу, ч-черрт! Что с вами? — пропыхтел военком.

Тогда Голосов и Покисен бросились к нему и наперебой завопили:

— Втолкуй ему, пожалуйста, что мое присутствие в городе совсем не нужно!

— Вздор, ерунда! В такое время бросить особый отдел...

— Подожди!

— Если бы речь шла...

— Постой! Я говорю, что...

Военком замахал руками.

— Довольно! Понял, понял!

Он отошел в сторону, сел в кресло и вытянул из кармана папиросницу.

— Прежде чем заняться вашими препирательствами,— сказал он, сопя и продувая папироску,— я, товарищи, должен передать вам одно постановление. По моему докладу комитет назначил комиссаром отряда товарища Покисена...

Голосов отскочил к окну и стал к военкому спиной. Покисен поправил очки.

— Ты говоришь, отряд выступает через час?

— Черт с вами! — гаркнул Голосов и рванулся к выходу.— Я буду в типографии.

Вбивая каблуки в звонкий пол, он с размаху ударил по дверной ручке и распахнул дверь. Потом остановился на секунду, круто повернул назад и подошел к Покисену.

— Счастливо, Покисен,— сказал он.

— До свиданья, Сема.

Они дважды коротко тряхнули друг другу руки, и Голосов вылетел из комнаты.

В сенях от наткнулся на няньку. Она шла со свечой, и непокойный свет трепыхал по ее темным морщинистым щекам. Она придержала Голосова за рукав и старческим шепотком спросила:

— Самовар-то кипит?

— А что?

— Я, мол, ты скоро вернешься, подогреть иль не надо?

— Ладно! — отмахнулся Голосов.

Нянька торопливо дернулась к нему и, как старая заговорщица, посвященная во все тайны, строго спросила:

— Справитесь, что ль?

Тогда на лице Голосова тепло колыхнулась улыбка, и он прикрыл ее ладонькой — обычным своим стыдливым движением.

— Обойдется, няня,— проговорил он и выбежал во двор.

На рассвете в чадной от ламп типографии товарищ Голосов дочитывал гранки воззвания ревтройки «к рабочим, крестьянам и всем честным гражданам Семидола».

Свисавшие со лба волосы все чаще и чаще падали на

бумагу. Карандаш дрожал на искривленных строчках жирного, пахнувшего керосином оттиска. Последние слова воззвания были набраны так:

Да здравствует победа рабочих
и крестьян во всем пире!

Голосов нацелился затупленным карандашом на букву «п», но длинные прямые космы закрыли вдруг смешавшиеся строки, и голова упала на руку. Голосов что-то пробормотал и повис на столе.

Метранпаж осторожно вытянул оттиск из-под неподвижной косматой головы председателя исполкома.

На третий день сполоха, в понедельник, в дождливые сумерки, вернулись в Семидол военный летчик Щепов с наблюдателем. Они пришли пешком, мокрые, оборванные.

— Где «ньюпор»? — выдавил из себя военком, едва они показались в редакции.

Щепов упал на стул, начал расшнуровывать сапог.

— Я говорил, что нельзя предпринимать разведку без второго пробного полета. Эта старая калоша...

— «Ньюпор», «ньюпор»! — задыхался военком. — Вы сожгли его?

— Не подумал.

— Вы спятили с ума, черт вас...

— Примите донесение.

— Да говорите, черт...

Тогда наблюдатель, поправив грязную перевязку на правой руке, левой вынул из-за пазухи зарисовку местности и положил ее на стол. Военком, пыхтя и отдуваясь, наклонился над смятой бумажкой.

Разведка устанавливала сосредоточение противника в районе села Саньшина, в местности, свободной от леса. Силы противника состояли из небольших пеших отрядов, численность которых не превышала трех-четырех рот. Аванпосты в виде прерывистой цепи стрелков были выдвинуты по тракту к ручьевским садам. Расположения частей в районе Старых Ручьев разведка установить не могла. По предположению наблюдателя, сады были свободны от противника, так как Саньшино лежало на командующей местностью высоте. Непосредственно за нею было установлено нахождение обоза противника. Связи с дальним тылом у неприятеля не было, и на протяжении

пятнадцати — двадцати верст, на тракте за Саньшином и по примыкающим к нему проселкам, не было замечено никаких передвижений. Противник не располагал артиллерией, и весь обоз его состоял из провиантских повозок. Фланги противника не прикрыты. Условия освещения при полете были благоприятны, наблюдение совершено с высоты четырехсот метров и относится к воскресенью, к двум часам дня.

— То есть не имеет теперь для нас никакой цены, — сказал Голосов.

Военком запыхтел:

— Вы, товарищ, строите тут всякие предположения насчет Ручьев. Это не ваше дело. В остальном донесение не противоречит данным, полученным другими путями. Ну, а дальше?

— Вам доложит летчик.

— Это все? — воскликнул Голосов.

— Ну, не совсем, — сказал Щепов, расстегивая кожаный пояс и куртку.

Он вытащил из-под рубахи согнутые вчетверо листы бумаги, бросил их на стол, но тут же прихлопнул ладонью.

— Стоп, товарищи, минутку терпения. Обследовав расположение противника, наблюдатель дал мне знак взять высоту восемьсот ветров и держать направление по тракту. На двадцатом примерно километре мотор дал взрыв. Я закрыл бензин и стал планировать. Через минуту я попробовал открыть бензин и включил контакт. Четыре взрыва, один за другим. Я закрыл бензин и стал спускаться, взяв вправо от тракта. Я спланировал на поляне, закрытой от дороги молодым дубняком. Я провернул мотор в обратную сторону, проверяя компрессию. В двух цилиндрах ни к черту не годились впускные клапаны. Дело в том, что пробный полет установил как раз...

Голосов, закрыв лицо руками, хохотал. Он дергался от смеха, точно от приступов нестерпимой боли, и его слипшиеся, как лапша, космы тряслись и хлопали по рукам.

Щепов выпрямился и крикнул:

— Какого черта, Семка? Я говорю о деле...

— О деле... хо-хо... о деле, в котором, кроме тебя, на сто верст кругом никто не смыслит! В аварии должна быть ясность? А? Хо-хо!

— А «ньюпор», что с «ньюпором»? — опять заволновался военком.

— Я не могу при таком отношении, товарищ...

— Да не сердитесь вы, Щепов, — словно изнемогая, вздохнул военком.

Щепов забормотал:

— Издевательство! Черт знает что придумал с Клавдией Васильевной, теперь...

— Хо-хо! Чудак! Говори просто!

— Словом... ну, словом, не мог же я, на самом деле, высосать из пальца запасные клапаны! Я вынул из мотора... ну, черт, такую часть, без которой он вообще не мотор... Словом, мы оставили аппарат на месте приземленья.

— Чтобы его спалил противник?

— Он может его и не спалить, потому что никакого противника там нет. А если бы спалили его мы, то у нас...

— Дальше, дальше!

— Мы пошли обходом, лесом, в Лебежайку. Банда заночевала там с субботы на воскресенье, реквизировала лошадей и направилась к Саньшину. Мужики попрятались по избам. Волостной исполком заперт, и на дверях бумажка за подписью... Вот она, смотрите.

Щепов развернул лист бумаги.

Воззвание было написано от руки, плохими, вероятно самодельными, чернилами, печатными буквами.

> Русские крестьяне!
>
> Мордовский народ, изнывавший веками под гнетом царских сатрапов, восстал за свою независимость и свободу. Российская революция, провозгласившая право самоопределения угнетенных народов, оказалась на деле ловушкой для доверчивого простого люда. И после революции, как до нее, чиновники при помощи солдат держат в рабском подчинении все инородческие племена.
>
> У мордвы отнимают хлеб, силой набирают рекрутов, реквизируют скот, не считаясь ни с волею народа, ни с бедственным положением, в котором находятся мордовские села.
>
> Русские крестьяне! Вы все знаете, какой мирный и трудолюбивый сосед — мордовский народ. Он безропотно переносил все надругательства царских

ставленников, сознавая, что великое русское крестьянство терпит царский гнет вместе с ним. Но терпение мордовского народа иссякло. Он понял, что если он не вырвет своей свободы из рук угнетателей силой, то судьба его будет ужасна. И он восстал.

Мордовский народ видит, что великое русское крестьянство обмануто революционерами так же, как все народы, ходившие под скипетром русского кровавого царя. Мордовский народ с радостью помог бы своим братьям — великому русскому крестьянству, но он слаб и сам нуждается в помощи. Он призывает русских крестьян к совместному братскому восстанию против угнетения и верит, что общими усилиями нетрудно сбросить большевистское иго с плеч землепашца и труженика.

Мордовский народ борется за право свободно распоряжаться своей судьбой. Он не вмешивается в дела великого русского народа, но силой оружия требует, чтобы большевистская власть признала его право на землю, веру, независимость и равенство со всеми другими свободными народами. Освобождению мордовского народа содействуют бескорыстные друзья, которые образовали мордовское ополчение для борьбы с большевиками.

Русские крестьяне! Помогая мордовскому ополчению, вы помогаете сами себе, потому что оно борется с вашими угнетателями.

Мордовский народ призывает всех под свое знамя, которое несет мир для его друзей и смерть его врагам.

Друг мордовской свободы, командующий ополчением

маркграф фон цур Мюлен-Шенау.

— Бестия! — просопел военком, обмахиваясь, как в жару, газетой.

Голосов затеребил космы, потом сощурился, съежился, точно изготовясь к прыжку.

— Эта бумажка дороже всякой разведки. Теперь у нас есть прицел.

— Из Лебежайки мы направились...— хотел продолжать Щепов, но Голосов не дал ему говорить.

— Ерунда! Все ясно. Остальное — приключения военного летчика в гражданскую войну. Ты расскажешь нам о них когда-нибудь за грибками и маринадом...

Он прикрыл ладонькой улыбку, метнул глазом на Щепова и неожиданно с заботливой серьезностью спросил:

— Ты здоров? Почему ты дрожишь?

Щепов был бледен, и на остекленевшем левом глазу его странно дрожало верхнее веко.

— Я продрог,— сказал он.— Я хотел поговорить с тобой насчет...

— Знаю! — оборвал Голосов.

Он схватил со стола клочок бумаги и начертил карандашом несколько слов.

— Насчет этого? — спросил он, передавая бумажку Щепову.

Щепов взглянул на нее, аккуратно сложил и спрятал в карман.

— Да. Согласись, что это было глупо.

— Ерунда! Пойдем, я дам вам согреться,— сказал Голосов.

На его губах дернулась было улыбка, он смял ее упрямой гримасой, схватил Щепова и наблюдателя за рукава, потащил их к двери.

Едва они подошли к ней, как она раскрылась. Забрызганный грязью вестовой шагнул им навстречу.

— В чем дело, товарищ? — спросил Голосов, точно обрушиваясь с каланчи.

— Комиссар сводной роты товарищ Покисен... в атаке... в наступлении на Саньшино...

— Ну!

— Товарищ Покисен убит.

Щепов почувствовал, как на рукаве, за который тащил его Голосов, повисла тупая тяжесть.

Этим часом жена товарища Покисена сидела у коляски, над застегнутым в конверт маленьким Отти.

Отти долго не спал и глядел на мать огромными молочными глазами.

Может быть, он понимал, что она пела?

Ее лицо было каменно, застыло, челюсти и скулы плоски, и только длинный рот извивался, показывая прочные желтые зубы.

— Маленький Отти! Ты еще не знаешь, какие пляски водят девушки на берегу Хэпо-Ярви. И ты не засыпал еще под их песни, и они не приносили еще тебе сосновых шишек, и ты еще совсем, совсем крошечный Отти.

Крошечный Отти! Ты так и не увидишь девушек с

озера Хэпо-Ярви. И они не споют над тобою песен и не принесут тебе сосновых шишек, и ты не покачаешься с ними на качелях, когда будешь большим, большим Отто.

Крошечный Отти! Ты еще не знаешь, что твой отец — большевик, и что большевикам лучше не иметь жен и не иметь детей, потому что их Хэпо-Ярви далеко, и — кто знает — увидят ли его жены, дойдут ли до него дети.

Крошечный Отти! Ты еще не знаешь, что твоя мать несчастна потому, что отец твой — на войне, и потому, что войне не видно конца и никто не знает, придет ли назад твой отец.

Но, крошечный Отти, если не придет твой отец с войны, и если погибнет твоя мать от горя и нужды, и никто больше не споет тебе про Хэпо-Ярви, обещай мне из колыбели, обещай, крошечный Отти, отомстить за отца и за мать.

Потому что они любили тебя, крошечный Отти, потому что любили свое Хэпо-Ярви.

Обещай отомстить.

Она кончила петь и опустила каменное лицо в коляску, ожидая ответа.

Маленький Отти закрыл глаза. Маленький Отти спал.

Из подвала, в котором сидела героиня семидольского театра, было два пути. Один вел на семидольские улицы, в семидольские флигельки, к самоварам, киотам и складням, и Семидол казался из подвала бесконечным простором, и лачуги с божницами — обетованным пристанищем.

Другой путь лежал огородом, и дальше — через лозняк на болоте, мимо маслобойки, и дальше — по распыленным жмыхам, пустырем, в овраг, — и к оврагу ступало больше человеческих ног, чем возвращалось назад.

Этим часом Клавдии Васильевне передали кошелку с хлебом, маслом, яблоками, с куском вареной свинины, с десятком слив. Гостинец собирали актрисы, и они не позабыли сунуть в кошелку пачку папирос и коробок спичек.

Два глаза — блестящих и шустрых — зажглись в темноте подвала, и кошелка скрипнула на нарах, около колен Клавдии Васильевны.

— С передачей вас, гражданка. Угостите папиросочкой.

Она нащупала спички, чиркнула. На коробке засветился зеленоватый след, синенький огонек зашипел и завертелся на спичке.

— Вон папироски-то, сверху,— показал шустроглазый.

Огонек пожелтел, вырос, осветил коричневое узенькое лицо, потом быстро потух.

— Спасибочка.

Закрывая за собой дверь, шустроглазый успокоительно протянул:

— Ничего, гражданка артисточка, недолго осталось...

Недолго?

А потом?

Неужели коленки начнут дрожать, как на сцене, когда с двух репетиций ведешь новую роль, и неужели не хватит сил улыбнуться в темноту, как со сцены, чтобы смотрели на лицо, а не на коленки? Впрочем, Клавдия Васильевна не будет освещена рампой, и никто не заметит, как неровны ее шаги. Ночь будет черной, и она пойдет огородом, и дальше — через лозняк на болоте, мимо маслобойки, и дальше — по распыленным жмыхам, пустырем. Из оврага поползет под ноги холод, и Клавдия Васильевна будет дрожать на краю оврага, как сейчас в подвале, сильнее, чем сейчас.

Нет, нет!

Неужели недолго?

Недолго до минуты, когда раскроют дверь, и еще одну дверь, и еще, и — мимо постового с винтовкой — выпустят на семидольские улицы, в кривую, вольную череду флигельков и лачуг. Клавдия Васильевна бросится, куда подует ветер — может быть, к себе — в низенькую комнатушку с киотом, может быть, в театр — к артисткам, которые не позабыли прислать папирос и спичек, может быть, к Щепову. Щепов встретит ее своей усталой улыбкой, и в глазах его мелькнет грусть. Он будет посмеиваться над тем, как дрожала Клавдия Васильевна от подвальной сырости и от мысли, что будет мишенью стоять на краю оврага. Он заговорит в десятый раз о том, что с революцией люди перестали жить обычной жизнью, что они каждую минуту готовятся к смерти и что единственное требование революции — в этой постоянной готовности умереть ради победы. Что нечего задумываться над судьбами революции, а нужно только не бояться умереть, потому что на место умерших придут живые, ради которых революция побеждает. Он будет говорить об этом, устало улыбаясь, и в глазах его будет грусть, и когда Клавдия Васильевна позовет молящим голосом: «Ще-

пов!» — он похлопает ее по спине, как собачонку, и останется по-прежнему холоден, скуп и грустен. А Клавдия Васильевна будет думать о том, что она — героиня семидольского театра, что она одинока, никому не нужна и что Щепову надоел ее молящий голос и запачканные карандашом глаза, что все это — жалко, унизительно, ничтожно и что лучше было бы стоять мишенью на краю оврага.

Потому что вся жизнь Клавдии Васильевны напоена горечью нелюбимой, ненужной женщины. Вот она мерзнет два дня в затхлой темноте, и человеку, который для нее — как для собаки — хозяин, не пришло на ум порадовать ее пачкой папирос и коробком спичек. Ему отвратительно пожалеть ее — смешную, ненужную; и она никогда в жизни не увидит от него даже такой терпкой сладости, как сладость серной спички.

Откусывать хрупкие головки спичек, глотать их одну за другой, все торопливей, все скорей, чтобы успеть проглотить весь коробок, пока не начались еще боли, пока набегают из-под языка и катятся в горло пряные слюни, пока не свело оскоминой рот и не прошла еще собачья жалость к себе, к Щепову, к театру, к Семидолу, к покойной матери, к России, ко всему миру.

Пусть будет так. Скорей, скорей!

И когда выпал из рук пустой коробок и рассыпались по полу обкусанные спички, отточенной пилой резнуло там, откуда Клавдия Васильевна не ждала боли, — под грудями, в плечах и лопатках, как будто яд разлился по легким.

И в нестерпимой жалости к одной себе и в радостной какой-то злобе на весь мир Клавдия Васильевна рванулась к открывшейся двери с воплем:

— Ще-пов, я отра-вилась!

Щепов схватил ее на руки, поднял и побежал под сводами подвала, в дрожавшем желтом свете фонаря.

Узколицый коричневый человек, держа фонарь, шустро передвигал глаза по клочку бумажки с подписью:

Председатель ревтройки Голосов.

Курт бегал из угла в угол по небольшой своей комнате и то теребил коротко остриженную голову, то растягивал воротник гимнастерки. Руки его ни на секунду не успокаивались, мелькая перед Андреем, точно качаемые бурей ветви.

— А-а! Его растрогала наша дружба? Он чувствителен к братским отношениям? Что? Что он сказал, когда отпустил тебя?

— Он спросил, понимаю ли я, что он нарушил свой долг.

— Он хотел сказать, что пошел на такую жертву ради меня?

— Мне показалось, что он действительно ценит тебя.

— А-а! Ценит! Ценит! Не чересчур ли снисходительно ты о нем говоришь? За тот час, который ты провел с ним, ты не успел раскусить, что он — ханжа. Тебя ослепил сентиментальный жест этого выродка?

— Я, может быть, обязан ему своей жизнью.

— Что ж из этого? Ты можешь быть обязан жизнью какому-нибудь суку, за который зацепился, падая в пропасть. Неужели весь остаток своих дней ты будешь молиться на этот сук?

— Я не молюсь на него, Курт. Я говорю тебе, что он помог мне, потому что я — твой друг. Вероятно, ты ему чем-то дорог.

— А-а! Ты не понимаешь, Андрей! Ему непременно нужно чувствовать себя благодетелем. Благодеяниями он прикрывает жестокость. Перед самим собой он оправдывает свое существование ничтожными подачками добродетели. Тебе должна быть омерзительна всякая милость из таких рук! Ты должен...

— Послушай, Курт,— перебил Андрей.— Ты как будто подозреваешь меня в симпатии к этому человеку? Я не могу ненавидеть его с такою силой, как ты. Лично он, как человек, просто не существует для меня. Пустое место. А теперь, когда он так неожиданно оказался моим врагом...

— Ну, что теперь?

— Ты понимаешь, он обезличился теперь для меня еще больше. Он — враг, вместе с сотнею, с тысячей, может быть с миллионами других врагов. Человек, которого я случайно знал, вошел в число моих врагов. Больше ничего.

Курт перестал ходить и заложил за спину руки.

— Это сложно, Андрей.

— Нет, это просто.

Лицо Курта похолодело, взгляд заострился, он, точно крадучись, подошел к Андрею и понизил голос:

— Нет, это очень сложно, Андрей. Если бы этот не-

прошеный друг мордовской свободы, этот достойный отпрыск великолепной маркграфской фамилии, если бы он вдруг очутился в твоих руках...

— Ну?

— Ты убил бы его?

Андрей сгорбился, провел рукою по лбу, наткнулся на взгляд Курта и опустил глаза.

— Я, вероятно, не мог бы убить никого. То есть так, одного какого-нибудь человека. Чтобы потом знать, что я убил. Что именно я. Именно такого-то человека.

Курт опять замахал руками и бросился бегать по комнате.

— Ты боишься страха, Андрей, боишься страха! Это ужасно. Надо переступить через страх, перешагнуть через него.

— Я иду вместе с тобой на фронт, Курт.

— Это не то.

— Я сумею употребить там маузер не хуже Голосова.

— Не то, не то, мой друг!

— Может быть, как раз я и убью маркграфа. Но... только чтобы не знать этого наверно. Не видеть.

— Не то, милый друг, все не то. Как я ненавижу этого выродка! Слушай, Андрей. Я чувствовал себя — нет, что там! — я сделался вещью в руках этого благодетеля. Я засыпал и просыпался с мыслью о том, что он купил меня, что я не принадлежу себе. Ему был известен каждый мой шаг, он шпионил за моими замыслами, он не выпускал из моей комнаты ни одного клочка полотна. Его агент подкупал мастера Майера, чтобы знать все, что делали вот эти руки. Мне все кругом напоминало о моем унижении, как чахоточному все напоминает чахотку. Проклятие! Ради чего это делалось? Себялюбивому мальчишке вздумалось навести лоск на поблекшее в забвении имя маркграфов. Он хотел, чтобы о нем заговорили, чтобы его вспомнили. Захудалый лейтенантишка, неизвестный дальше полка, в котором он служит, неожиданно открывает нового художника. Ах, это маркграф? Маркграф, ха-ха! Дело не в художнике, а в меценате! Без мецената не было бы и художника! Дьявол! Он проводил свой план с расчетливостью паука. А-а-а! Такое отродье надо держать на замке! А ты поверил в его любовь к картинам? Поверил, ха-ха! Любовь к картинам, ха-ха-ха! Теперь этот покровитель изящных искусств не прочь украсить свой реставрированный титул новыми лаврами.

У него, наверно, в глазах мутится: маркграф вступает в Семидол, маркграф победно шествует в Москву, маркграф восстанавливает монархии, маркграф фон цур Мюлен-Шенау — друг мордовской свободы, ха-ха-ха! Попадись он мне только, друг мордовской свободы, ха-ха!

Курт кинулся к окну, распахнул его, привалился на подоконник. Во дворе раздавались глухие голоса, кто-то бегал по размякшей от дождя земле, лошадиные копыта чавкали в грязи, колеса затарахтели по разбитому полу каретника.

— Готово, Франц? — крикнул кто-то под окном.

— Ступай зови!

Курт выпрямился и застегнул воротник гимнастерки. Дыхание его стихло, движения стали отчетливы и ровны.

— Нам пора, Андрей.

Тогда Андрей вздрогнул, быстро встал и шагнул к столу. Рядом с пузатой походной сумкой на столе лежал долгоствольный иссиня-черный маузер. Андрей взял его и протянул Курту.

— Покажи, Курт, как наполняют магазин, — тихо попросил он.

В городе перебрасывались короткими словами, кое-кто отставал, чтобы поправить за спиною сумку или затянуть на ногах обмотки. Но когда миновали железнодорожный переезд, наступило безмолвие и строй не нарушался. Марш был тяжелый. Сеявший с полудня мелкий дождь пропитал глубоко дорогу. Сапоги облипали мягкими туфлями грязи, и шаги срывались, как на льду. Но ноги двигались упорно, и тела раскачивались грузно и мерно, как колокольные языки.

По глухому тракту, затерянному в России, прикрытые осенней ночью, в убогих полях без конца и края, неведомо куда шагали гессенцы, дармштадтцы, нюрнбержцы. Привыкшие к походу, они легко расслышали его суровую музыку, и на чужой земле, под чужим незрячим небом запели непозабытую песню:

I-ich hatte ein' Kamara-aden...[1]

На этой земле слащавая песня стала грозной, и Андрей не слышал своего голоса в хоре дармштадцев, гессенцев и нюрнбержцев.

[1] Был у меня товарищ... *(нем.)*

Но он пел, и слова его совпадали со словами песни, хотя смысл их казался ему другим. И хотя с каждой минутой мерная поступь марша отдавалась в земле тяжелее, идти становилось легче. В какую-то пустоту уходило прошлое, и все будущее было в том втором шаге, который делался за первым. Так незаметно исчезли в пустоте неясные видения маркграфа, Курта, Риты, Москвы, огромной комнаты у Пауля Геннига и сам Пауль Генниг, что-то рокочущий об уравнительности в социализме. Обрывки неволнующих слов возникали и гасли в памяти, как сигнальные огни оставленного вдалеке полустанка.

Ничем не отличный от солдат, нога в ногу, плечом к плечу с солдатами, Андрей ступал навстречу темноте, и чужая песня лилась из него легко и безбольно:

In der Heimat, in der Heimat,
Do gibt's ein Wiedersehen...[1]

Он был крепок и спокоен, он пел о родине Мари, он пел о свидании с ней. Он верил, что Мари — будущее, что она — тот второй шаг, который он сделает следом за первым.

Он заснул на земле, когда отряд расположился в Ручьях биваком...

Рассвет был поздний, дождь не переставал, сады стояли оголенные ветреной ночью. В промозглом тумане утра Андрей впервые разглядел солдат. Черты их лиц были странно одинаковы, как будто все они вытачивались на одном станке и красились одной краской. Медлительны и скупы были их движения, и рты их раскрывались только для того, чтобы откусить хлеба или поудобней перехватить зубами трубку.

Когда передали приказание о выступлении на Саньшино, солдаты завозились с трубками: кто выколачивал их, кто набивал наново, неторопливо и старательно, точно это было самым важным в исполнении приказания. Потом разобрали из козел винтовки, построились в колонну и пошли. В конце садов дали команду, которую Андрей не понял. Колонна развернулась в длинную шеренгу, и шеренга ломкой цепью двинулась по холмам, покрытым тоскливыми реденькими остатками заброшенных садов.

— Пахнет противником,— буркнул сосед Андрея.

Андрей взглянул на него. Солдат попыхивал дымком

---

[1] На родине, на родине
Ожидает нас свидание... *(нем.)*

кургузой трубки и смотрел под ноги. Подстриженные щеточкой усы его с одного бока были подернуты сединой.

— Я не проходил строя,— сказал Андрей,— я не знаю, что надо делать.

— Идти,— ответил солдат.

— Я буду держаться рядом с вами.

— Это все равно.

И они пошли молча, перескакивая через ползучие плети крыжовника и обходя хилые стволы одичалых яблонь.

За поворотом проселка, на покатой возвышенности Андрей увидел одиноко торчащее дерево с бесформенным рыжеватым комком на суку. Он вгляделся в этот комок пристальней. С дерева свисала на веревке неподвижная толстая туша, похожая издалека на заколотого гуся, подвешенного за шею. Андрей не заметил, как переменил направленье и спутал, ускорил шаги. Он шел прямо к дереву.

— Что это? — сказал он, протягивая руку назад, чтобы схватить своего соседа.— Человек? — спросил он тише.

Локоть его уткнулся в чью-то грудь, он осмотрелся. Его окружала кучка солдат, стремившихся вместе с ним к дереву. Шеренга была сломана. Чей-то голос вопрошающе прохрипел:

— Ему отпилили ноги?

Андрей рванулся и побежал на верх холма. За ним кинулись солдаты.

Голова повешенного была наклонена набок, бессильно и тяжело, как у мертвой птицы. Лицо посинело, и один глаз — желтый и громадный — вылезал из глазницы, точно выбитый. На растянутой длинной шее вровень с человеческим ростом странно висело широкоплечее громоздкое туловище. Казалось, если бы подставить под него ноги, оно пошло бы. Но на месте ног из-под разорванного тряпья розовела, точно живая, сморщенная кожа толстых культей. Растопыренными пятернями упирались в воздух руки, как будто туловище держалось на руках отдельно от головы, привязанной за веревку. Солдаты обступили повешенного.

Андрей смотрел на его синюю с вылезавшим глазом голову. Он где-то видел эту голову — дыneподобную, рябую от крупных веснушек. На коренастом обрубке она раскачивалась по пояс толпившимся солдатам и, радостно щерясь, подвывала бестолковому говору:

— С приездом, братики-товарищи! Дождались, можно сказать, до миру, до родины...

Но Андрей не мог вспомнить, когда он встретил эту голову, и она смутно сливалась в его памяти с другой головой, такой же синей, с внезапно шевелящимися мертвыми губами. «Adieu, Frau Mama, adieu...»

— Его надо снять,— глухо раздалось позади Андрея.

Он обернулся. Говорил сосед Андрея по шеренге. Половина его лица с поседевшим усом выплясывала как-то стремительно дробную пляску. Он был бледен. Андрей окинул взглядом других солдат. Они были странно непохожи друг на друга, тогда как минуту перед тем показались Андрею все как один.

Кое-кто шагнул к человечьему обрубку на дереве и приподнял его. Неловкие вздрагивавшие руки задергали веревку на растянутой шее повешенного.

Но в этот момент на головы упал откуда-то сухой недолгий треск, как будто обломился старый сук. Андрей поднял глаза на яблоню. Солдаты быстро побежали в стороны, рассыпались по холму длинной линией и, как картонные фигурки от дуновенья ветра, попадали наземь. Сухой треск повторился. И вдруг неровная дробь нагоняющих друг друга коротких разрывов покатилась через холм, точно где-то раздирали на куски толстую дерюгу. И, как от дерюги, на дальнем за проселком холме полетели кверху легкие, пушистые охлопья.

Андрея что-то толкнуло в бок. Он отлетел от дерева и упал. Лежа на правом локте, он левой рукой отстегнул от пояса деревянную кобуру маузера. Потом медленно насадил рукоятку револьвера на легкий приклад из кобуры, открыл предохранитель, лег на грудь и уперся подбородком в кулак.

Невзрачное, простоволосое небо подернулось клубочками сизых дымков. Они редели, таяли, и на их месте возникали новые, чтобы рассосаться и дать место другим. Андрей долго смотрел на них. Потом он приподнял голову. Шагах в сорока от него лежал на животе его сосед с подстриженными щеточкой усами. Рядом с ним валялась винтовка. Он тщательно и неторопливо прочищал соломинкой свою трубку. Книзу, по отлогому склону холма, редкими звеньями разлеглась цепь стрелков. Все они были неподвижны и тихи. Андрей взглянул на дерево. Потревоженный солдатами висельник все еще плавно раскачивался на суку. Андрей отвернулся безразлично.

Странное спокойствие разлилось по его телу. Впервые за эти годы, может быть впервые за всю жизнь, он испытывал необычайную легкость какого-то бездумья. У него было такое чувство, как будто он ничем не был связан с миром, который неожиданно и удивительно просто раскрылся перед ним и принял его. Он ощущал в мире одного себя, и время вдруг прекратило свое теченье, так что не стало ни будущего, с неотступной мыслью о Мари, ни настоящего, с его тоской и страхом за изуродованного, казненного человека.

Андрей следил за огромным рыжим муравьем, волочившим по земле иссохшую личинку. Муравей брал отважно препятствия из увядших дудчатых былинок, гальки и комочков грязи. Какой-то черный крошечный мураш в поисках добычи забежал в поле зрения рыжего, и тот, изогнувшись в дугу, ринулся на смельчака и поверг его в бегство. Потом он вернулся к личинке и пополз своей дорогой.

Может быть оттого, что земля была близка к лицу, ничтожное пятнышко ее, источенное ходами червей и жуков, вырастало в целый мир, и этот мир наполнял Андрея все углублявшейся непоколебимой тишиной.

До него донеслась далекая, непонятная команда. Сизые дымки на небосводе исчезли, выстрелы прекратились. Он посмотрел на склон холма. Солдаты кривой, как складная саженка, линией, с винтовками в руках, сбегали в лощину.

Андрей легко поднялся, захватил маузер и побежал под гору. И с каждым ударом ноги о пологую землю в нем росло ощущение никогда не испытанной странной легкости, как будто с него спадала постепенно одежда и он бежал голый. Когда же склон холма упал в лощину и нужно было сберечь разбег, чтобы взять подъем другого холма, Андрей перестал слышать свое дыханье, и легкость сменилась чувством какой-то бестелесности, неощутимо несшим его вверх.

Он опомнился, оставив позади себя возвышенность, над которой недавно взлетали сизые дымки. Он упал в реденький дубовый молодняк за этой возвышенностью, как падает клочок бумаги, когда под ним уляжется закружившая его воронка ветра.

Его ударило по голове выстрелом. Куцые, обрезанные винтовочные удары отозвались со всех сторон.

Тогда Андрей прижал к плечу полый приклад маузера

и стал нажимать собачку без счета и без перерывов, пока не опустел магазин. Потом, не шевельнувшись, он прислушался к тому, как поднятый стрельбою рокот катился по округе. Сквозь тонкую вязь дубовых веточек справа и слева от себя он увидел улыбавшихся солдат и только тут понял, что маузер направлен кверху, в небо.

— Ну, как? — спросил кто-то, зычно рассмеявшись.

Андрей откинул приклад от плеча и посмотрел на револьвер. Он был опален синеватой пороховой гарью.

— Работает исправно,— ответил Андрей и тоже рассмеялся.

ВСТРЕЧА

На десять часов утра было назначено собраться в лагере, куда целый день перед тем приводили захваченных в плен мордовских ополченцев. В особом бараке были заключены пленные австрийцы и немцы, среди которых предстояло опознать «друга мордовской свободы».

Семидол оправлялся от переполоха, и женщины с ведрами на коромыслах уже судачили у водопроводных будок. Но чем ближе Андрей подходил к окраине, тем безлюдней становилось кругом, и домишки прятали свои подслеповатые оконца за растрепанными ставнями.

Вдруг на углу захудалого переулочка Андрей увидел девушку, показавшуюся ему чужой, нездешней среди почерневших от дождей тесовых хибарок, заборов и ворот. Он замедлил шаги, вгляделся пристальней и, точно налетев на протянутую поперек дороги веревку, стал.

Девушка стояла на другой стороне улицы, спиной к нему, и разглядывала проржавленную железную дощечку на столбе ворот. Потом она медленно пошла к соседнему дому и принялась отыскивать на нем давно исчезнувшие следы номера. Постояв, она двинулась дальше, неуверенно и тихо, как человек, который сомневается, на верном ли пути ведет он розыски. Прочитывая полинявшие или облупившиеся дощечки, она прижимала правую ладонь к виску, как делала Мари, всматриваясь во что-нибудь неразборчивое, туманное. Потом она отнимала руку от лица, но не опускала ее тотчас, а несла перед собой две-три секунды, точно отдавая честь. Этот мельчайший жест, эта неизмеримо маленькая частица жеста принадлежала только ей — Мари. Не могла, не должна была принадлежать никому на свете, кроме нее — Мари.

О, конечно, это была Мари!

Каждое ее движенье — то, как она заносила тонкую — пожалуй, чересчур тонкую — свою ногу, чтобы ступить, то, как она переставляла ноги, почти не колыхая корпуса и выбрасывая вперед колени, как будто ее путь всегда лежал в гору,— все эти ничтожные черты движений, известные единственно ему, Андрею, составляли ее поступь — поступь Мари.

В самом деле, это была Мари.

На ней было платье, которое Андрей прекрасно знал,— коричневое тяжелое осеннее платье с широкими складками вокруг пояса и натуго застегнутыми на запястьях рукавами.

Вот она подняла голову, чтобы рассмотреть какой-то домишко. Волосы выбились из-под дорожной шляпы, сквозь них просвечивает белесоватое небо, и Андрей ясно видит их цвет — цвет волос Мари.

Нет сомнений, это она.

Но как она очутилась здесь, в этом захолустье, на этой окраине, в этот час?

Боже мой, она только что с поезда, с утреннего поезда. В ее левой руке небольшой саквояж. Может быть, Андрей припомнит его, этот саквояж? Бледно-зеленой кожи, как фисташковый орех, почти квадратный, перехваченный посередине одним ремнем. Разве мало видал он таких саквояжей в Бишофсберге? Разве не было такого саквояжа у Мари?

Мари!

Нечеловеческими усилиями она добралась до России, она разузнала, где живет Андрей, она из-под земли выкопала неведомый Семидол, она приехала, и вот — теперь плутает по захолустью, разыскивая его — Андрея.

Мари...

О, бывают минуты, когда воображенье проносит через наши головы несравнимо больше воспоминаний, догадок, доводов и картин, чем те ничтожные обрывки и клочки мыслей, которые ослепили Андрея, пока он смотрел на девушку через дорогу. Наверно, в нем не оставалось и капли сомнения, когда он прорвал невидимую веревку, преградившую внезапно его путь, и бросился через грязную улицу.

Но он сделал всего два шага. Девушка, что-то разыскивающая на воротах, обернулась к Андрею. Он увидел чужое и — ему показалось — отталкивающее, отвратительное лицо.

Он схватился за грудь и повернул назад.

Он едва не сшиб с ног какого-то человека и приостановился. Раздельные немецкие слова, произнесенные очень тихо, привели его в себя.

— Странно... Странно...

Перед ним стоял пленный немецкий солдат и, не обращая на него вниманья, глядел через улицу на девушку.

— Что странно? — спросил Андрей.

Пленный вздрогнул и быстро осмотрелся. Одутловатое, плохо вымытое лицо его медленно изменилось под налетом непонятной улыбки.

— Пустяки,— сказал он,— вон та славная фрейлейн напомнила мне одну знакомую...

— Да? Странно... Впрочем, это случается...

— Случается,— согласился немец.— Вы в лагерь? — спросил он тут же.

— Да.

Пленный запрятал руки поглубже в карманы шинели. Шинель была изжевана походами и ненастьем, на ногах коробились просушенные огнем австрийские голубые обмотки, и на глаза сползала высокая, с большой чужой головы бескозырка. Пленный вздрагивал и пожимался от студи.

— Не знаете случайно, долго ли еще будут нас держать в этой помойке? — Он мотнул головой в сторону лагеря.

— А вы в Германию?

— Да.

— Понемногу отправляют.

— На тот свет? — усмехнулся пленный, и Андрей увидел его рот.

Они узнали друг друга мгновенно — пленный немец и Андрей Старцов. У них вырвалось в одно и то же время придушенное:

— Вы!..

Они впились глазами друг в друга и окоченели в испуге. Но это длилось один кратчайший миг. Испуг встряхнул их, точно ледяной душ, и они стояли готовые к схватке. И, может быть, оттого, что Андрей бросил куда-то поспешный ищущий взгляд, пленный напал на него первым, стремительно и метко.

— Нет, нет,— проговорил он, чуть подаваясь к Андрею и вынимая руку из кармана,— вы не сделаете этого, вы не можете этого сделать!

— Вы с ума сошли! — воскликнул Андрей.

— Вы не сделаете этого, потому что от одного вашего необдуманного шага зависит жизнь сотни невинных людей. Невинных людей!

— Послушайте...

— Нет, нет. Не торопитесь, чтобы потом не раскаиваться всю жизнь. Не торопитесь, умоляю вас! Я не о себе. О себе — мне все равно...

— О чем вы? О каких людях?

— Ради бога. Прошу вас. Выслушайте. Если вы выдадите меня, если меня поймают...

— Я знаю, что мне делать! — крикнул Андрей и огляделся.

Табунки растрепанных непогодью хибарок по-прежнему одичало жались по бугристой улице. Безлюдные дороги скучно убегали в поле. Ни души.

— Я знаю, — снова крикнул Андрей, но голос его сорвался и заглох.

Тогда пленный шагнул к нему, уверенно взял его обеими руками за локти и заговорил:

— Хорошо. Я могу сейчас побежать, вы броситесь за мной, поднимете крик, народ выбежит на улицу, меня настигнут и возьмут. Вон там уже идут двое каких-то солдат. Вы не один. Вы можете взять меня. Но я говорю вам: за это заплатят жизнью двадцать, тридцать, пятьдесят человек, вся вина которых в том, что они хотели поскорей попасть на родину. Меня захватили вместе с моими солдатами. Это все — пленные, и один я виноват в том, что они пошли драться. Но они — честные, простые люди, и они выручили меня еще там, под Саньшином, перед тем как сдаться. Я сидел вместе с ними в бараке, вон там, как рядовой. На рассвете они помогли мне бежать. Я говорю ради них. Им не простят того, что они помогли мне. Их судьба в ваших руках. Решайте. Я готов. Я смерти не боюсь. Я пять лет жил со смертью под одной крышей. Если вы...

— Все это вздор, — отмахнулся Андрей и сдвинул брови.

Поздно, Андрей! Не надо было слушать этого вздора, не допускать ни одного слова, не терять ни одной секунды. Тогда двое солдат не видели бы, как товарищ Старцов, которого знает весь Семидол, поутру, на пути в лагерь, стоял с каким-то пленным в изжеванной шинели и австрийских обмотках, и пленный жарко упрашивал

о чем-то товарища Старцова, держа его крепко за локти. Тогда заспанный мужичонка, вылезший из лачуги, подле которой Андрей разговаривал с пленным, не заметил бы, как растерянно дернулся товарищ Старцов, точно хотел позвать на помощь, и тотчас сдержал себя и вслушался в торопливое бормотанье пленного:

— Я прошу не за себя, поверьте, мне все равно. Я даже не рассчитываю, что вы припомните, как я нарушил когда-то свой долг, чтобы выручить вас, чтобы спасти вас, может быть, от смерти. Я вижу, что вы помните это, вы не могли забыть этого, не правда ли? Ваше положение тогда было немногим лучше моего. Не так ли? Вы помните?

И вот за вздрагивающим покатым плечом пленного Андрей опять видит Мари. Неужели в мире возможно такое сходство? Немыслимо! Мари! Она вышла из ворот, остановилась, приложила руку к виску, всматриваясь в даль, потом решительно и легко двинулась под гору, в город. И чем дальше удалялась она, тем страшнее становилось от мысли, что она может уйти навсегда, что ему — Андрею — не суждено, быть может, никогда вернуть ее и что вдруг лицо этой девушки вовсе не отвратительно, потому что это — лицо Мари, Мари!

Секунда, другая — и ее скрыл кособокий угловой домишко.

И тут же ясное, странно близкое слово, произнесенное чужим прерывистым голосом, замыкает мысль Андрея:

— Бишофсберг...

— Бишофсберг? — спрашивает он изумленно.

И пленный торопится договорить что-то очень важное шепелявящим, сухим языком:

— Клянусь, я ни о чем не думаю больше, как только о возвращении в Бишофсберг. Я готов отплатить вам чем хотите. Вернуться в Бишофсберг, на Лауше! Неужели вы, в память того, что я когда-то сделал для вас...

— Вы хотите вернуться в Бишофсберг? — прерывает его Андрей.

— О да!

Кругом опять ни души, захолустье недвижно и сокрыто от человечьего глаза.

— Говорить об этом — безумие! — воскликнул Андрей и вдруг, затихнув и пригнувшись к пленному, быстро шепчет: — Приходите ко мне сегодня, как стемнеет, я живу на углу...

Он говорит свой адрес точно и коротко, он пожимает протянутую руку пленного, поворачивается и слышит растроганный, сдавленный, чуть-чуть насмешливый возглас:

— О, как вы благородны!

Потом без оглядки он кидается из безлюдных улиц в поле и, мимо заброшенных кирпичных сараев, через овражки, тропы и лощинки, почти бежит к лагерю.

Он, конечно, скажет, кого только что встретил на улице, кого позвал к себе сегодня, когда стемнеет. Он устроит засаду у себя в комнате, он выдаст, он предаст беглеца. Предаст? Нет, он исполнит свой долг. Долг? Но разве он уже не нарушил своего долга? Ведь если беглец...

Андрей останавливается внезапно, точно ослепленный жестоким светом, и опять бросается вперед...

Потом он стоит в бараке, между Куртом и Голосовым, и мимо него тянется череда захваченных под Саньшином немцев и австрийцев. Пленных останавливают, заставляют снять фуражки и показать руки. Курт задает короткие вопросы и машет головой.

— Следующий.

С Андрея не перестает лить пот, он часто вытирает лоб промокшим тяжелым платком и машет головой так же, как Курт.

— Следующий.

Голосов говорит негромко:

— Завтра, Старцов, митинг в лагере. Ты должен благодарить пленных, которые дрались на нашей стороне. Их отправят на родину с первым эшелоном. Это все, что мы можем сделать для них. Мы очень обязаны им.

Голосов прикрывает ладонькой улыбку.

— И тебе, конечно...

— Хорошо, — отвечает Андрей, — следующий.

В ленте проходящих мимо него людей остаются пятеро, трое, двое. Вот последний.

— А-ах, чер-рт! — хрипит Курт.

— Боже мой, боже мой! — отзывается Андрей.

— Я так и знал: убежал, дьявол...

И Андрей:

— Убежал. Да, да, убежал. Боже мой...

Он отводит глаза, и ему кажется, что все кругом застлано тяжелым черным дымом.

— Если месяц пребывания в осажденной крепости зачисляют за год, то месяц плена надо бы считать за два. Моя жизнь, в сущности, прошла. Плен — гроб. Дно и стенки его — снег, крышка — небо, заткнутое снежными тучами. Заживо в гробу. Иной раз я падал в отчаянье на пол и бился головой. Я с ума сходил от снега. Я с ума сходил от мысли, что скоро опять пойдет снег. Я не могу видеть, как он падает, падает, падает. У меня волосы становятся дыбом... Вы хотите знать, чем я руководился, затеяв эту жалкую аферу? Или вам безразлично это так же, как мне? Но я чувствую необходимость оправдаться перед вами. Ведь в ваших руках — моя судьба, и вы снисходительны к ней, может быть, не по заслугам.

— Вы опять говорите громко. Тише! — шепчет Андрей.

— Простите. Я насилу сдерживаю себя, чтобы не разрыдаться. Я не могу смотреть на вас без слез. Я не вмещаю в себя этого. Как грандиозна и нелепа наша жизнь. Недавно еще враги, мы...

— Говорите тише и скорей. Говорите скорей.

— Я так взволнован, я не знаю, о чем должен сказать. У меня был единственный друг, с которым я прожил в этом гробу два с половиной года. Его звали Фрей. Его убили третьего дня, в последней стычке, которая решила все. Он был германским офицером, и его приколол штыком германский солдат. На его смерти я понял, что он затеял глупое дело. Это была его идея — поднять мордву. Он назвал меня другом мордовской свободы, пустил целую легенду обо мне, не знаю толком какую. Он ненавидел большевиков и презирал русских. Мне любопытны и те и другие. Но мне было скучно. В конце концов политика — только скука. Свекровь всегда считает сноху расточительницей, отцу кажется, что сыновья — паразиты, а дети изнывают под гнетом родителей. Но все это — своя семья. Скучно. Я не думал ни о какой политике. Я просто любовался на Фрея, на его увлеченье, с каким он плел свой узор, который должен был привести нас на родину, положить конец плену. Вы ведь знаете по себе, что значит плен? Вы знаете, на какие безумства может толкнуть человека плен? Вы помните?..

— Говорите же скорей!

Андрей кутается в широкую жесткую шинель, как

будто сквозь наглухо занавешенное окно, к которому он прислонился, дует пронзающая струя холода. В комнате тихо. Боязливый язычок восковой свечки на столе не колышется, хотя на расстоянии протянутой руки судорожно трепещут шепчущие губы обер-лейтенанта:

— Я надеюсь, я почти верю... Все зависит от вас, добрый друг. Могу я вас так называть?

— Как вы решились прийти ко мне?

— О, я ни минуты не колебался. Вы поймете меня. Я так несчастен, я так раскаиваюсь, так жестоко раскаиваюсь...

— На что вы надеетесь? Говорите же!

Обер-лейтенант облокачивается на стол и приближает свое лицо к свечке. Оно неподвижно, измождено, и только рот наполнен напряженной жизнью.

— Я жду, что вы поможете мне, как когда-то я помог вам. Постойте, постойте! Я понимаю, что это против вашей совести. Но разве я отпустил вас из Шенау не против своей совести? Я вижу, что вы хотите сказать: вы были безвредны для Германии? Но посмотрите на меня. Я пришел к вам за милостью, за снисхождением, и вы вольны сделать со мной, что хотите. Неужели я действительно хоть сколько-нибудь опасен для вашей страны?

Андрей скидывает с себя шинель и встает. Громадная тень распрямляет на потолке руки и кидается из угла в угол. Андрей смеется:

— Для моей страны? Для страны?

Обер-лейтенант вторит ему тихоньким, раздумчивым смешком и бормочет:

— Конечно, смешно. Для великой страны, для великой России... друг мордовской свободы! Но даже для Семидола, для вас, для того дела, которому служите вы. Неужели опасен? Я окружен пустотою, я одинок. Мой друг убит. Я никогда не забуду, как два года подряд мы собирали с ним гербарий. Бедный Фрей. Что останется делать без него? Допустите, что я на свободе и что мною руководит злая воля. Вы видели, на чьей стороне пленные. У меня были случайные люди. Я безвреден, беспомощен, я ничтожен. Если вы поможете мне выбраться отсюда, вы никому не причините вреда, как не принесете никакой пользы, если выдадите меня. Нет, нет. Я не допускаю такой мысли. Я хочу сказать, что у вас может и не быть тех дружеских чувств, какие побудили

меня выручить вас тогда, в Шенау. Но я верю в вашу человечность.

— Вы тогда отпустили меня как друга Курта Вана,— шепчет Андрей, перегибаясь через стол.— Вы знаете, что я, как друг Курта Вана, должен был бы... выдать вас?

Обер-лейтенант откидывается на спинку стула, глаза его растут, он насилу сдерживает дыханье и мнет сухие, тонкие пальцы в ладонях.

— За что так ненавидит меня Курт Ван? — бормочет он чуть слышно.

— Вы знаете? — продолжает шептать Андрей.— Курт Ван здесь, в Семидоле. В его руках эвакуация пленных — он председатель совета германских солдат.

Обер-лейтенант закрывает глаза и хватается за виски. Недвижный, пожелтевший, он молчит, держась за голову, и полуоткрытый рот его подергивается конвульсивно.

— Судьба,— наконец выговаривает он и поднимает веки. Взгляд его мутен и безжизнен.

— Судьба... За что он ненавидит меня? — повторяет он.— Моя надежда сделать что-нибудь в совете... единственная надежда...

Он вдруг вскакивает, бросается кругом стола к Андрею и стонет:

— Я прошу о человечности, об одной человечности!

Тогда Андрей хватает его за мягкую, дрожащую кисть руки, тянет ее книзу, точно в рукопожатье, и хрипит ему в лицо:

— Тиш-ше, вы! О человечности? О человечности? А безногий калека на яблоне — человечность? А кровь несчастных идиотов, которые поверили в вашу потеху,— человечность?

— О, не будьте жестоки! О!

— Жестоки?

— Умоляю вас. Фрей искупил нашу вину своей смертью. Клянусь вам, что я всю жизнь...

Андрей выпускает его руку и отходит прочь.

— Я больше ничем не могу помочь вам. Вам удалось бежать. Бегите дальше. Скрывайтесь. Я не мешаю вам. Мы квиты. Мы квиты, обер-лейтенант! — вдруг резко выкрикивает Андрей.

— Я понимаю вас. Вы проходите мимо человека, умирающего под забором...

— Но что же вы хотите от меня? Что я могу сделать для вас?

Обер-лейтенант съеживается, неожиданно крепко потирает руки и быстро шепчет:

— Мне нужно какое-нибудь имя. Больше ничего. Какое-нибудь имя...

Андрей смотрит на него застылым, как стекло, взглядом, и руки его туго поднимаются, точно их что-то сводит против воли.

— Какое-нибудь имя, даже самое неблагозвучное, доведет меня до Бишофсберга. Я больше ничего не хочу: Бишофсберг, Лауше, Шенау — мое последнее желание в этом мире.

Андрей бессильно опускается на кровать.

— Бишофсберг — последнее желание в мире...

Беззвучие сковывает полумрак комнаты, свеча горит по-прежнему боязливо, и медленно густеет пряный медовый дух растопленного воска.

Андрей тихо встает и подходит к обер-лейтенанту. Он становится рядом с ним, касаясь его плеча грудью, обвивает его спину рукою и приближается лицом к его уху. Он весь дрожит. Грузным, частым дыханием он раскачивает прижатого к груди обер-лейтенанта, и его шепот шумен и тяжел:

— Если вы доберетесь до Бишофсберга, вы исполните одно мое порученье?

— Это будет целью моей жизни!

— Послушайте, у меня там... у меня невеста, единственная женщина, которую... моя невеста...

— Да, да, понимаю, конечно,— шепчет обер-лейтенант, и что-то детское овевает его полуоткрытые губы.

Тогда, впервые за этот вечер, по лицу Андрея тепло растекается темная краска, и желтое пламя свечи умножается и ширится в его глазах.

— Вы разыщете ее, расскажете о том, что я... что вы видели меня, что я говорил о ней... я скажу вам потом... передадите ей письмо... первое письмо... я расстался с ней год назад, и она ждет... Мне страшно думать: целый год! И впереди... Но я напишу все в письме... Вы передадите? Ее нетрудно найти. Ее зовут Мари Урбах, фрейлейн Мари Урбах. Она живет...

Андрей качнулся. В его руках подломилось и повисло мешком отяжелевшее тело обер-лейтенанта. Голова запрокинулась назад, и на растянутой шее скользнул челноком выпятившийся острый кадык.

Андрей прислонил обер-лейтенанта к стене.

— Что вы? Вам плохо?

Обер-лейтенант вздрогнул и распрямился.

— У меня... видите,— глухо пробормотал он, показывая на голову.

От правого уха к затылку бежал широкий исчерченный рубцами шрам.

— В Шампании, в пятнадцатом году, с тех пор это бывает. Не обращайте внимания... Фрейлейн Мари Урбах, говорите вы? Ма-ри Ур-бах?

Обер-лейтенант прищурился на Андрея.

Но Андрей не смотрел на него. Он вытянул шею, прислушиваясь к шороху за окном. Три отчетливых удара по стеклу негромко звякнули и оборвались безмолвием комнаты.

— Ко мне,— прошептал Андрей.

Он, крадучись, вышел из комнаты, бесшумно проскользнул темной каморкой в сени и прильнул к наружной двери.

Обер-лейтенант отскочил в угол, прижался спиною к стене и вытащил из кармана офицерский наган. Левой рукой он охватил запястье правой и навел револьвер на дверь. Так он стоял, неслышный и неразличимый в теплом полумраке настороженной комнаты.

Андрей прислушался к неуверенным, мягким шагам на дворе. Они остановились на крыльце, и полусгнившие ступени скрипнули жалобно, готовые обломиться. Кто-то взялся за железную скобку двери. Андрей затаился. Потом он шумно, освобожденно вздохнул, снял крючок и открыл дверь. По блеску круглых черных глаз, засветившихся перед ним в темной ночи, он понял, что не обманулся, и быстро проговорил:

— Рита, милая, я не могу принять тебя, у меня дело... у меня товарищ... Через четверть часа я освобожусь. Я приду к тебе, непременно приду.

Рита подняла руки, широкий черный платок тяжело скатился с ее плеч, и она молча потянулась к Андрею. Он обнял ее нежно, точно обрадованный молчаньем, и туго поцеловал в мягкие, мокрые, холодноватые губы.

— Андрей!

— Да, да. Через четверть часа.

— Ты уже знаешь?

— Что?

Она забормотала бессвязно:

— На фронт... тебя решено отправить на фронт... Это

все Голосов, Голосов, я знаю... Он не может простить мне, что я с тобой... Это решено... я знаю... на этих днях, может быть завтра... мобилизуют. Андрей... расстаться теперь...

Он снова нежно обнял ее.

— Мобилизуют? Ну и что же? Это хорошо. Это отлично! Я буду у тебя через четверть часа. Ступай.

Он поднял с пола платок, закутал ее, повернул к себе спиной и слегка придержал за плечи, пока она спускалась по скрипучим ступеням крыльца.

Потом он наложил крючок и вернулся в комнату. Он не сразу разглядел своего гостя. Обер-лейтенант стоял, прислонившись к стене, лицом к двери. Руки его торчали в карманах. Он молчал. Андрей подошел к нему и дотронулся до борта его шинели.

Обер-лейтенант тихо спросил:

— Как вы говорите? Фрейлейн Мари Урбах?

— Позвольте! — сказал Андрей.— Вы могли ее знать, Мари. По соседству с Шенау, вилла Урбах, помните?

— Не припоминаю,— промямлил обер-лейтенант и показал раздумчиво на голову: — У меня — видите...

Тогда Андрей заторопился.

— Вам надо идти. Я постараюсь сделать что-нибудь для вас. Постойте. Завтра, в одиннадцать вечера, на том месте, где мы встретились. Я буду. Я приготовлю письмо. Вы передадите? Но запомните имя и адрес, на случай, если не удастся уберечь письма: Am Markt, 18/II, Мари Урбах... Сейчас...

Он бросился к полке, схватил кусок хлеба и сунул его обер-лейтенанту, не переставая шептать:

— Am Markt, 18/II... Am Markt...

Обер-лейтенант попробовал спрятать хлеб за пазуху, но кусок был большой, угловатый, он разломил его на две части и одну часть засунул в левый карман шинели. Потом, подталкиваемый Андреем, миновал каморку, сени, подошел к выходной двери, беззвучно и зыбко, как тень.

Тут он вдруг отвердел, схватил руку Андрея, сжал ее и раздельно проговорил:

— Я запомню. Am Markt, 18/II, фрейлейн Мари Урбах. Я бесконечно благодарен вам. До завтра.

Он окунулся в темень, уверенно пробежал двором, неширoко приоткрыл калитку и юркнул в щель.

Черная жесткая ночь обнимала чуждый мертвый Семидол. Косогоры с угнездившимися на них лачугами

чуть различимыми горбами подымались к безглазому небу. В пустой глубине города выл затосковавший пес.

Обер-лейтенант вынул наган и подержал его на ладони, как будто прикидывая вес. Потом засунул револьвер назад в карман и решительно двинулся в ночь, придерживая двумя пальцами левой руки прыгавший на ляжке кусок хлеба, как когда-то придерживал саблю...

В эту минуту, сгорбившись над столом, в пугливом трепыханье свечи, Андрей чертил щербатым пером по надорванному, рыхлому листку бумаги повторяющиеся, отчаянные, бессмысленные слова:

«Милая, любимая моя, маленькая Мари. Каждый мой вздох, каждый удар сердца, всегда и всюду... Ты одна... Боже мой...»

Уже поздним вечером, когда Курт кончал работу, пришел Андрей. Он был необычно подвижен, разговорчив, пожалуй болтлив. Он рассказал о том, что на завтра назначены проводы мобилизованных, что он занят сборами отряда, что Голосов тысячу раз прав, утверждая, будто бы ему — Андрею Старцову — очень полезно размяться на фронте.

— Я совершенно переродился после Саньшина! — восклицал он, потирая руки, как на бодрящем, душистом морозе.— Я понял теперь, почему до сих пор я постоянно чувствовал себя угнетенным. Какой-то мрак окутывал меня, я задыхался от него, у меня не было ни минуты передышки. Знаешь, что это было? Это было ложное сознание, будто бы я не несу ответственности за ужас, который совершается в мире. Будто бы я не виновен в этом ужасе. Но совесть не давала покоя. Совесть — это страшно, Курт. Совесть... да...

Андрей помедлил с минуту, потом еще горячей продолжал:

— Ложь... понимаешь? — ложь. Я виновен в том, что люди шли на смерть, а я не шел с ними. Ведь правда? Все, кто не шел на войну, все, кто не идет на войну,— все виноваты в войне. Если смерть нужна, если она неизбежна, надо самому... понимаешь? — самому умереть, а не смотреть, как умирают другие... Под Саньшином, когда надо было бежать за смертью вместе со всеми, я понял, что значит совесть... я понял, что нужно взять на себя всю тяжесть ужаса, а не бежать его, считая, что в нем виновен мир, но не я...

Андрей вскакивал, принимался бегать по комнате, садился, снова вскакивал и, почти задыхаясь, не переставал говорить. Лицо его было смято, как от бессонной ночи, но необычно и остро горели неясные глаза.

— О, я теперь другой, совсем другой. Я с наслаждением иду на фронт. Я уже не мог бы теперь жить, как прежде. Я просто умер бы с тоски. У меня захватывает дух, когда я вспоминаю, что пережил под Саньшином. Знаешь, Курт? За всю жизнь единственный раз, на несколько минут, я перестал видеть себя. Никогда раньше, даже когда, подростком, впервые узнал женщину.

Он опять остановился, как будто пораженный неожиданной мыслью, затих и вгляделся в невидимую точку, где-то на уровне глаз. Потом покачал головой и ответил своей мысли:

— Нет. Даже с Мари, когда все плыло и качалось в ее взоре, даже тогда, Курт, я не испытал такого чувства. Я всегда видел себя со стороны. Под Саньшином я перестал не только видеть себя, но даже ощущать. Если это смерть, то она прекрасна...

Курт следил за Андреем с той нарастающей и скрытой тревогой, с какою смотрят на человека, которые чересчур жарко доказывает, что он совершенно здоров. И когда Андрей выговорился и его голос упал, как птица, избившаяся в клетке, он сказал:

— У тебя очень усталый вид, Андрей.

— Мне кажется — не больше, чем у тебя,— ответил Андрей.

Курт показал на пачку бумаг под лампой.

— Я провозился с утра. Мы отправляем громадную партию. Это все те, кто дрался против маркграфа... Может быть, хочешь чаю? Я скажу, чтобы приготовили.

— О да, чаю я выпью. Скажи.

Курт вышел. Стук его каблуков раздался в соседней комнате и стих в коридоре. Далекая дверь захлопнулась чуть слышно.

Андрей поднялся с кресла, шагнул к столу.

Синие папки лежали сложенными ровной стопой. На крышке верхней папки чернели крупные литеры:

P—S
REICHSDEUTSCHE
ГЕРМАНЦЫ

Андрей развернул папку на середине. Толстый серова-

тый лист бумаги был разграфлен жирной чертой пополам. Правую сторону листа заполняли русский типографский шрифт и чистенькая писарская пропись. Кучка четких слов бросилась Андрею в глаза:

Воинское звание: *ефрейтор*
Имя: *Конрад*
Фамилия: *Штейн*
С какого времени в плену: *с февраля 1917 г.*

Андрей выдернул лист из папки и скользнул глазами по его оборотной стороне. Внизу листа прилипло лиловое пятно печати и крутая, размашистая стояла подпись: *К. Ван.*

Андрей закрыл папку, согнул бумагу надвое, проворно сунул ее в карман и обернулся к столу спиной. Чтобы придушить всхлипыванья, вылетавшие вместе с дыханием, он напряг все мышцы с такою силой, что откачнулся, как на пружине, от стола, на котором присел. И вместе с этим движеньем у него запал глубоко живот, и он громко икнул. Когда издалека послышались шаги, он бросился в полумрак соседней комнаты и крикнул подряд несколько раз, с каждым разом невнятней:

— Не надо, не надо!..

Он налетел в темноте на Курта и схватил его руки.

— Не надо. Я не хочу, я раздумал...

— Что такое?

— Я не хочу чаю, не могу, не успею. Я вспомнил, что мне еще нужно пойти... надо пойти по одному важному... мне поручили...

— Что с тобой?

Курт сильно сжал руку Андрею и потянул его к свету. Но он не унимался, твердил о неотложном деле, икая, захлебываясь, то вскрикивая, то шепча, и торопливо, кое-как натягивал на себя неуклюжую шинель.

— Как мог я забыть? Прощай, Курт, я никак не могу...

Курт резко взял его за плечи.

— Ты совсем не владеешь собой, дружище. У тебя лихорадка.

— О да! Но это хорошая лихорадка, хорошая. Я так счастлив! Прощай.

Курт прижал его к себе, обнял и — высокий, прямой, негнущийся — постоял так неподвижно.

— Если ты умрешь, Андрей, то у меня будет одно утешенье: ты умрешь за хорошее дело. Ну...

Он дотронулся губами до щеки Андрея, потом отпустил его. Тогда Андрея пронизала страшная дрожь, точно от нечаянного прикосновения холодного железа. Он выдавил из себя, сдерживая икоту:

— Прощай,— и выбежал вон.

Улицы были черны, ветер налетал из-за углов внезапными порывами, неистово трепля ободранные ветки деревьев.

Андрей бежал не переводя дух, запахивая непрестанно борта шинели, точно не догадываясь застегнуть их на крючки. Икота мучила его, он почти задыхался, и ветер разносил во тьме его обрывистые, гулкие всхлипы. Но он не останавливался.

Он добежал до косогоров окраины, миновал свой дом и устремился в гору, по улице, ведшей в поле. Здесь он замедлил шаги и стал приглядываться к постройкам. Но лачуги увязали в беспросветной ночи, как мухи в чернилах, и отличить одну от другой было нельзя.

Андрей остановился.

И в тот же миг его кто-то уверенно взял сзади за локоть. Он отскочил и быстро обернулся; припадок икоты сдавил его живот и глотку, он зашатался от боли.

— Это я,— расслышал он сквозь завыванье ветра.

Он вытащил из кармана покоробившийся лист бумаги и протянул его в темноту. Холодные пальцы коснулись его руки. Он выговорил прерывисто и глухо:

— Пробирайтесь одиночкой... с эшелоном нельзя... до Москвы...

Он рванулся под гору, но его нагнал окрик:

— Письмо для Мари!

Андрей дернул ворот гимнастерки, выхватил из-за пазухи письмо и ткнул его в холодные растопыренные пальцы.

Ветер дул по пути, путь катился вниз, и бег Андрея был полетом камня, брошенного в пропасть.

Он долетел до ворот своего дома, ворвался во двор, на крыльцо, и только тут передохнул. Ему открыли дверь, он прошел сенями в кухню, нащупал на скамье ведро с водой, присел на корточки и, нагнув ведро, стал пить через край. Вода показалась ему горячей, как кипяток. Он оторвался, отдохнул, снова принялся пить тягучими емкими глотками. Потом разыскал ковш, зачерпнул воды, раскрыл окно, высунул наружу голову и опрокинул на нее ковш. Потом упал на скамью.

Войдя в свою комнату, Андрей не зажег огня. Он ощупью приготовил постель, медленно разделся и лег, зарывшись плотно в одеяло.

Сон пришел неожиданно скоро, так что Андрей ни разу не шелохнулся, и тишина все реже и реже вздрагивала от икоты.

И, кажется, так же скоро, как сон, пришло видение:

> Какой-то бесконечный простор наполнен переливающейся синевой. Эта синева повсюду — вверху и внизу, со всех сторон только она — бездонная, струящаяся синева. И в этой синеве, где-то в глубине ее — и в то же время где-то очень близко — перед Андреем стоит неподвижный пустой стул. У него высокая прямая спинка, ровные ножки, гладкое сиденье. Он совершенно неподвижен, и на нем никто не сидит. Он пуст. На нем никого нет. Но он как бы ожидает, что на него кого-то посадят...

Андрей очнулся. Он лежал, прижавшись всем телом и лицом вплотную к стене. Одеяло, подушка, белье были мокры от пота. Он вскочил, сбросил ноги на пол и притаился. Бледный, немощный рассвет брезжил за окном. Но перед Андреем, в бесконечной, дрожащей синеве, все еще стоял неподвижный пустой стул. На стуле никто не сидел. Но он кого-то ожидал. Это было ясно видно...

Андрей расслышал стук своих зубов, и, точно откликнувшись на этот стук, его голые пятки стали выбивать по полу частую дробь.

Это был последний день, проведенный Андреем Старцовым в Семидоле.

Все, что он делал за этот день, скаталось в клубок. Андрей едва запомнил сумерки, накрывшие толпу, когда она провожала мобилизованных. Нестройные голоса, свернутые — для удобства — плакаты и знамена, толчея на узкой платформе вокзала. Перед тем как провожавшим вернуться в город, Андрей что-то говорил, и от выкриков под его ногами раскачивался скрипучий ящик. Потом он прощался с товарищами, и лица их казались ему застенчивыми, а поцелуи — деловыми. Товарищ Голосов лукаво спрятал в ладоньку беглый смешок и крепко тряхнул руку. Военный летчик Щепов отвел Андрея в сторону и дал ему письмо к отцу — Сергею Львовичу.

— Вам, может быть, придется задержаться в Петербурге, так вот... Вы можете остановиться у отца. Я тут пишу... Да, кстати, я написал, что женился, и, кажется, забыл сообщить, как зовут жену... Передайте. Впрочем, вы знаете? Я женился на Клавдии Васильевне...

Потом беготня по черным запутанным путям, между слепых вагонов, потом дорога в город, где надо было что-то сделать,— дорога одинокая и длинная. Все это заслонилось неотступным желанием еще раз пережить чувство совершенной свободы, то самое чувство, которое пришло в полях под Саньшином,— чувство бесплотности.

Может быть, Андрей боялся вспомнить сон? Может быть, он торопился искупить свою вину? Но его воля отдать себя лучшему, что он узнал в жизни, была неотступна и заслоняла собою все.

И только вот что разорвало ее непрерывность, литым мечом откинуло в сторону весь этот день и сделало его прощальным.

Ночь была холодна. Небо стояло необычно высоко, и звезды на нем были мертвы. Площадь перед вокзалом не лежала, как всегда, пустырем, а простиралась — пустыней. Лошадь переставляла ноги, извозчичья таратайка кренилась вправо и влево, но ощущения езды, движения не было. Внезапно неразличимая в ночи фигура впрыгнула на подножку пролетки. Лошадь стала.

— Рита! — вскрикнул Андрей.

— Я хотела, чтобы никто не видал, чтобы не видал Голосов,— задыхаясь, проговорила она. Потом упала ему на плечи, ледяными губами зажала его рот, холодными рассыпавшимися волосами коснулась лица, шеи, рук, нежданно горячо, в этом осеннем холоде ночи, губ и волос, опалила:

— Прощай!

Он должен был что-то крикнуть, потому что крик подкатился к горлу, потому что Рита рванулась с пролетки и убежала в ночь, потому что вдруг стало так, точно он уходил от матери, уходил навсегда,— должен, должен был крикнуть, но вместо крика ткнул в спину извозчика и выдавил из горла через силу:

— Гони!

И вновь заслонилось все ясной волей — еще раз, скорее испытать, пережить, почувствовать то, что пришло в полях под Саньшином.

— Гони, гони, гони!

Потом Андрей забился в угол теплушки и, подняв высоко воротник, закрыл глаза.

Спустя час поезд волочил его по пути в Петербург.

В этот час Курт Ван, составляя донесение в Москву о работе Семидольского совета солдат Германии, написал последний пункт записки:

Сообщаю, что из канцелярии Семидольского совета исчез личный документ на имя ефрейтора саксонской службы Конрада Штейна. Предъявитель этого документа подлежит задержанию. Действительный Конрад Штейн будет снабжен мною, помимо личного документа, особым удостоверением. Одновременно я сообщаю о сем в Центропленбеж.

ГЛАВА О ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТОМ

ЧЕХЛЫ СНЯТЫ

За окнами медленно падал легкий, пушистый снег. Горы теснились белые, почти прозрачные, и свет от них наполнял комнату покоем. На столе под широкодонным кофейником колебалось синеватое пламя спиртовки.

Обер-лейтенант фон цур Мюлен-Шенау осторожно снимал с картин холщовые чехлы. Он бросал чехол на пол, спускался неторопливо с лесенки, отходил на несколько шагов и смотрел на картину. Потом опять взбирался на лестницу, обнажал следующую картину и снова рассматривал ее издали. Иногда он оборачивался к окну, глядел на плавное падение снега, поправлял засученные рукава еще не смятой рубашки и вновь принимался за работу. Ему помогал неслышный слуга, складывавший в угол чехлы и переставлявший лестницу.

Обер-лейтенант выпил подряд две чашки кофе, раскурил трубку и приказал:

— Приготовь умыться и поди седлай.

Слуга вышел, но через минуту вернулся и доложил:

— Фрейлейн Урбах.

Обер-лейтенант стиснул ручки кресла, выбросил туловище вперед, чтобы вскочить, но тотчас овладел собою, поднялся спокойно и спокойно ответил:

— Проси.

Мари вошла быстро и остановилась посреди комнаты. Ее еще овевала свежесть легкого мороза, и на плечах ее блестели следы растаявших снежинок.

Обер-лейтенант поклонился. Мари стояла неподвижно. Он шагнул к ней, и правая рука его заметно дернулась. Он начал:

— Вы пришли...

Ему что-то мешало говорить, он осмотрелся, как будто неожиданно попал в незнакомую комнату, направился к

двери и попробовал, хорошо ли она затворена. Возвращаясь к столу, он миновал Мари с каким-то усилием: шаги его замедлились, и он должен был наклониться, чтобы они не остановились.

— Присядьте,— сказал он.

Но Мари продолжала стоять, глядя в сторону. Он смотрел на нее, и пальцы его опущенных рук подергивались, точно он все время хотел что-то взять или сделать какое-то движение и все время раздумывал. Всегда чуть раскрытые губы его обнажали крепкую белизну зубов, и лицо стало сразу испуганным и хищным.

— Почти четыре года...— вновь заговорил он.— Я никогда не думал, что в этой комнате увижу вас такой... чужой. В этой комнате, Мари...

Она внезапно перебила его:

— Вы обманули меня?

— Я? — воскликнул обер-лейтенант.

Взгляды их встретились на мгновенье, потом Мари опять отвела глаза в сторону, и обер-лейтенант повернулся к столу. Он выдвинул ящик, достал бювар, открыл его, вынул засаленный, помятый конверт, подошел к Мари и молча подал его ей. Она разорвала конверт, взглянула на начало письма, на его конец,— и обер-лейтенант видел, как по ее щекам разлилась густая и медленная кровь. Мари зажала письмо и спрятала руку в кармане пальто.

Обер-лейтенант отошел к окну и, всматриваясь прижмуренно в глубокую снежную рябь, с усилием расставил внятные слова:

— Я вас никогда ни в чем не обманул. Обманули меня вы.

Мари отозвалась тихо:

— Я не люблю вас.

Он не ответил. Она помедлила, потом внезапно громким голосом и торопясь сказала:

— Я не верю ни одному слову в вашем письме. Это все — ложь, что вы написали...

Тогда обер-лейтенант круто обернулся к ней, заложил руки за спину и захохотал. Он хохотал, покачиваясь вперед и взад, не сводя с Мари взгляда и притопывая носками сапог по ковру. Смех не давал ему выговорить ни слова. Наконец он успокоился, приподнял одну бровь и, небрежно шевельнув плечами, посоветовал:

— Мне думается, уважаемая фрейлейн, что лучше

всего было бы, если бы вы прокатились в Петербург, чтобы убедиться, в какой мере соответствует действительности все то, что вы изволите называть ложью...

Он прищурился на Мари, опять застукал ногой по ковру, взялся за трубку, но не закурил и бросил ее на стол. Боль и надменность переметнулись на его губах, и он спросил:

— Вы ненавидите меня?.. Что делать. Я написал вам одну правду...

Он вдруг заметил, что Мари бледна и странно покачивается, не переставляя ног. Он двинулся к ней, но она быстро повернулась и пошла вон из комнаты.

Обер-лейтенант прислушался, как угасли ее шаги, кинулся к двери, но не добежал до нее, выкрикнул что-то бессмысленное и жесткое, как брань, и остановился.

В углу лежали аккуратно сложенные стопой холщовые чехлы. За ними высилась снятая со стены картина «Дворик Немецкого музея в Нюрнберге». Обер-лейтенант вынул из кармана перочинный нож, раскрыл его, переступил через чехлы, с размаху всадил нож в картину и провел им из угла в угол полотна.

Звук был такой, как будто на железную крышу бросили горсть гороху и он посыпался по скату в желоба.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

— Вас, папочка, честью просят потесниться...— говорит Щепов-сын.

— Да была ли у тебя когда-нибудь честь? — кричит Щепов-отец.

— Это ваше частное мнение.

— Господи боже! Один сын обворовал до нитки, пустил старика по миру! Теперь приехал другой — выбрасывает отца на улицу. Подыхай под забором.

— Вас не выбрасывают, а просят занять комнатки поменьше.

— Проклинаю тебя отеческим проклятием на всю жизнь!

— Вы, папочка, сволочь...

— Проклинаю, проклинаю! Изверг!

До Андрея доносятся исступленные старческие вопли, шум от передвигаемых стульев, хлопанье дверей. Потом все стихает, и через стену слышен голос Щепова-сына:

— Нельзя, Клавдия, выселять Старцова, когда у него жена на сносях...

Жена?

Андрей разгибается, встает, подходит к постели, на которой сидит Рита. Он кладет ладонь на ее голову, гладит мягкие прямые волосы, говорит так, что слышно только ей:

— Моя жена.

Рита прижимает его руку к щеке. Он смотрит на ее улыбку — беспомощную и странно озаряющую одутловатое, водянистое лицо. Оно некрасиво, неприятно какой-то преждевременной, чужой дряблостью, и он целует его нежно.

— Я пойду, — говорит он.

— Куда?

— Мне обещали тут... недалеко... стакан молока... Я захвачу с собой бутылку...

— Теперь недолго, — говорит она.

— Да, конечно. Самое страшное — позади: зима... Сегодня выдают хлеб, я зайду...

Он улыбается Рите и уходит.

Пока он отыскивает в передней фуражку, над притолокой входной двери беззвучно вздрагивает колокольчик. Андрей открывает дверь в тот момент, когда в передней раздается чуть более уверенный звонок.

Прислонившись к перилам лестницы, против Андрея стоит девушка. Волосы ее, белую юбку и блузу треплет теплый сквозняк, рвущийся из пролета в открытую квартиру. Она стремительно протягивает к Андрею худые, голые до локтей руки и тянется к нему. Он узнает ее не по рукам и не по взгляду светящихся круглых глаз, а по какому-то изгибу тела, вдруг намеченному одеждой, прижатой ветром к ноге. И, точно защищаясь, он вздергивает свои руки к груди, ладонями наружу, и отступает в переднюю, в полумрак, к развешанному на стене платью. Тонкие прямые руки тянутся к нему через дверь, все ближе и ближе, и вот ему кажется, что он различает шепот:

— Андрей, ты не веришь, Андрей?

Тогда он задыхается радостным и диким словом:

— Ты... ты-ты!

— Мари! — выкрикивает он, и его руки устремляются вперед.

Но он в тот же миг видит, что Мари смотрит в сторону

от него и что ее глаза опущены до половины человеческого роста. Он поворачивает голову.

Рядом с ним стоит Рита. Он тут же замечает ее выпяченный живот, уже отвислый и безобразно большой, приподымающий спереди подол юбки.

Мари прислонилась к двери, руки ее падают, она точно повисает вся в воздухе. Потом она переводит взгляд с живота Риты на ее лицо, веки ее вдруг мертвеют, глаза останавливаются.

Андрей хочет двинуться, ему мешают шинели, пальто, зонты, развешанные на стенке, он сам становится мягким и бескостным, как шинели. Из последних сил он отталкивается от стены, шагает к Мари и, не дойдя до нее, протягивает к ней руку.

— Мари...

Но едва он прикасается пальцами к ее локтю, она пронзительно кричит:

— А-а-а!

Андрей отдергивает руку и, наклоняясь к ее лицу, повторяет чуть слышно:

— Мари...

И она снова кричит пронзительно, на одной нотке, не опуская и не подымая голоса:

— А-а-а!

Тогда на ее крик отзывается протяжный и тупой стон Риты. Андрей оглядывается и видит, как Рита нагнулась к полу, точно уронив что-то и шаря в темном углу, потом выпрямилась и опять неожиданно и неуклюже согнулась. Он двинулся к ней, но в это время Мари скользнула в дверь, и по каменным ступеням лестницы коротко зачеканили стуки ее каблуков.

Андрей выскочил на площадку, перегнулся через перила и без передышки, много раз подряд прокричал в пролет пустынной, глубокой лестницы:

— Мари, Мари, Мари-и!..

Он видел, как раз, другой, третий мелькнуло ее белое платье, как колыхнулись у одного из окон ее волосы, слышал, как задребезжала в подъезде брошенная с силой дверь и взвыл в пролете порывистый сквозняк. Потом он уронил голову на перила.

Из раскрытой квартиры до него долетел звенящий голос Щепова:

— Клавдия... надо сбегать за акушеркой!

Из-за угла катится шумливая толпа ребятишек, бур-

лит, пенится, рябит на солнце расцвеченными ситцами, впадает в плотный, грузно плывущий по проспекту поток человеческих тел. В этом потоке дети сплющиваются, как ягода в кошелке, но толпа их становится еще бурливей, и поверх ситцев, похожих на полога деревенских кроватей, чаще блестят белые пятна зубов.

И вот в катящуюся из-за угла толпу детей непонятно откуда попадает девушка. Она растерянно озирается, она хочет пересечь дорогу, чтобы идти куда-то дальше, ей непременно нужно идти дальше, своим путем — высоким бесконечным строем многочисленных зданий. Но ее толкают, дергают, вертят бегущие дети, и она, как щепка в водопаде, кружится бессильно в пенистой гуще расцвеченных ситцев. Ее выносит за угол. Дети плотно зажимают ее неугомонно-подвижными тельцами, сплюснутыми, чуть не раздавленными в грузном потоке людей. К ней подымается горстка смешных, пытливых мордочек, ей что-то кричат на непонятном языке, перед ней щерятся острые, сверкающие зубы, и маленькие проворные руки теребят ее блузу. Она что-то говорит, ей в ответ над головами рассыпается смех, она видит, как от смеха и солнца весело морщатся неглубокими морщинками крохотные лица, и она опять что-то произносит. Тогда дети поднимают крик, без конца повторяя одно и то же слово, и машут руками куда-то в толпу. К девушке протискивается старуха с трясущейся головой, с полинявшим солнечным зонтиком за плечом. Дети тянутся к ней, показывают пальцами на девушку, кричат о чем-то наперебой.

Старуха шипит на детей, старается припугнуть их строгой гримасой, и они еще веселей, еще неудержней смеются. Старуха улыбкой просит извинить неуемных детей и, тряся седыми косами, говорит на ухо девушке:

— Probablement, vous n'êtes pas d'ici, mademoiselle?

— Oui, madame,— отвечает девушка одними губами, неожиданно приседая, точно собираясь сделать книксен,— je ne suis pas d'ici...

— Je vois bien que ce pays vous parait nouveua. Allezvous quelque part?[1].

— Non... en ce moment je ne vais nulle part...

— Voulez-vous, alors, nous faire compagnie?

---

[1] — Вы, вероятно, нездешняя, барышня?

— Да, сударыня... я нездешняя.

— Я вижу, для вас здесь все необычно. Вы куда-нибудь идете? *(фр.)*

Девушка оглядывается. Бесчисленные ребячьи лица, колеблясь из стороны в сторону и вытягиваясь кверху, без остановки плывут за нею. Она говорит рассеянно:

— Oui, si vous voulez...

— Потом громко спрашивает:

— Mais où est-ce-que vous allez avec ce tas d'enfants?

— Nulle part, tout droit[1].— И старуха зыбкой рукою показывает в даль прямого, упирающегося в небо проспекта.

Мари глядит туда, и ей кажется, что она на вершине Лауше и под ее ногами убегает к пологому небу вечно новый и вечно зовущий простор. Над головою несутся грядами белые облака, ветер налетает порывами, прибивая к домам гул и топот толпы, как на Лауше шум леса прибивало к обрывам гор. И как на Лауше, когда взберешься на вершину и переведешь дух, грудь становится огромной, и хочется, чтобы гора шла выше и подъему не было бы конца.

Мари бросает взгляд на старуху. Она так сильно трясет головой, что у нее дергаются плечи. Временами она как будто шепчет:

— Tout droit, tout droit...

Прямо, прямо... Какая-то девочка протягивает Мари обрывок тополевой ветки. Мари берет ее, улыбается, пожимает костлявое, острое плечо девочки, заглядывает ей в глаза. Они глубоки и веселы, как лужицы, в которых играет облачный день. Толпа внезапно редеет, становится просторно, дети кидаются вдогонку за ушедшими вперед, две, три, четыре — может быть, больше — девочек хватают Мари за руки и тащат со смехом за собой. Мари смеется и бежит...

Так вот куда привел ее Андрей.

— Tout droit, tout droit!..

В это время Андрей сидел у постели, на которой распласталась Рита. Он держал ее за руку и смотрел ей в лицо. Оно было серо, и на мешках под глазами поблескивали слезы. Едва начиналась схватка, Рита закусывала

---

[1] — Нет... сейчас мне никуда не надо...
— Хотите пойти с нами за компанию?
— Да, если вам угодно...
— Но куда же вы идете с этой толпой ребятишек?
— Никуда, вот так прямо *(фр.)*

нижнюю губу и отворачивала голову к стене. Андрей мял ее руку вспотевшими ладонями и, точно боясь, что она застонет, бормотал:

— Ну погоди... погоди...

Когда боль стала нестерпимой, у Риты посыпались за уши торопливые слезы, и она выдавила из себя, чтобы придушить крик:

— Скажи правду... ты ее... все еще любишь?

МЫ КВИТЫ, ТОВАРИЩ СТАРЦОВ

Вот мы кончаем повесть о человеке, с тоскою ждавшем, чтобы жизнь приняла его. Мы оглядываемся на дорогу, по которой ступал он следом за жестокостью и любовью, на дорогу в крови и цветах. Он прошел ее, и на нем не осталось ни одного пятна крови, и он не раздавил ни одного цветка.

О, если бы он принял на себя хоть одно пятно и затоптал бы хоть один цветок! Может быть, тогда наша жалость к нему выросла бы до любви, и мы не дали бы ему погибнуть так мучительно и так ничтожно.

Но до последней минуты он не совершил ни одного поступка, а только ожидал, что ветер пригонит его к берегу, которого он хотел достичь.

Стекло не сваривается с железом. Об этом не нужно было бы говорить, если бы на исходе дорог не пришло сознание, что жалость заслуживает больше снисхождения, нежели жестокость. Не потому ли мы оправдываем жестокость только тогда, когда она освещена состраданьем?

Но стекло не сваривается с железом, и мы не в силах изменить что-нибудь в судьбе Андрея.

Андрей получил письмо. Оно прорвалось через пограничные заставы, сквозь десяток почтамтов и сотню баулов, и на нем зияли следы их прикосновений: цветные карандаши, штемпельная краска, жирные оттиски пальцев. Странно, но письмо миновало только тот кордон, который не мог бы отнестись к нему безразлично.

Андрей затворился в комнате, сел спиною к двери. Он открыл широко рот, чтобы не было слышно свистящего дыхания, руки его тряслись, и он навалился на них,

упершись локтями в коленки. Лицо его вдруг побелело, когда он вскрыл конверт, точно в него плеснули мелом.

«Уважаемый господин Старцов,

впрочем, не знаю, как следует к вам обращаться. Может быть — «товарищ» Старцов? Не могу отказать себе в удовольствии сообщить вам обстоятельства, которые, по всей вероятности, могут быть для вас небезынтересны. В наше последнее свидание в Петербурге, оказывая мне известную вам услугу, вы изволили поинтересоваться, считаю ли я себя расквитавшимся с вами, принимая от вас помянутую услугу. Если припомните, я тогда заявил вам, что буду обязанным вам до тех пор, пока не исполню вашего поручения, принятого от вас в Семидоле. Я счастлив, что имею в настоящий момент возможность сообщить вам, что это поручение я в точности исполнил и, таким образом, вполне с вами расквитался. Да, мы квиты, товарищ Старцов! Я без труда отыскал в Бишофсберге вашу невесту, и она пожаловала ко мне за вашим письмом с поспешностью, свидетельствующей о неизменности ее чувств к товарищу Старцову. Однако позвольте начать издалека. Вам нельзя отказать в чутье. Во всяком случае, я был очень смущен, когда в Петербурге вы спросили меня, не знаю ли я фрейлейн Мари Урбах. Вы понимаете хорошо, что признаться вам в этом тогда — значило бы для меня не исполнить обещания, данного вам в Семидоле. Между тем я чувствовал себя настолько обязанным вам, что предпочел утаить истину, чтобы столь необычной для меня ценой приобрести возможность отблагодарить вас так, как вы этого заслужили. Не скрою, меня потрясла сила вашего чувства к фрейлейн Урбах. Я отлично понял, что именно этому чувству я и обязан некоторой беззаботностью, с какой вы игнорировали известные обстоятельства, имевшие в тот момент для меня решающее значение. Все дело сводилось для вас к тому, чтобы переслать тем или иным путем письмо фрейлейн Урбах. Я это понимал лучше, чем вы. И я хранил ваше письмо, как можно хранить только самое ценное в жизни. Ведь я был вам так обязан, товарищ Старцов! Когда я узнал от вас, что фрейлейн Мари была счастлива с вами в то время,

как я дрался в Шампани и на востоке,— выйдя от вас ночью, у калитки, я решал, с кем мне вперед посчитаться. Я колебался, потому что вы были под рукой, а до фрейлейн Мари мне предстоял далекий и небезопасный путь. Но чувство признательности к вам пересилило, и я решил посчитаться с Мари. Когда впоследствии в Петербурге я снова встретился с вами, мысль достойно отблагодарить вас опять посетила меня, и я должен был сделать над собой усилие, чтобы, следуя по вашим пятам, не раскроить вам череп. Но судьба мне благоприятствовала. Мне посчастливилось еще раз убедиться в ваших чувствах к фрейлейн Мари и в то же время установить, что пылкость этих чувств не мешает вам обманывать вашу невесту с новой любовницей. Тогда я решил окончательно, что мне делать. Заметьте, я ни на минуту не забывал о своем слове передать письмо, полное тоски и любовного томления, вашей невесте. Как мог бы я дойти до такой низости? Ведь я обязан вам жизнью, товарищ Старцов, и моя жизнь оценена вами в стоимость транзитного письма из Семидола в Бишофсберг... Теперь я снова в своей комнате, и меня окружают любимые картины. Я был бы вполне спокоен, если бы не чувство досады, что однажды я имел неосторожность выпустить вас из этой комнаты живым. Кстати, о картинах. Если вы еще имеете возможность сноситься с товарищем (кажется, верно?) Куртом Ваном, то сообщите ему, что все его полотна, хранившиеся в моем собрании, я сжег. Однако маловероятно, что ему это интересно, потому что политики редко и не так, как нужно, занимаются искусством. Неужели товарищ Ван до сих пор не догадался, кто является виновником исчезновения из его канцелярии документов покойного Конрада Штейна? Я никогда не считал его таким тупицей... Итак, вернувшись в Шенау, я сообщил вашей невесте обо всем, что мне стало известно с ваших слов, а также что мне удалось узнать о ваших чувствах к фрейлейн Мари, о вашей новой подруге и прочее. Само собой разумеется, что я подробно написал вашей невесте об услугах, оказанных вами мне и, надеюсь, социалистическому отечеству — России. Это я сделал тем охотнее, что мне стали известны подвиги вашей невесты на поприще

еще не задушенного социалистического отечества — Германии. Чтобы не быть голословным в своем обращении к вашей невесте, я обещал ей представить в качестве свидетельства ваше собственноручное письмо. Я уже написал, что ваша невеста не заставила себя долго ждать и явилась ко мне. Я имел с ней свидание в комнате, которую вы знаете и в которой когда-то... Впрочем, об этом ниже. Ваша невеста не поверила мне, как я, впрочем, и ожидал. Я посоветовал ей поехать к вам, чтобы убедиться в кристальной истине моих слов. Я установил за нею надзор. Право, я так близко принял к сердцу нежные чувства вашей невесты к вам, товарищ Старцов! Чтобы попасть к вам, она решилась на поступок, не столько героический, сколько нечистоплотный: она вышла замуж за какого-то рядового русского солдата из пленных, дабы получить права русского гражданства и разрешение на въезд в Россию. Я убедился на этом поступке, что она горячо любит вас, и мне приятно думать, как она унизилась, чтобы испытать затем еще большее унижение от вашего обмана и вашего ничтожества. Я представляю себе, как переживете это унижение вы, товарищ Старцов, и мне становится не так досадно, что я не всадил в ваш лоб пулю, когда услышал от вас, что вы считаете своей невестой фрейлейн Мари Урбах. Невестой? Я не был оскорблен чрезмерно тем, что Мари обманывала меня с вами, потому что женщины должны с большей осторожностью скрывать первого любовника от второго, чем наоборот. Если я не подозревал в вас своего преемника, то вы не думали ни минуты, что я — ваш предшественник. Потребность посчитаться с вами я уравновешивал не только тем, что ценою молчания покупал себе жизнь, но и воспоминаниями о веймарской пансионерке Мари, убежавшей из пансиона мисс Рони ко мне в Шенау, в ту самую комнату, в которой произошло мое знакомство с вами. Мы квиты, товарищ Старцов!

Благодарный вам
фон цур Мюлен-Шенау

Надеюсь, мое имя не повредит вашей безопасности. Если же повредит, то лишь после свидания с вашей невестой, моей любовницей и женой неизвестного русско-

го солдата — фрейлейн Мари Урбах. Во всяком случае, я нарочно повременю с отправкой этого письма, чтобы не предупредить встречи, одна мысль о которой меня приводит в прекрасное расположение духа. Servus!»[1].

Андрей скомкал письмо и бросился вон из комнаты. Его нагнал тонкий, внезапный плач ребенка. Он не остановился. Женский голос тревожно окликнул его на площадке лестницы, кто-то назвал его по имени в воротах, кто-то в испуге шарахнулся от него на улице. Он бежал как от преследованья.

Всклокоченный, измятый, он замедлил свой отчаянный бег только на окраине города. Кругом него лежали пустыри, засыпанные отбросами и кирпичом. Шел мелкий дождь, сгущая и холодя вечерний сумрак. В каменном остове разрушенной постройки, как зверь в клетке, покачивался ветер.

Андрей повернул назад, в город, прошел какие-то улицы, застроенные низкими фабричными корпусами, попал на берег Невы, снова вышел в фабричные улицы и вновь очутился на пустыре.

Темнота становилась плотной, ночь надвигалась не полетнему быстро.

Андрей осмотрелся, сквозь частое сито дождя разглядел черные массивы теснившихся вдалеке зданий и опять двинулся в город.

Его поглотили беззвучные громады амбаров, элеваторов, вышек и башен. Он углублялся в город костенеющих, мертвых небоскребов.

Вдруг что-то серое пересекло ему дорогу и провалилось в землю. Его ноги не дрогнули, он шел, как живая кукла, — вперед, вперед. Один за другим скользнули через дорогу серые комочки. Андрей шел дальше. Вот что-то ткнулось о его сапог и откатилось в сторону. Вот он наступил на что-то мягкое, как тряпка, и короткий визг резнул по его ушам. Он замедлил шаг, потому что начал натыкаться на податливые препятствия, рассыпанные по всей дороге. Он остановился, потому что пронзительные визги, раздававшиеся с каждым его шагом, заострились до свиста.

---

[1] Покорный слуга (буквально: раб) *(лат.)*.

Он стоял посередине улицы из подпиравших черное небо амбаров. Он стоял по щиколотки в какой-то массе, крутыми неторопливыми волнами перекатывавшейся через дорогу и тяжело омывавшей его ноги. Он смотрел на мутно-серые гребешки этих волн, и они казались покатыми спинками каких-то бесчисленных гадких зверьков.

И вдруг он расслышал чуть придушенный голос:

— Это крысы, крысы, Андрей! Перешагни через них!

Он, как слепец, протянул руки вперед и позвал:

— Курт! Курт!

Ему отозвалось послушное эхо.

Он закрыл лицо и окостенел, подобно окружавшим его черным амбарам. Мутно-серые волны медленно катились по дороге, и одна за другой крысы переползали через сапоги Андрея.

Когда он опустил руки, лицо его белым пятном прилипло к темноте. Мостовая была неподвижна, и по ее лужицам дождь выбивал мелкую дробь.

Андрей рванулся и побежал к городу. Но улицы завели его опять на пустыри. Он оступился в глубокую рытвину, упал, стал выкарабкиваться и скатываться назад в яму. И пока ноги его, и руки, и все его тело сползали по грязи в рытвину, в ушах его раздавался придушенный, далекий голос:

— Ты боишься страха, Андрей. Перешагни через него. Перешагни.

Он с воплем выскочил из ямы и кинулся в ночь, крича:

— Помогите, по-мо-ги-ите!..

И в ночи, по щебню, по рытвинам, по бесконечным пустырям метался, как безумный,— безумный, может быть,— ища путей. Но кругом него лежали пустыри, над ним висело черное небо, и не было человеческого жилья, и не было путей.

Так пустыри окружали Андрея до года, которому суждено было завершить наш роман.

Когда же наступил этот год, Курт сделал для Андрея все, что должен сделать товарищ, друг, художник.

Май 1922 — сентябрь 1924

К РОМАНУ «ГОРОДА И ГОДЫ»

Первые отрывки из романа «Города и годы» появились в печати в 1922 году.

В 1924 году роман был окончен и вышел отдельным изданием.

Исполнившееся десятилетие с начала первой мировой войны дало толчок к созданию многих произведений, возникших из жизненного опыта участников и современников этой трагедии. Вряд ли можно назвать значительную страну в Европе, где во второй половине двадцатых годов не было бы написано несколько романов, посвященных событием военных лет.

Западноевропейские писатели, весьма часто изображая войну как не управляемое человеческой волей бедствие, обрекали своих героев на погибель. Повсеместно распространилось общее имя таким героям романов и — вместе с ними — их прототипам, жертвам первой мировой войны: «погибшее поколение». Война называлась бойней, мясорубкой. Она и была бойней, мясорубкой, организованной правящими кругами конкурирующих мировых держав. Чуждая народным интересам, эта империалистическая война не означала для молодого поколения, кровью которого оплачивалась, ничего, кроме истребления.

В известном смысле герой моего романа Андрей Старцов принадлежал к «погибшему поколению». Царская Россия своим участием в схватке империалистических государств приговорила целые армии молодых людей к безжалостному уничтожению. Андрей видел себя в числе приговоренных и, как большинство из них, возненавидел войну. Как большинству возненавидевших войну, ему был открыт выход из нее Октябрьской революцией в России. Однако препятствием на этом пути оказались пред-

убеждения, в которых он рос, будучи выучеником и наследником дореволюционной российской буржуазной интеллигенции. Отвращение и ужас, внушенные войной, помешали ему отделить отталкивающий смысл мировой бойни от нового и совершенно иного содержания гражданской войны в России. Он видел в войне только войну, в то время когда Советская Россия, покончив с империалистической войной, уже боролась за социалистические цели рабочих и крестьян и защищала свое отечество от вторжения недавних союзников царской России, пытавшихся подчинить ее себе и вернуть на старую дорогу. Не найдя в себе сил принять исторически разумную борьбу революции, потому что эта борьба — война, Андрей Старцов как бы естественно увеличивал собою число жертв «погибшего поколения».

Неспособность Старцова пойти путем революции вытекала равно из названных предубеждений и пороков его характера. Он не мог подчинить личную жизнь суровым, но и великим задачам времени, и это ему отомстилось. Слабость привела его к преступлению. Гибель его была судом над ним. Это отличает его от «погибшего поколения»; уже не трагедией войны предопределялась его участь, но он сам обрек себя справедливому возмездию. Судьба его становилась исключением, довольно, правда, распространенным среди той части интеллигенции, к которой он принадлежал.

Это последнее замечание скорее относится к фабуле романа, чем вызывает на авторские изъяснения по его существу.

Но вот что теперь, на исходе четвертого десятилетия после начала первой мировой войны, вот что побуждает меня говорить об Андрее Старцове как герое романа и, кроме того,— о себе как авторе романа.

Война застигла Андрея в Германии. Он был свидетелем германской жизни перед войной и во время войны. Он стал действующим лицом в обстоятельствах, порожденных фактом его пребывания среди немцев. Он не всегда умело и часто ошибочно или крайне субъективно оценивал то, что видел. Но он хорошо видел. И то, что он увидел в Германии времен первой мировой войны, имеет значение и теперь для нас, после победы над Германией в результате второй мировой войны 1939—1945 годов.

Вопрос об «автобиографичности» романа «Города и годы», прямо или косвенно затрагиваемый критикой, мо-

жет быть верно понят при оговорке, что в широком смысле слова редкий роман не автобиографичен. Было бы заблуждением непременно искать в сюжетах романиста повторение его житейских испытаний. Но основой характеристик героев всегда будет служить его знание жизни. Он раздает свой жизненный опыт, восполняемый домыслом, героям романа, как композитор раздает голоса инструментам оркестра.

Роман «Города и годы» частью построен на основе моих наблюдений, приобретенных в Германии до первой мировой войны и во время ее. Эти наблюдения, разумеется, не во всем совпадают с тем, что пережито Андреем Старцовым. Они выходят за рамки его образа, потому что не исчерпываются образом, и за рамки романа, потому что я продолжал проверять свои наблюдения уже за временными пределами, поставленными действием романа,— когда он писался. Проверить эти наблюдения мне пришлось не раз на протяжении истекших после первой мировой войны десятилетий, довелось сделать это и после недавнего разгрома нацистской Германии. И так как изображение Германии, которая является как бы одним из главных действующих лиц романа, возникло из этих личных наблюдений, то я хочу о них сказать в автобиографическом плане, не чуждом самому роману.

Весной 1914 года московским студентом я приехал в Германию. Я поселился в Нюрнберге — в городе, который привлекал к себе сохранившейся чудом средневековой архитектурой. В башнях и рвах седого бурга, оплетенного паутиной тесных улиц, игрушечных площадей и нагромождениями кукольных домиков с непомерными мансардами, средневековье казалось только мертвым памятником. Даже «Железная дева» — башня с коллекцией орудий пыток — невинно дремала в романтической оправе города-музея. Удивлял только наглядный академический педантизм, с каким были собраны, классифицированы и разложены под стеклом эти орудия истязаний человека.

Летние события 1914 года, предшествовавшие войне, лихорадочно обнажили в Германии издавна воспитанные милитаризмом и укоренившиеся черты. В мещанской, буржуазной и особенно юнкерской среде это было национальное высокомерие и воинственная нетерпимость ко всем не немецким народам. Почти всякий филистер, от мала до велика, считал себя призванным судить каждую

нацию и рвался «наказать» славян, «наказать» французов уже за одно то, что они могли думать не так, как думали немецкие милитаристы.

Прусский милитаризм был язвой кайзеровской Германии. Прусское воспитание, заполнившее все немецкие земли, покоилось на двух китах: повелении и повиновении. Нередко это признавалось самим филистерством. Реакционный немецкий романист Шпильгаген говорил, например, так: «Неистовство — приказывать, рабская жажда — слушаться приказаний — вот змий, который душит немецкого Геркулеса, делая из него карлика». Известно, однако, что карлики зачастую опаснее геркулесов. И скоро они себя показали.

«Жажда слушаться приказаний» буржуазии сделала из первой по величине в Европе и некогда заслуженной социалдемократии Германии недурных солдат в руках милитаристов. Мастер Мейер в «Городах и годах» — явление недюжинное. Социалисты кайзера были законопослушны. Рушилась последняя надежда немногих на то, что благоразумие удержит Германию на краю обрыва в пропасть. Безумие шовинизма господствовало и поразительно легко увлекло за собой вымуштрованный фельдфебелями народ. Бург оказался не только памятником. Средневековье за его стенами еще не истлело, рыцарские доспехи в нюрнбергских музеях неспроста береглись от ржавчины.

Я выехал из Нюрнберга в день объявления войны, когда на вокзале расклеивался приказ баварского короля о мобилизации и железные дороги перешли к военным властям. По существу, это было уже бегством. Я был и молод и наивен,— до последнего часа я не верил в реальность катастрофы. Я надеялся «проскочить» через границу. В Дрездене меня задержали, и здесь я должен был похоронить расчеты на освобождение: у меня был произведен обыск, я стал «гражданским пленным» под надзором полиции.

Вскоре я был выслан в Циттау. Этому саксонскому городку на границе Чехии суждено было сделаться моей длительной школой по изучению германского обывателя. Я видел десятки торжествующих факельных шествий по городским улицам. Это было открытие: немецкая «цивилизация» лелеяла языческий культ огня. Я видел изнуренных русских пленных за работой на полях орошения и на скотных дворах. Немецкие помещики и кулаки были

истовыми рабовладельцами: они изнашивали рабов, сваливали их в могилу и шли в ближайший лагерь за новыми. Я слышал проповеди о праведном немецком сердце, произносимые патером на братском кладбище военнопленных, когда хоронили очередного лагерного самоубийцу. Я прочитал сотни немецких газет, высмеивавших гуманизм как проявление слабохарактерности.

Но немецкий народ не мог скрыть от себя своих собственных возрастающих страданий, происхождение которых ему объясняли злой волей чужеземных наций. Боль заставляет думать. После бессмысленного истребления армий под Верденом, после бесплодной гибели части флота в Ютландском бою, после летних поражений 1918 года — в жизни германских масс явились уже очевидные признаки отрезвления. В этом году, приехав в Берлин, я встретился с немецкими спартаковцами, и они показали мне молодежь, успевшую на войне пересмотреть свои взгляды на нее и готовую к революции. Этим фактом определилась потом биография Курта Вана в «Городах и годах».

Я получил возможность вернуться на родину незадолго до падения кайзеровской Германии. Меня включили в обменную партию пленных, я приехал в Москву. Плен стал воспоминанием. Записки о более чем четырехлетнем пребывании в тылу у немцев и кипа газетных вырезок лежали в моем чемодане.

Затем пробил час десятого ноября. Могло казаться, что прошлое в жизни немецкого народа безвозвратно, как царское прошлое — в жизни народа России. Вильгельм бежал, устрашавшая Европу германская армия распадалась, фронт восстал, в Берлине создалось новое правительство во главе с социал-демократами.

Но силы, вызвавшие войну, только переживали кризис, продолжая существовать. Они поднялись на ноги в исторически кратчайший срок. Версальский договор не разоружил Германию до конца. Реакция начала внушать народу, что военного поражения не было, что стратегия немецкого генштаба безукоризненна, что «победоносная» Германия стала жертвой внутренней революции.

Социал-демократия с изумительной последовательностью продолжала предательство, начатое еще при Вильгельме голосованием военных кредитов в рейхстаге. Она подавила все попытки революционных масс взять в свои руки судьбы государства. Ею были разгромлены восстав-

шие матросы в Гамбурге и Киле, спартаковцы в Берлине, революционное движение в Саксонии, советская республика в Баварии. Она упрочивала свою недолговечную власть с помощью юнкеров Пруссии и промышленников Рура, содействуя пушечным королям производить оружие втайне от попустительского контроля англофранцузских союзников и при щедрой поддержке американского капитализма, агрессивно проникавшего в старую Европу.

Спустя десять лет после окончания первой мировой войны я приехал снова в Германию. Кёльн уже был возвращен союзниками немцам. Но я еще застал англичан в Кобленце и французов на южных извилинах виноградного Рейна: союзники стремились выбить цену подороже за вывод своих войск из Западной Германии. Солдаты победителей достаивали последние вахты.

Немцы необыкновенно цепко боролись с последствиями своего поражения. Настроения реванша усердно подготовлялись буржуазной прессой. Социал-демократическое правительство без особой маскировки маршировало в ногу с милитаристами, обеспеченными покровительством фельдмаршала Гинденбурга, который был символом национализма во время войны под знаменем Вильгельма и стал президентом Веймарской республики.

Мне предстояли затем еще два новых посещения Германии — в 1931 и 1932 годах. То, что я тогда увидел, можно назвать совершенно новыми временами. За прошедшее трехлетие передний план в немецкой жизни заняли главари мюнхенского движения национал-социализма. Они разжигали требования реванша, препятствовали выполнению условий Версаля, взвинчивали злобу против остатков революционных преобразований, быстро сколачивали военизированные отряды штурмовиков, терроризируя ими сторонников демократии.

В маленьком баденском городке, вблизи французской границы, где я прожил полгода, мне довелось быть свидетелем последних выборов в рейхстаг. Они проводились с помощью нахального устрашения выборщиков дубинками штурмовиков. Свастика взвилась в разгар голосования на здании избирательного участка, поправ собою государственный флаг.

К этому времени военные работы в Германии велись почти открыто. Поучительно было смотреть, как на виду у французского соседа вырастали громадные автомобильные станции-базы под вывеской почтовых дворов и со-

здавалась густая сеть совершенных дорог для той же невинной почты, хотя в эти глухие места Шварцвальда доставлялся всего тощий мешок писем в день. Социал-демократы сделали свое дело и были оттеснены за кулисы правыми партиями, позади которых стоял могущественный Рур со свастикой национал-социалистов. Австрийскому фельдфебелю Гитлеру было поднесено германское подданство, он стал «имперским немцем», получил потребный чин, прошел в рейхстаг и стал во главе добытого дубинками большинства. Реакционная Европа разговаривала с германскими фашистами не только заигрывающе, но даже подобострастно.

В январе 1933 года Гитлер захватил власть, поставил себя на пост рейхсканцлера, и тогда началась в Германии сдача ключей нацистам по всему внутриполитическому фронту. Рассказывался меткий анекдот: Гитлер отправился в резиденцию дряхлого Гинденбурга и там прогуливался с ним по саду: вдруг президент обронил платок, и когда Гитлер поднял и подал его старику, Гинденбург так изысканно и так подчеркнуто благодарил своего новоявленного премьера, что тот сказал: «Право, не стоит благодарности, ваше превосходительство, это такой пустяк»,— на что Гинденбург, проникновенно глядя в платок, отозвался: «Помилуйте, как же пустяк? Ведь это единственное место в государстве, куда я могу сунуть свой нос!..»

Президентство Гинденбурга было единственным внешним пережитком веймарской конституции, который терпели нацисты до скорой, впрочем, смерти отслужившего фельдмаршала. Он им не мог мешать. Поджогом рейхстага они показали миру, какими способами национал-социализм будет перевоспитывать Германию. Перевоспитание проведено было в осатанелом темпе. Национализм был втащен на высшую ступень ненавистничества и возвершен человекоистребительной теорией расизма: немцы объявлялись призванными господствовать над всеми народами как наичестнейшие представители «арийства». Антисемитские погромы вихрем закружились по Германии.

Нюрнберг стал цирковой ареной устрашающих фашистских парадов, столицей нацизма, кафедрой кровавых проповедей, инквизиторских законов. Средневековые истязания сочетались с насаждением языческой мифологии. Сжигались на кострах неугодные гитлеровцам кни-

ги. Невиданно умножилось возрожденное германское вооружение. Наконец, армия, хранившая заветы пруссачества кайзеровских времен и вначале сторонившаяся нацистов, была подчинена ими, и тогда произошло полное слияние нацизма с традиционным германским милитаризмом. Внутри Германии уже ничто не мешало ее шествию по дороге к военному реваншу. Во внешней политике гитлеровцы путем шантажа, угроз, сделок с «мюнхенцами» и планомерным захватом польских, чешских, литовских, австрийских земель подготавливали исходные позиции своего нападения на мир.

Ровно через четверть века после начала первой мировой войны Германия нацистов ринулась на Польшу, и это было началом второй мировой войны, небывалой по масштабам и ожесточению.

Летом 1941 года Гитлер, осуществляя давно заготовленный план, без объявления войны нагло напал на Советский Союз. Все, что произошло затем,— у нас на свежей памяти. Она глубоко ранена неслыханным в истории насилием, которое учинили над нашей страной миллионные орды гитлеровцев, и страшный этот акт никогда не будет забыт. Мы противопоставили захватчикам славное единство советских народов в Великой Отечественной войне, окончившейся торжеством нашей победы и полнейшим разгромом нацистской Германии.

Помню, с каким необъяснимым чувством читал я в сводках Красной Армии, наступавшей в глубине германских владений, так хорошо знакомые мне имена саксонских речек и городков — Нейссе, Циттау! В дни первой мировой войны, живя на берегах этой Нейссе, я только во сне мог увидеть русского солдата. И я видел его во сне, потому что наяву мечтать о нем было нельзя,— чтобы не выдать своих мыслей. Теперь Советская Армия несла возмездие за неизбывные испытания, перенесенные нашей землей по вине милитаристской Германии. Наш опаленный огнем победитель-солдат бросил себе под ноги последние штандарты разбитых им нацистов — в Саксонии, Силезии, Бранденбурге, и воздвигнул знамя Советского Союза над рейхстагом в Берлине.

Я говорю обо всем этом не потому, что из романа «Города и годы» вытекает предвидение последовавших за первой мировой войной событий. Я не мог, конечно, их предвидеть. Но те роковые силы, которые участвовали в подготовке недавних ужаснувших мир потрясений, су-

ществовали в младенческом состоянии либо в зародыше еще в первую мировую войну,— конечно, существовали и раньше,— и они, больше или меньше, нашли свое отражение в немецких главах и персонажах моей хроники.

Трагический опыт, вынесенный из столкновения с гитлеровской Германией, воочию показал нам, что немецкие нацисты отвергают все человеческое. Это нацисты уничтожали в своих лагерях тысячи тысяч мужчин и женщин. Это они во рвах расстреливали матерей с грудными детьми. Это они выжгли целые страны. Они стерли с лица земли сотни городов. Они клеймили пленных, как каторжан. Они угоняли в рабство советскую молодежь. Кто взялся бы перечислить все зверства, ими содеянные?

В моем романе показана иная эпоха. Немецких характеров, мною описанных, еще не коснулась железная обкатка, которой подверг Германию режим Гитлера. Если так допустимо сказать, все в ту пору было мягче. Но обер-лейтенант фон цур Мюлен-Шенау в «Городах и годах» уже сеял вражду между народами Советской России, вешал на деревьях русских крестьян, «ломал» роль карликового фюрера контрреволюции. Вернувшись к своим пенатам, он накрест перечеркнул ножом картину, идиллически изображавшую «Дворик Немецкого музея в Нюрнберге». Он сделал это по личным мотивам, из ненависти к художнику — своему соотечественнику, который после войны стал революционером. И все-таки сейчас его жест приобретает иное содержание.

Нюрнберг перестал существовать как идиллический памятник прошлого, он сделался символом нацистского изуверства, и вряд ли можно допустить, что такой характер, как фон цур Мюлен-Шенау, не был бы отмечен со временем золотым знаком гитлеровской партии. Вряд ли можно себе представить, что немецкая социал-демократия сначала так рьяно расчищала бы дорогу гитлеровцам, а потом столь и угодливо уступила бы свое место им, если бы в ее рядах времен Вильгельма было поменьше монархопослушных обывателей вроде Пауля Геннига. И даже вряд ли в немецкой медицине появились бы гитлеровские экспериментаторы, пробовавшие на пленных действие ядов и удушливых газов, если бы прежде в кайзеровской Германии не существовали врачи, которые испытывали новые анестезирующие средства на людях, взятых из лагерей, как это эпически практикует в

«Городах и годах» старший ординатор больницы, отпиливший Федору Лепендину остатки ног.

Подобных параллелей и перекличек между нынешним нашим знанием немецких милитаристов и тем, чем были они во время кайзера, можно найти в моем романе немало. Если говорить только о главах, посвященных Германии, то содержание их, кажется мне, в том, что они касаются истоков катастрофы, в которую мир был ввергнут нацизмом. В какой-то существеннейшей части человеческие начала отвергались Германией милитаристов тогда — в первую мировую войну. Они полностью были отвергнуты ею теперь — господством Гитлера.

Немецкий перевод «Городов и годов» был встречен консервативной печатью Германии двадцатых годов враждебно. В тридцатых годах роман был сожжен нацистами на кострах.

Такова биография книги, многие страницы которой уделены изображению прусского милитаризма.

Мне довелось снова увидеть Германию в 1945 и 1946 годах. Сквозь разрушения Берлина и городов Браденбурга, Саксонии, Тюрингии, Баварии я приехал в Нюрнберг. Необъятная куча мусора высилась среди обломков башен и стен бурга. Весь романтический сон застывшего средневековья, некогда привлекавший сюда туристов, улетучился, как рассеянный туман. По горам щебня вились кое-где тропы в ширину человеческой ступни. От улиц не осталось следов. Лишь по-прежнему шутливо улыбался пробитый осколками бомб бронзовый мейстерзингер Ганс Сакс. И если этот бывший Нюрнберг сейчас и привлекал новые толпы людей, то их интерес сосредоточивался уже не на памятниках старины.

Здесь торжественно совершалось то, чего ждали люди на севере и юге, на востоке и западе, когда лучшие из них бились насмерть, освобождая свои отчизны из-под пяты поработителей. Здесь судили главных преступников войны — главарей германского нацизма. Здесь судили тот Нюрнберг, который был символом инквизиции, проповедником лютых дел против свободы и достоинства человечества. Те, кто воскресил в XX веке средневековые орудия пыток «Железной девы», усовершенствовал их руками изобретательных палачей и применил на мучениках всех народов, ждали теперь своей участи на скамье подсудимых перед лицом Международного военного трибунала.

Тогда, вскоре после победы 1945 года, казалось, что существует незыблемая общая решимость навсегда устранить опасность возрождения германского милитаризма. Казалось, что остаткам разгромленных гитлеровцев больше уже никогда не будет позволено воспрянуть. Случилось, как мы знаем, иначе.

Те самые американские стражи, которые в Нюрнберге приводили из тюремных камер в зал Международного трибунала немецких фашистов — главных военных преступников, спустя воистину недолгий срок после приговора над ними выпустили из тюрем генералов Гитлера, этих уцелевших подранков уничтоженных армий. Вчерашние «судьи» фашизма обернулись его защитниками, энтузиастами, и вчерашние враги уселись за один стол — разрабатывать планы новой войны.

Вновь застучали подковы эсэсовцев по диабазовым мостовым Западной Германии. Вновь забарабанили на парламентских барабанах немецкие социал-демократы во славу нового своего хозяина — американского претендента на мировое господство. Вновь задымил трубами Рур, и заокеанские финансовые магнаты, помогавшие Круппу встать на ноги после Версаля, вновь подняли его из праха после Потсдама.

Может показаться, что следом за второй мировой войной убийственно повторяется в Германии все то, что произошло следом за первой. Но это не так.

В 1950 году последняя моя поездка по Германии дала мне возможность увидеть совершенно иной мир, нежели тот, который сколачивается на западе этой страны эфемерными американскими распорядителями.

Для немецкого народа не могло пройти бесплодно его освобождение от гитлеризма героической Советской Армией. Провозглашение Германской Демократической Республики — плод глубоких революционных процессов, охвативших массы в их порыве к историческому возрождению. В социальной жизни, политике, культуре нового германского государства — повсюду рождается человек, свободный от пут недавнего фашистского самовластья, убежденный, что он ступил на путь преуспевания своей нации в кругу миролюбивых равноправных народов.

Я пережил на этот раз встречи волнующие и знаменательные. В той самой Саксонии и в той Тюрингии, по землям которых я проезжал в Нюрнберг менее чем пять лет назад, теперь мне все предстало неузнаваемым.

В Лейпциге на собрании в зале, вмещающем две с половиной тысячи человек, я услышал песни, какие никогда не раздавались в Германии,— в них было все облагорожено новорожденным гуманистическим чувством — гармония, ритмы композитора, слова поэта. Здесь женщины и мужчины уже не напоминали людей, подавленных недавней трагедией, несущих тяжесть преступлений, на которые толкнул страну позорный режим нацистов. Юноши и девушки приобрели в своем поведении черты ярко враждебные трафарету, наложенному на подрастающее поколение гитлеровской муштрой. В Цвикау, городе угля и тракторов, рабочая молодежь переполняет школы, курсы, клубы, жадно учится все свободное от труда время. В известном университете Иены, где в библиотеке покоится 425 000 забытых диссертаций, наряду со старейшими факультетами открыт рабфак. Дети рабочих пришли в старую «аулу» с ее мемориальными досками, посвященными именам Лейбница, Гегеля, Маркса и героям 1848 года. В Веймаре с его прославленными памятниками немецкой культуры — домами-музеями Гете и Шиллера, в былом герцогском дворце разместился огромный народный музей эпохи Гете. Из интимной литературной реликвии ученого мира Веймар превращается в национальный центр германской истории, куда потечет народ за свободным знанием.

Нет, события, последовавшие в Германии за второй мировой войной, не повторяют собой того, что произошло после первой мировой войны. Не неизменность быстро сменяющихся десятилетий наблюдает современник, но крутые перемены в бурном движении действительности. Резче и непреклоннее встали друг против друга два мира — реакция и прогресс. И между этими двумя мирами пока все еще разделена Германия.

Но народ Германии поднимается после смертельной болезни к жизни, как возводимые стены и кровли поднимаются из руин. Он борется за свое единство. И воля его к жизни и единству сказалась больше всего в защите мира против угрозы войны. Борьба эта сейчас цементирует внутренние связи немецкого народа, искусственно расчлененного зональными границами. Демократическая Германия благодаря борьбе за мир против войны с каждым увеличивает к себе симпатии и тягу среди своих соотечественников в Западной Германии. Немцы Запада все яснее понимают, что мир — это единственное спасе-

ние Германии. Они неизбежно должны протянуть руку немцам Востока.

Иначе и не может быть. Иначе мучения, обильно вкушенные в первую мировую войну и пережитые столь кроваво во вторую, опять будут уделом человечества, умножаясь и углубляясь неизмеримо.

Когда я теперь глядел в глаза свободной немецкой молодежи, я часто встречал в них блеск, подобный тому, который с изумлением и радостью увидел впервые во взорах молодых спартаковцев при встречах в Берлине 1918 года. Блеск этот никогда не угасал бесследно. Его пронесли немецкие коммунисты на протяжении долгой борьбы со времен «кровавой собаки» Носке до «железного» Гинденбурга, через концентрационные лагеря Гитлера и Гиммлера, сохранили его в многолетней эмиграции и ныне зажгли в миллионах глаз юношей и девушек новой Германии. Блеск этих глаз — готовность защищать дело мира, преданность трудовому народу, интернационализму. Блеск этот — ненависть к войнам, несправедливости и лжи буржуазного строя.

Такова дорога, по которой мне довелось идти, наблюдая то тягостные и ужасные, то обнадеживающие, отрадные перемены в жизни Германии.

«Города и годы» отразили только часть этой дороги. Я хорошо вижу, что и герои романа — только малая часть образов, из которых слагалась картина двух миров той эпохи. Андрей Старцов испытывал беспомощный ужас перед войной. Счастливой минутой своей жизни он считал однажды подаренную ему судьбой отчаянную решимость умереть в бою. Но рядом с ним жили и действовали люди, ненавидевшие войну не меньше, а больше его. Решимость их в бою была иной природы. Не смерть они искали в битвах, но освобождение человека от опасности новых и новых войн. Счастье их заключалось в победе. Эти люди были предшественниками, отцами нынешних сторонников мира, убежденно организующих его защиту, знающих, что желать мира — мало, его надо отстоять в борьбе. Этих людей не хватает в романе, их не восполнят, конечно, отдельные характеры других героев, им близкие и родственные. Я понимаю эту неполноту и вытекающие из нее недостатки «Городов и годов».

Мой затянувшийся очерк вызван переживаниями, выходящими за рамки событий, охватываемых романом. Переживания эти единят меня с современным читателем.

Большинству читателей обстановка первой мировой войны знакома только по книгам и рассказам. Для меня она — такой же личный опыт, как для большинства — опыт Великой Отечественной войны. Многое из того, что я увидел в 1914—1918 годах, можно было увидеть только тогда. Неясно или, может быть, неверно тогда мною понятое отошло в прошлое вместе с исторической действительностью, описанной в романе.

Если бы я писал роман не тридцать лет назад, а сейчас, я многое увидел бы иначе, и, может быть, смятение духа Андрея Старцова, нашедшее отражение в «смятенной» композиции романа, оставшись одной из моих тем, не помешало бы мне поставить рядом с ней другие темы, рожденные последующими событиями. Но как тридцать лет назад, так и сейчас я сохранил бы зерно своего замысла и, наверно, лишь усилил бы лейтмотивы «Городов и годов», подобные, скажем, голове казненного в Нюрнберге убийцы. А того, что тридцать лет назад было написано иначе, нежели я хотел бы написать сейчас, того я уже не могу изменить. Да этого и не следует делать, если помнишь совет Чернышевского, сказавшего, что «в старости не годится переделывать то, что написано в молодости».

1947—1951

ПРИМЕЧАНИЯ

Замысел романа «Города и годы» (первоначальный вариант названия — «Еще ничего не кончилось») в основном сложился к началу 1922 года.

«Я задумал современный большой роман. Он охватит наши изумительные годы и людей, каких я видел в Германии, в Польше, на Волге, в Москве и Петербурге»[1],— писал Федин 13 февраля 1922 года А. Воронскому.

«Городам и годам» предшествовала публикация непосредственно перекликавшихся с романом рассказов «Счастье» (журнал «Отклики», 1919, № 1—3), «Дядя Кисель» (газета «Сызранский коммунар», 1919, 22—23 ноября), «Товарищ» (газета «Боевая правда», 1920, 22 февраля) и ряда других.

Работа над романом продолжалась более двух лет. Прежде чем он увидел свет целиком, отрывки и отдельные главы его печатались в журналах «Россия» (1922, № 4), «Красная нива» (1923, № 26). «Зори» (1924, № 5), «Красная панорама» (1924, № 11) и др. Отдельной книгой «Города и годы» вышли в 1924 году в Государственном издательстве в Ленинграде.

Роман переведен на многие иностранные языки и языки народов СССР. Дважды, в 1930 и 1973 годах, «Города и годы» были экранизированы (первый фильм — режиссера Е. Червякова, второй — режиссера А. Зархи).

Стр. 17 *...под Москвой, с Поклонной горы один приятель показал мне на новую радиостанцию.*— Речь идет о первой радиотелефонной станции имени Коминтерна, строительство которой было начато в октябре 1921 года в Москве, в районе Горохового поля, за Курским вок-

---

[1] Творчество Константина Федина: Сборник.— М., 1966.— С. 382.

залом. Открытие станции состоялось 7 ноября 1922 года, и хотя волны ее не достигали Америки (Старцов ошибался), в свое время это действительно была самая крупная радиостанция в мире, мощность которой (двенадцать киловатт) превышала мощность, вместе взятых, радиостанций подобного типа в Нью-Йорке, Париже и Берлине.

Стр. 17. *Румкорфовы катушки* — прибор для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения, сконструированный в 1852 году немецким механиком Г. Румкорфом (1803—1877).

Стр. 18. *Маркграф* — титул, ведущий свое происхождение со времен Карла Великого, когда государство франков было разделено на несколько мархий (пограничных областей).

Стр. 22. *Взял книжку Мопассана — «Избранник госпожи Гюссон»...* — Большинство новелл, входящих в этот сборник, написано в 1883—1884 годы; цитируемые далее строки — из новеллы, открывающей сборник и давшей ему название.

Стр. 23. *Действительный статский советник.* — Чиновники государственной службы были разделены в царской России на четырнадцать классов; в действительные статские советники могли быть произведены лишь лица, прослужившие в чине статского советника не менее пяти лет и занимавшие должность не ниже пятого класса. По законам Российской империи чин действительного статского советника приравнивался к чину генерал-майора (или контр-адмирала) и к придворному чину герольдмейстера; автоматически давал право на потомственное дворянство.

Стр. 32. *Aux armes, citoyens!..* — строки из «Марсельезы», национального гимна революционной Франции, написанного в апреле 1792 года военным инженером Руже де Лилем.

Антиминс — кусок материи с изображением сцены погребения Христа; обязательная принадлежность обряда евхаристии (причащения).

Стр. 47. *Петербург готовился к встрече высокого гостя.* — Имеется в виду второе (в сентябре — ноябре 1919 года) наступление Северо-Западной армии Юденича на Петроград: к 21 октября белогвардейцами были захвачены Красное Село, Гатчина, Детское Село, Павловск, они вплотную подошли к предместью Лигово и Пулковским высотам.

Стр. 76. *Ландштурм* — контингент военнообязанных, составлявших в Германии накануне первой мировой войны запас третьей очереди. В ландштурм входило все мужское население страны от семнадцати до сорока пяти лет, не состоявшее в армии и ландсвере (военнообязанные запаса второй очереди).

Стр. 82. *Dichtung und Wahrheit.* — Повторив в названии этого раздела «Главы о девятьсот четырнадцатом» заглавие автобиографического произведения И.-В. Гете («Поэзия и правда»), Федин подчеркивает, что реальность причудливо сплетается здесь с вымыслом, с на-

родными сказаниями и легендами о Гамельнском крысолове, Парцифале и т. д.; легенды эти нашли к тому времени отражение в творчестве ряда писателей (Вольфрам фон Эшенбах, И.-В. Гете и др.) и композиторов (в первую очередь у Р. Вагнера).

Стр. 90. *...чтобы еще и еще раз ослепнуть от слова: Эрцгерцог!* — 28 июня 1914 года членом сербского военно-патриотического общества «Черная рука» гимназистом Гаврилой Принципом был убит в Сараеве австрийский престолонаследник эрцгерцог Франц-Фердинанд. Событие это послужило, как известно, поводом для начала военных действий со стороны Австро-Венгрии против Сербии, очень скоро переросших в первую мировую войну.

Стр. 94. *Фабер Иоганн Лотар* — владелец крупнейших в Германии фабрик по производству карандашей, с филиалами фирмы в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Петербурге, Берлине и Вене.

Стр. 105.— *...стоят руины капуцинского монастыря* — монастыря, принадлежавшего некогда католическому монашескому ордену капуцинов, основанному в первой половине XVI века в Италии. В XVI и XVII веках орден получил распространение в ряде стран Западной Европы, в том числе в Германии. К концу XVIII века пришел в состояние упадка.

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война 1618—1648 годов, в которой приняли участие почти все страны Европы, разделившиеся на два лагеря: габсбургский блок (испанские и австрийские Габсбурги и католические князья Германии, поддерживаемые папством и Польшей) и антигабсбургская коалиция (германские протестантские князья, Дания, Швеция, Франция, поддерживаемые Англией, Голландией, а также Россией).

Стр. 127. *Система Мюллера* — система физических упражнений известного датского гигиениста Иоргена Петера Мюллера, автора книг «Моя система. Пять минут в день», «Моя система для детей», «Моя система для дам», «Моя система для мужчин» и других, чрезвычайно популярных в начале века.

Стр. 144. *...вы читали «Происхождение видов»?* — Широко известная работа Ч.-Р. Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» (1858).

Стр. 155. *Этим летом две морские державы встретились впервые в открытом море.* — 31 мая — 1 июня 1916 года близ пролива Скагеррак, в девяноста милях к западу от Ютландского полуострова, произошло крупнейшее морское сражение между английским и немецким флотом, в результате которого английский флот потерял три линейных крейсера, три броненосца и восемь эсминцев, а немецкий флот — два линейных корабля, четыре легких крейсера и пять эсминцев.

Стр. 163. *...читал в переводе Уайльда и называл его, как все: Вильде.*— Фамилия известного английского писателя О. Уайльда (1856—1900), автора романа «Портрет Дориана Грея» и других популярных в конце XIX — начале XX века произведений, по-немецки читалась как «Вильде».

Фридрихштрассе в Берлине — одна из центральных улиц города; в районе Фридрихштрассе и параллельной ей Вильгельмштрассе в годы первой мировой войны был расположен ряд важных правительственных учреждений (в том числе военных).

Стр. 169. *...орден «pour le mérite»* — военный орден «За заслуги», один из высших немецких орденов, учрежден в 1842 году Фридрихом Вильгельмом IV.

Железный крест — один из высших военных орденов, учрежден в 1813 году Фридрихом Вильгельмом III.

Стр. 189. *Сезанн* Поль (1839—1906) — французский художник; *Беклин* Арнольд (1827—1901) — швейцарский художник; *Клингер* Макс (1857—1920) и *Ленбах* Франц (1836—1904) — немецкие художники.

Стр. 209. *Фатанафтель* — кусок материи, фитиль, употреблявшийся в светильниках, заправленных нефтью (нефтяными маслами). Со второй половины XIX века, когда керосиновое производство получило широкое распространение в России, слово «фатанафтель» могло быть употреблено и в значении «керосиновый фитиль».

Стр. 232. *Торон* (торн, терн) — колючий кустарник семейства розовых, с темно-синими плодами терпкого кисло-сладкого вкуса.

Стр. 261. *...на листке стояло слово: Революция.*— 9 ноября 1918 года Германия была объявлена демократической республикой.

Стр. 270. *Суфражистка* — сторонница женского равноправия (в первую очередь — в избирательных правах), участница движения, получившего широкое распространение в Европе в конце XIX — начале XX века.

Стр. 280. *«Крестный календарь» Гатцука* — популярное среди читателей второй половины прошлого столетия ежегодное издание, выходившее под редакцией А. А. Гатцука и содержавшее самые разнообразные сведения о церковных праздниках, о памятных событиях года, о членах царской фамилии, видных российских и зарубежных государственных деятелях, о почтовых правилах и таксах, расписание движения железнодорожных поездов, популярные сведения медицинского характера и т. д. и т. п.

А. Старков

СОДЕРЖАНИЕ

Глава
о девятьсот шестнадцатом

Глава
о девятьсот семнадцатом

Глава
о девятьсот восемнадцатом

Глава вторая
о девятьсот девятнадцатом, которая
предшествует первой

Глава
о девятьсот двадцатом

Федин К. А.

Ф32 Города и годы: Роман/Вступ. ст. и примеч. А. Старкова.— М.: Сов. Россия, 1987.— 384 с. (Б-ка советского романа).

Роман К. А. Федина (1892—1977) «Города и годы» — один из первых советских романов о гражданской войне и революции, страстность и революционная романтика которого волнуют читателя и в наши дни.

Ф $\frac{4702010200-169}{М\text{-}105(03)87}$ 128—87 Р2

Константин Александрович Федин

ГОРОДА И ГОДЫ

Редактор **Н. И. Нетесина**
Художественный редактор **Г. В. Шотина**
Технические редакторы **В. Д. Коннова, Е. В. Кузьмина**
Корректоры **Т. А. Лебедева, Л. М. Логунова, Э. З. Сергеева**

ИБ № 6063

Сдано в наб. 14.07.86. Подп. в печать 31.12.86. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типогр. № 2. Печать высокая. Гарнитура обыкновенная новая. Усл. п. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,37. Уч.-изд. л. 21,56. Тираж 200 000 экз. Заказ 1095. Цена 1 р. 60 к. Изд. инд. ЛХ-129.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46



1 р. 68 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»


К. ФЕДИН